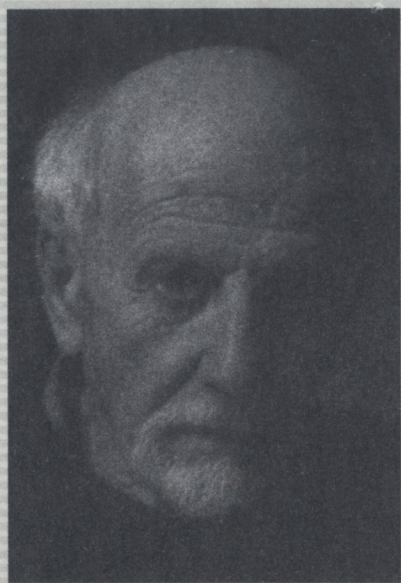


Виктор Рубанович

Адрес -
лагпункт Адак

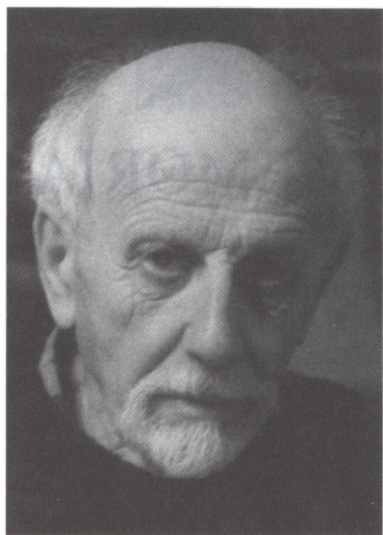


Виктор Рубанович
Адрес - лагпункт Адак

memoria



MEMORIA



Виктор Рубанович

Адрес — лагпункт Адак

Автобиографическая проза

Москва

Возвращение

2011

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Р82

Составитель серии «Мемогія»
С.С. Виленский

Рубанович, Виктор.

Р82 Адрес – лагпункт Адак : автобиограф. проза / Рубанович Виктор. – М.: Возвращение, 2011. – 312 с.: – (Мемогія).

ISBN 978-5-7157-0245-6

Виктор Яковлевич Рубанович родился в 1916 году. В 1937 студентом-второкурсником архитектурного института попал в лагерь. Удивительно, как в той ужасной обстановке он умудрялся видеть добро, находить добрых людей – и не только среди политических: в числе его героев и охранники, и уголовники. Рассказы Рубановича – портретная галерея встреченных им в течение трудных лет хороших людей.

Не все, кому довелось пережить страшные годы репрессий, и кто нашел в себе силы описать свою жизнь, обладают литературным талантом. Виктор Николаевич относится к той малой их части, кто прекрасно владеет пером. Некоторые из его рассказов были опубликованы в альманахе «Воля», который выпускает общество «Возвращение».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0245-6

© В.Я. Рубанович, 2011
© М.О. Чудакова, предисл., 2011
© Р.М. Сайфулин, оформ. серии, 2011
© Возвращение, 2011

Вторая Россия

1

...Пора, наконец, посмотреть на историю России, что называется, свежим глазом – то есть не пряча голову в песок.

Одни, постарше, отмахиваются. Чего там ворошить! Давно все известно. И не для чего к этому возвращаться.

Другие, родившиеся на уклоне советской власти, смотрят в эту сторону недоверчивым взглядом: да не-е, не может быть... Что-то тут не то. Опять нас *разводят*... (Молодые, но к тому, что вокруг много вранья, уже привыкли.) Чтобы несколько миллионов своих граждан уложить в вечную мерзлоту и в другие разные почвы за так?.. Ни за что ни про что? А ихних детей (тоже, получается, миллионы – а они-то уж точняк ни в чем не виноваты!) сдать в детдома и там заставлять повторять, что их родители – враги народа... Нет, наверно, многих все-таки за дело сажали... И стреляли, наверно, не зря.

В юности трудно поверить в кровавую мерзость такого масштаба.

К тому же и в учебниках школьных сегодня пишут, что лагеря были делом нужным, *государственным*.

Прочитируем целиком те 16 строк, которые отвели редакторы учебника для 11 класса («История России: 1900–1945»), доктора исторических наук А.А. Данилов и А.В. Филиппов, для описания Большого террора и ГУЛАГа – важнейшей части советской истории довоенного времени.

Задача этих строк очевидна – как в перевернутом бинокле, отодвинуть реальную картину мучений и гибели людей как можно дальше от взора подростка. Чтоб он не видел, по слову Осипа Мандельштама,

...Ни хлипкой грязицы,

Ни кровавых костей в колесе...

«Четвертой категорией граждан, труд которых интенсивно использовался в решении задач индустриализации, были заключенные».

Сколько лжи и подлости может быть в одной – начинающей тему – фразе! Провозглашаемая пафосная цель – «*решение задач индустриализации*» – должна, по замыслу автора параграфа (А.С. Барсенков) и редакторов, перекрыть в сознании подростка ужас ГУЛАГа.

Действительно – что такого ужасного? Ну, была *четвертая* (после ответственных работников, затем служащих и рабочих, затем – колхозных крестьян) категория граждан – граждан, понимаете?.. Ну, и решали со всей страной «задачи индустриализации».

Вот и Рубанович о том же – но, в отличие от Барсенкова и компании, ему власть подарила возможность воочию наблюдать судьбу этой «категории граждан».

А ему лично судьба дала возможность дожить, несмотря ни на что, до того времени, когда он смог это описать. А в свои 96 лет – даже и напечатать в виде книги, которую вы держите в руках...

«...Про адакский стационар я успел послушаться плохого и, угордив туда, мог бы не удивляться, но все же... Этот огромный, длинный, всегда полутемный барак с обычными, в два этажа нарами из кое-как стесанных жердей, от жилых бараков отличался лишь тем, что лежали больные не на голых жердях а на тощих матрасах с постельным бельем.

Но воздух... – не только мне с больными легкими, но и любому живому существу дышать было невозможно: отвратительно-удушающая смесь самых мерзких запахов – лекарств, мазей, пота, испражнений, копоты от фонарей. Все тут лежали вместе: туберкулезники, больные с незаживающими язвами, пеллагрики с неукротимым поносом».

Надо ли пояснять, что все эти болезни «граждане», насильно вытасенные среди ночи из их домов и брошенные сначала в лапы следователям, а затем в лагеря, заработали в процессе «решения задач индустриализации»? Кто слышал «на воле» о пеллагре?..

«...На нижних нарах на наших глазах умирал человек. Умирал тяжело, мучительно от страшной болезни – пеллагры. ...Очевидно, он лежал здесь долгие месяцы, все лето и часть осени, и вот теперь доживал последние часы. Известна была только его фамилия – Кауль, имени и отчества, похоже, не знал никто.

Умирал он в полном сознании, и это было особенно страшно. Человек этот, до предела истощенный, всеми силами души хотел жить и, сознавая свое тяжелое состояние, до конца не переставал надеяться... Мы все на нарах знали, что нет, не жить ему. Думается, что в эту ночь мало кто спал.

...Внизу против нас слабо ворочался умирающий, при тусклом свете фонаря он напоминал нечто безликое, червеобразное, чему место не на земле, а в земле. И, однако, это был человек, измученный, доведенный до предела истощения, но до конца сохранявший извечное стремление любого живого существа – жить, дышать.

...Не было ни отвращения, ни озлобления против тех, кто довел Кауля, и не его одного, до такого состояния. Не было и страха за себя ... Было другое – охватившее меня чувство ужаса, бессильной жалости...»

Вернемся к Барсенкову и его редакторам и продолжим цитирование 16 «гулаговских» строк.

«В 1930 г. по решению СНК СССР (то есть – Совета народных комиссаров, по-сегодняшнему – кабинета министров) было создано Главное управление лагерями (ГУЛАГ). Труд заключенных стал включаться в государственные планы...» (понятно вам?.. В «государственные планы»! Они, лагерники, гордиться бы этим могли!..), «...возник лагерный сектор экономики...». Сектор!.. «...В 1938 г. в лагерях находились 1 млн 851 тыс. заключенных. На 1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 исправительно-трудовых колоний, насчитывавших около 1 млн 600 тысяч заключенных».

Нигде не пояснено, что значительная доля этого миллиона 1940 года – совсем новые «граждане», пополнившие «лагерный сектор экономики» после того, как значительную часть «граждан» состава 1938 года к тому времени закопали в землю с биркой на ноге.

«Использовался также труд многих сотен тысяч сосланных людей (“спецпоселенцев”)».

...Как тонко формируется нейтральная стилистика!.. «Труд» – само по себе хорошее слово. И почему бы его не «использовать»?

Дальше – пуше: «“Спецпоселенцы” работали на всех важнейших стройках...» *Важнейших...* С доверием, выходит, относилась партия к изгнанным ею с родных мест. И еще пуше: «...причем большинство работало добросовестно и вопреки всему верило в великий смысл того, что они делают».

...Казалось бы, стыдно так писать, но люди пишут.

А что касается не пошлых выдумок историков, а реальности, то одна лишь фраза Виктора Рубановича о колхозниках сразу бросает свой ответ и на спецпоселенцев.

Город Иваново. Обширные территории вокруг фабричных зданий «заполнили выросшие подобно грибам-поганкам бесчис-

ленные землянки и хибары, построенные *бежавшим из колхоза людом* — подлинные “шанхай” без благоустройства и каких-либо удобств» (курсив наш. — М. Ч.). Пусть без удобств — лишь бы подальше от «великого смысла» каторжного дарового труда, в колхозах или на спецпоселении.

...И заключение темы, полное спокойствия и благодушия авторов учебника: «В 30-е гг. многие важные отрасли экономики (лесозаготовка [по-лагерному — *лесоповал*, на котором люди умственного труда погибали быстрее, чем где-либо. — М. Ч.], добыча металлов [про нее достаточно рассказал Георгий Демидов: многие ли выживали, добывая на Колыме металлы при температуре минус 60 градусов. — М. Ч.], строительство), районы Севера и Дальнего Востока развивались благодаря использованию принудительного труда».

Что называется, без тени смущения за историю отечества.

На лесоповале в Коми АССР, по свидетельству подлинных историков, в 1942-м в ряде лагпунктов списочный состав вымирал за 100—150 дней.

2

Неторопливый, обстоятельный рассказ автора книги о том, как советское государство, объявившее, как известно, своей целью строительство светлого будущего для всех трудящихся, методически уничтожает его жизнь...

Хотя о своей-то жизни он рассказывает вроде бы и немного — все больше о других, встреченных на причудливом, убийственно извилистом его жизненном пути.

...Только-только кажется, что он испил до конца свою чашу, как оказывается, что отцу народов этого мало. Он продолжает не собирать, а сдирать вместе с кожей дань со своих пленников. Иначе как пленниками советских людей сталинского времени было бы называть неправильно.

Вот герой повествования, он же и автор, освободился из лагеря во время войны, вот его, полуживого, взяли в армию — в нестроевые части... Вот в сорок третьем восстановили в институте. Кончил, получил диплом, «получил назначение в Кишинев и считал, что все тяжелое осталось позади. Плохо же я знал отца народов и его присных». Отец народов должен помнить про каждого во вверенных ему землях, ни одного не оставлять на произвол судьбы...

«Обо мне вспомнили... Шел девятьсот сорок восьмой год...»

Его вызвал оперуполномоченный «с выразительной фамилией Ищук», отобрал постоянный паспорт, и на руках у того, кто думал (и, кажется, имел все основания думать), что все тяжелое осталось позади, оказалась «серенькая бумажка без корочек – временный, сроком на три месяца, паспорт, в него “вмазана” пометка со статьей 39-й, что означает без права проживания почти во всех крупных городах и во многих мелких тоже».

И это – *граждане* своей страны?..

Это как раз те, что у авторов сегодняшнего (не советских времен!) школьного учебника, не стыдящихся замусоривать ложью и полужою юные умы, отнесены во *вторую* категорию граждан – там, где рабочие и служащие. И правда – ведь автор «с серенькой бумажкой без корочек» в руках – не заключенный, не спецпоселенец, все это у него позади, – он свободный гражданин!..

И таких, кто не имел права вернуться в родной дом, к близким людям, скитались по нашей необъятной родине, – *миллионы и миллионы...*

А в чем была их вина?

А в том, что *уже сидели!* И отсидели свое. А по старому, древним известному установлению – за одно преступление (ведь Хрущева еще нет у власти, и никто не сказал, что не было у них *состава преступления*) два раза не наказывают!

А отец народов только посмеивался в усы, покуривая свою знаменитую, воспетую советскими поэтами трубку:

– Пуст спасыба скажит, что в павторныки нэ загрэмэл!

Повторниками – посаженными, повторим, лишь потому, что *уже единожды отсидели* (где, в какой стране, в какие времена это видано было и слыхано?..) – начиная с 1948 года вновь наполнялись советские тюрьмы и лагеря.

И что же – скрывать это от подростков и юношей? По какому праву? Разве не в их стране, не с их родственниками и друзьями родственников это происходило?.. Что – забыть лишь потому, что дело давнее? Но гибель Бориса и Глеба от руки вероломного брата – еще более давняя история, но изучаем же...

...И вот свободному гражданину страны, про которую каждый день поют по радио

*Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек,*

предписано «под угрозой ареста в 24 часа покинуть Кишинев. Все наши вещи брошены у знакомых – в такой спешке их не увезешь. Жена после всех мытарств у перепуганных, шепчущихся за нашей спиной родственников – в Кирове, у своей матери». Она ждет ребенка.

А ее мужу в Киров нельзя – он в длинном списке запрещенных ему для жизни на родине городов. Он оказывается в Иванове – ни одного знакомого, ни жилья...

3

...В камере следственного изолятора поневоле люди встречали своих сограждан с гораздо более широким охватом, чем на воле. Да, большой бредень террора захватывал людей, перемешивая слои. Сталкивались друг с другом те, кто ни в каком случае не встретились бы на воле.

Громадная Россия узнавала себя в лицо, не надеясь применить когда-либо свои новые знания. Ее граждан «своя» власть умерщвляла раньше, чем они успевали их применить. Жизни, мысли, опыт, талант – все уходило в вечную мерзлоту, в бескрайние земли России. Если кому-то все еще кажется, что это было *нужно* для блага страны, Бог ему судья. Жалко только детей такого человека – он может успеть заразить их людоедскими мыслями.

В камере Лубянки известнейшие большевики-политкаторжане оказывались рядом с юношами, никогда не рассчитывавшими спать на соседней с ними койке, да еще видеть, как их приносят на койку с допроса окровавленных. И юноши с изумлением смотрели на людей, которых не сломали пытки, у которых «в правилах поведения, сложившихся в следственных камерах, прочно утвердился и неуклонно соблюдался дух взаимной поддержки, чувство товарищества».

Наблюдая своего соседа по камере Владимира Ивановича Невского – «старого большевика» (то есть вступившего в партию до того, как она стала правящей и сулила льготы), наркома путей сообщения, потом – директора Библиотеки им. Ленина (в конце 60-х я еще встречала в ее стенах тех, что помнили директора и поминали добрым словом), – совсем молодой Виктор Рубанович делал свои выводы: «Все-таки великая сила – высокая общая культура, именно благодаря ей интеллигентные, мягкие по натуре, физически хрупкие люди вроде Владимира Ивановича в условиях жестоких допросов с провокациями, обманом, изощренными истязаниями, пытками, оказывались более

стойкими, чем те, кого числили по разряду “железных” и “твердокаменных”. Именно они устояли и не допустили, чтобы их выгнали на позор в инсценированных процессах “врагов” и “заговорщиков”».

А в лагере им встречались уже другие руководящие партийцы – по простой и ужасной причине: «...Лучшие, наиболее стойкие и значительные в человеческом плане личности в лагерь не попали. Они были уничтожены сразу...»

Их расстреливали сразу после приговора (как и Невского) в подвале того здания Военной коллегии на Никольской улице, в котором все никак не соберутся московские власти открыть Музей репрессий.

А из оставшихся в живых участников революции и Гражданской войны «многие мельчали прямо на глазах». Почему? Потому что «жесточкие условия существования – жизнью это не назовешь, – созданные для заключенных в лагерях, сдирали с каждого манишки и галстуки; сразу становилось ясно, кто чего стоит. Далеко не все выдерживали испытание на стойкость и человечность».

Возникает философский вопрос: а *нужно* ли человека непременно испытывать на стойкость, помещая в нечеловеческие условия? И *действительно* ли только в этом случае мы достигаем ясного знания – «кто чего стоит»?

Да, те, кто их выдержали, оставшись *людьми*, заслуживают самого высокого уважения. Лично я таких встречала и благоговеею перед их памятью – Юрий Осипович Домбровский, Юлиан Григорьевич Оксман, Олег Васильевич Волков...

Но можно ли всегда выводить моральную оценку человека из того, выдержал он или не выдержал свалившиеся на него нечеловеческие испытания – физические и моральные? Ведь не будь их, он, возможно, до конца дней своих остался бы тем самым порядочным человеком, за которого его держали окружающие?..

Если же мы с этим не согласны, считаем обманчивым впечатление от человека в человеческих условиях, то не признаем ли мы тем самым, что такого рода испытания – в каком-то смысле в порядке вещей?.. Вроде как в юности проверка физической подготовки: сколько раз можешь подтянуться на турнике...

Двинемся дальше за автором глубокой книги – так ли уж плохи те, кто не выдержали?..

Итак, прислушаемся к Виктору Рубановичу.

По прошествии многих лет он уже не хочет «чрезмерно строго осуждать этих людей: всей своей предшествующей жизнью они не были под-

готовлены к сознательному сопротивлению в условиях тюрем и лагерей, слишком сильно въелось в них сознание своей кровной общности с тем строем, который их отверг, отверг неожиданно, необъяснимо, безжалостно, одним махом превратив в униженных изгоев, в париев.

Как тут не растеряться? Нужно было произвести полную переоценку ценностей, на это был способен не каждый. И люди сломались. Некоторые и в лагере продолжали твердить о своих былых заслугах, о преданности вождю — для нас, молодых, это звучало жалким лепетом. Больно, обидно было и нам и им, но мы друг друга не понимали; не раз я слышал, как мои сотоварищи, молодые рабочие и студенты, с горечью бросали старшим: «Вы, именно вы нас до этого довели», и те в ответ не могли сказать ничего вразумительного. Тот ореол, которым мы привыкли окружать старших и заслуженных, померк быстро и безвозвратно».

Важны очень простые и очень внятные слова автора:

«Из лагеря я лично, да и не я один, вынес твердое убеждение, что партия — это величайшее зло для всех людей. И пока она правит, никакой человеческой жизни быть не может».

Но что все-таки значит — довели? Какими средствами? Не в последнюю очередь — пусть не большой, но ежедневной, привычной, никогда критически не оцениваемой ложью. «Так надо». Вели-вели — и привели к тому, что люди привыкали *не понимать* окружающую жизнь (оглянитесь вокруг — разве не чувствуются ли остатки этой привычки и сегодня?..). Не вдумываться в то, что вокруг них, их повседневного быта, знакомых газетных передовиц, на необъятных российских просторах — иная, чем им внушают ежедневно, Россия.

4

Главы в этой книге нередко названы по именам или фамилиям. Так вереницей лиц и судеб проходит перед читателем вторая, не признанная современниками Россия.

Виктор Рубанович дает нам драгоценную возможность взглядеться в эти лица, сохраненные его памятью и ожившие под его талантливим пером сегодня.

Глава — «Азбель». Портрет героя:

«Был он среди нас самым маленьким, самым тихим и слабосильным. Называли его только по фамилии; имени, и тем более отчества, никто из нас не знал и не интересовался узнать. ...Слабенький тон-

кокостный человечек с тонкими сухими руками, чаще безвольно опущенными вниз, а порой нервно перебиравший пальцами. Сухонькое высоколобое лицо, обтянутое тонкой желтоватой кожей, только на скулах пятнами выступает румянец. И все же он запомнился мне на много, много лет, особенно его глаза — большие, карие, влажные и всегда печальные».

Однако он не стал *доходягой*. «Старенькая, третьего срока лагерная одежка содержалась опрятной, была аккуратно залатана, тонкая шея как-то трогательно-жалко обернута ядовито-зеленым полушерстяным шарфиком, возможно, единственным, что он сумел сохранить с воли. Этот шарфик Азбель носил в любое время года, в любую погоду, тщательно закрывая им шею и узкую впалую грудь».

Вот короткая история героя.

«До ареста Азбель жил в небольшом белорусском городке. Был он совершенно одинок, работал в какой-то маленькой конторе — тихое однообразное существование мелкого служащего, безропотного, законопослушного. Старательно выполнял Азбель свои обязанности, исправно, даже охотно, не как другие сотрудники, ходил на все собрания. Сидел, слушал, аплодировал...

Время было сложное... В газетах печатались статьи о вражеских происках, признания в чудовищных злодеяниях, все этому верили. Азбель продолжал корпеть в своей конторе...

Все более грозовой становилась обстановка — пошли новые процессы со смертными приговорами, на фасадах райкомов и райисполкомов водружались огромные плакаты — мощная рука в ежовой рукавице сжимала схваченную жалкую фигурку вредителя, заговорщика, врага, и с нее заостренными кверху алыми каплями стекала кровь.

И вот тут какое-то большое, невыносимое, раздирающее душу чувство ужаса, возмущения, неприятия этой кровавой символики перевернуло темное сознание тихого исполнительного человечка, с истовой гордостью носившего на демонстрации плакатики и портреты. Корявыми буквами выводит он на картонке слова: “Довольно крови! Помилование”. Слабыми сухими ручонками с трудом приколачивает Азбель эту картонку к палке и выходит один на свою последнюю в жизни демонстрацию. Дальше — арест, тюрьма, следствие, приговор Особого совещания — пять лет лагерей.

Азбель не роптал, не жаловался на трудности, ни с кем не ссорился. А приходилось ему, несмотря на исключительную неприхотливость, ох, как нелегко.

<...> Разумеется, этот человек был не совсем здоров психически и, пожалуй, самым существенным отклонением от нормы была его повышенная, прямо-таки болезненная совестливость. Именно она привела Азбея в лагерь и определила его судьбу

<...> И наступил день, когда прибывшая на лагпункт медицинская комиссия признала Азбея и еще нескольких человек душевнобольными. Но их отнюдь не освободили, а отправили в какой-то психдом за пределами лагеря. Очевидно, там и окончил свои дни этот кроткий безответный человек».

5

При чтении этой книги, при рассматривании одного за другим ярко нарисованных автором лиц людей неведомой России – сгинувшей в лагерях и так и не попавшей в светлое поле сознания их соотечественников, – все больше и больше прояснялся для меня ответ на неразрешимый, казалось мне, вопрос последнего десятилетия.

Вопрос известный: почему в стране, где нет семьи, где не назвали бы – по имени или хоть по степени родства (двоюродный брат бабушки или прабабушки...) – того, кто погиб или потерял главную часть жизни в сталинских лагерях, – почему в этой стране больше половины людей считает Сталина положительной фигурой XX века?..

Мне стало ясно: вина всех и каждого в том, что страна с огромным населением допустила на своей громадной территории много лет бесперебойной работы кровавой мясорубки, уже не может быть искуплена. Время прошло. Миллионы погибли от руки убийц, которых никто не остановил, и истлели в земле.

Ведь это все равно, что вы узнали, что ваш ближайший родственник – серийный убийца. И что вам теперь делать с этим знанием?

Именно чувство неразрешимости, невозможности искупления общенациональной вины привело, я думаю, к единственному психологическому выходу: этого не было! А Сталин был хороший!..

Как преодолеть это?

Мариэтта Чудакова

О себе

Я родился в 1916 году в Москве. Детские годы прошли на Украине в Чернигове в семье моей матери, туда она возвратилась со мной навсегда, расставшись с моим отцом.

В Чернигове я окончил семилетнюю школу, затем родители договорились между собою, и для продолжения образования меня отправили в Москву к отцу.

Сперва я поступил в строительный техникум, потом перешел на рабфак, окончил его и по конкурсу в 1935 году поступил в Московский архитектурный институт.

В апреле 1937 года я был арестован по обвинению в участии в мифической «террористической организации студентов института».

Дело рассматривала Военная коллегия Верховного суда (как-никак террор!), там оно не прошло — отправили на следствие. Но никакого следствия не было, и через месяц решением Особого совещания я был осужден на 5 лет лагерей по статье КРД и отправлен в Воркутпечлаг (Коми АССР).

Сначала я попал на строительство железной дороги Усть-Вым — Чибью. Там надорвался и заболел, и меня с трассы увезли. Лечить не стали, и я после ряда мытарств пешим этапом (400 км) был отправлен на лесозаготовки в районе реки Печоры.

Там весной 1938 года тяжело заболел, после кровохарканья попал в стационар, затем, как активированный инвалид (туберкулез легких), был отправлен на инвалидный пункт Адак у Полярного круга.

На Адаке я пробыл более трех с половиной лет, вплоть до освобождения в 1942 году.

Об Адаке и близких мне людях (и неблизких тоже) большинство моих рассказов и повестей.

После освобождения пришлось отправиться на жительство в сельский район Татарии. В Горький, где жили мои родные, въезд был невозможен. Вскоре меня вызвали на медкомиссию и, невзирая на инвалидность, признали годным к строевой службе и направили в часть.

Однако там комиссия признала негодным к строю, я был направлен в нестроевую часть, прослужил там девять месяцев и был по состоянию здоровья уволен вчистую.

В 1943 году был восстановлен в институте, который закончил в 1947 году. Поехал по распределению в Кишинев. В 1948 году началась новая волна репрессий, меня в 24 часа выслали из Кишинева с «волчьим» паспортом (статья 39 с запрещением проживать в режимных городах). Жить пришлось сперва в Иванове, затем в Костроме.

В 1953 году я был амнистирован и смог переехать в Горький. В 1956 году был реабилитирован. В Костроме и Горьком работал автором-архитектором по реставрации памятников архитектуры. По моим проектам и под моим руководством восстановлен ряд памятников архитектуры союзного значения.

Преподавал в Горьковском инженерно-строительном институте архитектурное проектирование и историю архитектуры. В настоящее время – пенсионер.

В лагерь я попал двадцатилетним. Арест, тюрьма, лагерь перевернули все мое сознание. До этого я был всем доволен, с увлечением учился по избранной мною специальности. Политика и Сталин с его властью были где-то вдалеке от меня и совершенно не интересовали.

На Адаке я многое осознал и передумал, здесь обрел близких друзей, все они были намного старше меня. Среди них были люди интересные, с большим жизненным опытом, очень разные: были и участники гражданской войны, получившие увечья в боях за Советскую власть, а теперь «враги народа», был ученый физик Илья Любарский, был и грабитель-рецидивист Сапсай, и айсор-чистильщик обуви Бит-Павло. Нас, таких разных, сблизил общность изломанных судеб и стойкое неприятие сталинского режима.

Писать в лагере, а затем в армии и в институтском общежитии я, конечно, не мог, но и тогда уже в уме продумывал сюжеты будущих рассказов.

Только после реабилитации я стал писать, но и тогда это было небезопасно, написанное уничтожал, затем снова восстанавливал.

К 1991 году почти все из прозы было написано, и это я передал С.С. Виленскому.

Однако позднее, лет через десять, я решился. Отважился написать повесть о письмах, которые мне посылала в лагерь моя мама, самоотверженно поддерживавшая меня все эти тяжелые годы.

Повесть эта, «Адрес – лагпункт Адак», далась мне в стократ тяжелее, чем все написанное ранее. После этого считал, что больше уж писать не стану, но неожиданно для себя в 2007 году обратился к стихам, чего до сих пор избегал.

Хотелось от рассказов о личных судьбах перейти к более масштабному обобщению пережитого. '

Лагерь меня не оставлял все эти годы: «лагерник я, лагерник, не эллин, не иудей».

Как-то у Довлатова я прочел его наказ самому себе: «Раз не живешь, так хотя бы пиши!» И как молнией ударило: это обо мне, про меня, мое! Ибо после лагеря уже была не жизнь – житье...

Виктор Рубанович

Реквием

Пепел Клааса стучит в мое сердце...

Ш. Де Костер «Легенда о Тиле Уленипигеле»

Пепел Клааса стучит в мое сердце,
Как молот по наковальне...
Стучит неустанно, денно и ночью.
И слышится мне, что звучит неумолчно
То горестный плач поминальный,
То звон колокольно-вандальный,
То тщетно зовущий к возмездью набат...
Так долгие-долгие годы подряд
Пепел Клааса стучит в мое сердце...
И старое сердце, усталое сердце
Колотится, бьется подобно измученной птице
В темнице, которая клеткой грудною зовется...
Колотится, бьется и, кажется, вот оборвется
И вниз упадет, как ведро, что срывается
в бездну колодца...

Но нет, обошлось... Я живой
И, проснувшись в холодном поту,
Невидящим взором гляжу в темноту, в пустоту,
Пытаясь вернуть, или нет, не вернуть,
А прочь разогнать, отогнать, отпугнуть
Зловещие, мрачные, зыбкие тени
Моих воспоминаний, моих сновидений,
Которые — знаю давно — не прогнать,
не избыть, не забыть...

Врагом народа меня окрестили,
В Лубянку-тюрьму, как в купель погрузили,
Словно навечно к кресту пригвоздили.
Так вот и корчусь, бессрочно распятый,
Зная, что мне не дожидаться расплаты.
И не отмстит палачам Немезида –
Гневная древняя дева Обида.

2007

Рассказы

Ночной староста

Среди ночи, вернее, ближе к утру, меня вырвал из сна отвратительный звук – в замочной скважине лязгал ключ.

Это нам в камере внутренней тюрьмы на Лубянке было знакомо, хотя за месяц, проведенный здесь, привыкнуть так и не смогли – звук этот действовал подобно удару тока. Значит, сейчас приоткроется дверь камеры и коридорный шепотом объявит первую букву фамилии вызываемого на допрос: «на П» или «на Н» – своеобразная конспирация. Каждый из нас при звуке поворачиваемого ключа невольно сжимался: кого? Допросы, как правило, велись по ночам. И всегда были мучительны: издевательства, подвохи, иногда и похуже – побои, пытки...

На этот раз вызвали меня, с вещами. Значит, куда-то переводят. Или выпустят? В такое не верилось. За то время, что каждый из нас пробыл здесь, все мы успели убедиться, что следователи меньше всего озабочены выяснением истины, стремясь любым, даже самым подлым способом добиться признания в выдуманных ими преступлениях и на этом заработать себе лычки.

Спросонья я собирался медленно. Простился с соседями по камере, ставшими за месяц совместной жизни близкими людьми – старым большевиком Владимиром Ивановичем Невским, обаятельным военврачом I ранга Трофимуком – тренером Чкалова, Байдукова, Белякова и Леваневского, стариком-генералом Фосцялковским.

Уже знакомыми мне длинными коридорами по мягким, гасившим звук шагов ковровым дорожкам сопровождающий «пастух» (он же «попка») довел меня до небольшой каморки, где вдвоем с каким-то своим собратом учинил тщательный обыск.

Для этой процедуры заставили раздеться догола. Обыскивали старательно, заглядывали и в рот и в задний проход — ритуал для этих мест обычный. Затем на лифте спустили на первый этаж и вывели во внутренний двор. Там уже стоял наглухо закрытый фургон, точь-в-точь такой, в которых по утрам развозят хлеб. «Попка» завел меня внутрь фургона и запер на ключ в одной из кабин, устроенных по обе стороны прохода.

Сидя в тесной кабине, я услышал, как вслед за мною еще кого-то заводят и запирают. Заработал мотор, и машина тронулась с места. Со скрипом отворились ворота — фургон выехал на московские улицы. Было еще очень рано, извне лишь изредка доносились гудки автомобилей и шорох скользящих по асфальту шин: Москва только еще просыпалась. Ехать пришлось недолго, но сидя в кабине, я почувствовал себя как бы скованным, от сидения в неудобном положении онемели ноги.

Вскоре машина остановилась, послышались негромкие переговоры, затем скрип открываемых ворот, машина вновь тронулась, очевидно, въехала в какой-то двор — ворота за нею затворились.

Спустя некоторое время из соседних кабин кого-то начали выводить. Я напряженно вслушивался, но ничего определенно-го услышать не удалось.

Наконец настала и моя очередь. Разминая вконец занемевшие ноги, я выбрался из фургона и оказался в просторном дворе, окруженном унылыми корпусами из красного кирпича. Выходившие во двор окна были наглухо забраны «намордниками» из зеленоватого армированного стекла. Хотя было еще очень рано, из некоторых помещений доносился неясный гул человеческих голосов.

Я огляделся — центральная часть двора и расходящиеся от нее дорожки были замощены камнем. На зазеленевших газонах были высажены довольно высокие кустарники, в их густых зарослях оголтелым хором верещали воробьи. Было чудесное весеннее утро, начало мая. Уже более месяца я не видел ни деревца, ни травинки — на Лубянке нас лишь ежедневно выводили на двадцатиминутную прогулку в тесный дворик на крыше внутренней тюрьмы — и все.

«Попка», уже местный, указал мне куда идти, и мы двинулись по одной из дорожек. Сделав несколько ша-

гов, я спросил у сопровождающего: «Где я?» Он ответил: «В Бутырской тюрьме».

На Лубянке тюремщик на такой вопрос никогда бы не ответил. Все они там были вымуштрованы до состояния автоматов, и почти единственные звуки, которые мы от них слышали, — это какое-то особое шелканье пальцами, мастерски выполняемое при повороте коридора. Это был сигнал для идущего навстречу «попки», по которому надлежало немедленно упрятать сопровождаемого арестанта в специально установленную глухую кабину, чтобы, боже упаси, подследственные не увидели друг друга. За это шелканье их называли «соловьями».

Здесь, в Бутырке, как я вскоре убедился, порядки были много проще. Меня отвели в небольшое помещение, оттуда через некоторое время, не обыскивая, уже новый «попка» по гулкому, вымощенному плиткой коридору препроводил меня в одну из камер и запер дверь на ключ.

Это было довольно большое длинное помещение с двумя широкими окнами в торце. По обе стороны изголовьем к стене размещались койки, на них еще спали люди. В центре стоял длинный стол и вдоль него — деревянные лавки. Меблировку дополняла объемистая параша у двери.

Было совсем еще темно, не то что на Лубянке — там свет в камерах не выключали ни на час. Только начинало светать, но из-за толстых глухих «намордников» дневной свет сюда почти не проникал.

Когда я вошел в камеру, только две-три головы приподнялись над подушками. Кто-то спросил:

— С воли? Что там нового?

Но другой тут же возразил:

— Какое с воли — видишь, небритый. Давно взяли?

Я ответил.

— Ложитесь, вот койка свободная, до подъема можете вздремнуть. А утром вам Володя пояс устроит. Верно, Володя?

Только теперь на одной из крайних коек я разглядел небольшого человечка, сидевшего «по-турецки», с ногами, подвернутыми под себя. Его-то и называли Володей. Даже в царившем здесь полусвете было заметно, что лицо его обрамлено бородкой и что бородка эта, как и непричесанная шевелюра, — огненно-рыжая.

В ответ маленький Володя улыбнулся, сквозь полураскрывшиеся губы блеснул сплошной ряд вставных зубов.

– Сделаем. Поспи пока.

Я улегся на единственную свободную койку. В отличие от лубянских кроватей с панцирной сеткой, она была сугубо тюремной конструкции: к протянутой вдоль стены металлической трубе в изголовье шарнирно были закреплены сваренные из труб рамы, на них натягивался брезентовый мешок. На день, как я узнал этим же утром, койки вместе с постелью надлежало приставлять вертикально к стенам, освобождая пространство для хождения.

Не припомню, удалось ли заснуть. Вскоре был дан звонок к подъему, народ зашевелился, убирая койки, дневальные подметали пол. Ко мне, новичку, подходили знакомиться, пошли расспросы. И я постепенно приглядывался к новым для меня людям.

По первому впечатлению народ здесь по сравнению с внутренней тюрьмой на Лубянке был попроще. Если там в основном содержались крупные партийные работники, высшие и старшие офицеры, старые большевики с именами, работники наркоматов, то здесь такие попадались единицами. Зато было немало служащих и партийных работников среднего ранга, военные были званием ниже, больше было рабочих и студентов.

Всего в камере помещалось двадцать пять человек, почти все находились здесь по месяцу и больше. Режим был не такой свирепый, как на Лубянке, без непрерывных допросов по ночам. Многие после первых допросов месяцами сидели как бы позабытые. Если о них вспоминали, то обычно возили на допрос на Лубянку, хотя иногда следователи приезжали и сюда.

Поскольку большинство уже давно сидели вместе, отношения в камере установились, выделились и вожаки из числа наиболее ярких по характеру. Безусловным лидером был майор Генерального штаба Николай Евгеньевич Фадеев. Чуть выше среднего роста, с удлиненным матово-бледным лицом восточного склада, этот кадровый летчик в свои 36 лет успел набрать 37 лет летного стажа. Обвиняли его, как и многих военных, в подготовке покушения на Сталина и, сколько я мог понять, на допросах истязали нещадно. Образованный, с широким кругозором, очень чуткий и деликатный, он для всех нас был

неоспоримым авторитетом. Уважали в камере и других людей с большим жизненным опытом, например, бывшего политкаторжанина Мулявко, богатырского вида дядьку с изрытым оспой лицом; в годы Гражданской войны он был комиссаром Волжской флотилии Степанова, а позже — членом Верховного суда Украины. Рядом сидели совсем простые недалекие люди, арестованные за неосторожные речи. Над такими сокамерниками добродушно подтрунивали.

Утром, после завтрака, более простого, чем на Лубянке, но вполне съедобного и сытного, моей экипировкой занялся рыжеволосый крепыш Володя. У каждого заключенного при поступлении прежде всего отбирали пояс — опасались самоубийства. (Из тех же соображений на Лубянке все лестничные пролеты были ограждены металлической сеткой. Впрочем, как я слышал, в отдельных случаях и такие меры предосторожности не помогали — спасаясь от истязаний, ухитрялись кончать с собой в камерах с помощью жгута из обычного полотенца, прикрепленного к кровати.) Уже более месяца я передвигался, постоянно придерживая руками спадавшие брюки. Это было, прежде всего, унижительно и очень неудобно.

— Надоело так-то ходить, — ухмыльнулся Володя. — Ну, ничего, у нас это раз-два и... — тут последовал не совсем печатный оборот.

Откуда-то он достал небольшой самодельный нож без рукоятки, куцепалыми в рыжих волосах руками отрезал от моего матраца лямки и распустил их на отдельные нити. Затем, закрепив концы нитей в расщелину обеденного стола, Володя быстрыми уверенными движениями принялся скручивать их в крепкую веревку. Вскоре он с довольным видом вручил мне свое изделие, предварительно прикинув размер по талии. Я опоясался и, по выражению Володи, сразу почувствовал себя человеком.

Пока Володя трудился, я успел к нему присмотреться. Это был человек лет под тридцать, небольшого роста, коренастый, с слегка кривыми ногами. Сразу бросалось в глаза его лицо, все в складках и морщинках, с перебитой, как у боксера, переносицей. Все до единого зубы были вставные, из нержавеющей стали. К его ладной фигурке очень шли темно-синие армейские брюки-галифе и ярко-красная футболка. Майор Фадеев представил мне его:

— Наш ночной староста старший лейтенант Володя Долгоруков.

Сначала я не понял — что за ночной староста такой? Объяснение оказалось простым. Володя по ночам почти вовсе не спал. Режим здесь был намного мягче, чем на Лубянке. Там по ночам горел свет, надзиратель ежечасно поглядывал в глазок и строго следил, чтобы никто не разговаривал, не разрешалось укрывать голову одеялом. Здесь, в Бутырках, свет на ночь гасили, а на ночные разговоры надзиратели смотрели сквозь пальцы.

Вот и повелось: по ночам у стола или у Володиной койки собиралась небольшая компания, все больше молодежь, и слушала бесконечные его рассказы и истории. По ночам обычно приводили новеньких, их принимал и устраивал на место Володя, отсюда и прозвище — «ночной староста». Отсыпался он днем и спал крепким сном, как-то совсем по-детски свернувшись на койке калачиком и поджав руку под щеку.

Володя был любимцем, душой всей камеры. Как бы тяжело ни было, он старался отвлечь людей от гнетущих мыслей, чудил, подшучивал, и только изредка его озорные серые глаза в светлорыжих ресницах туманились и он грустно говорил:

— Плохо дело! Лапти кверху!

Затем, как бы пересилив себя, снова заводился, балагурил, посмеивался.

По характеру Володя был человек общественный, всегда люди к нему тянулись. Сын управляющего пороховым заводом в городе Шостке, он тринадцатилетним мальчуганом ушел из дома, прибил к кавалерийской части, там и вырос. Был он типичный кавалерист и отнюдь не интеллектуал. Язык его, очень образный и красочный, был густо нашпигован кавалерийскими терминами, забавными шуточно-ругательскими оборотами, как-то по-хорошему смешными. Виртуозной скороговоркой расшифровывал он весь набор принятых в кавалерии сигналов.

Рассказчиком Володя был замечательным, и ему было о чем порассказать: кавалерия была его стихией, неоднократно он становился чемпионом армии по стипль-чезу, и сам Ворошилов вручил ему именные часы за спортивные успехи. Эти успехи доставались нелегко. Не раз случалось ему падать на препятствиях, так что и нос он сломал, и все до единого зуба

выбил, да еще с переломом челюсти и ребер лежал в госпиталях. Ко всем своим травмам он относился спокойно: «На мне все, как на собаке, заживает».

Рассказывал он все это с добродушным юмором уроженца Украины, хотя украинизмов в его речи не замечалось. Были в этих рассказах и казачья удаль, и украинская смешливая лукавинка, и совершенно российская мягкая насмешка над самим собою. Примечательно, что хотя в центре всех рассказов был он сам, совершенно не чувствовалось хвастовства. Многие рассказы касались его амурных походов, но не было в них столь обычного в этом жанре цинизма, женщины рисовались обаятельными, смешливыми, чуть лукавыми, сродни самому рассказчику. Жаль, что не могу передать живое очарование Володиных рассказов — слишком много в них было словечек, отнюдь не матершинных, каких-то наивно-добродушных, но, увы, все-таки непечатных, так вставших в ткань повествования, что изъять их без утрат невозможно.

Еще жалею, что не довелось мне увидеть Володю в его стихии, на коне, но мысленно представляю, как это должно было ему идти.

В момент ареста Володя был слушателем Военной академии имени Фрунзе. Ему и его товарищам по академии обвинения предъявлялись стандартные — участие в мифической организации и выражение недовольства присвоенным воинским званием. Сколько Володя понимал, все его однодельцы держались достойно и его не оговаривали. Да и следователь ему попался не из самых плохих, его ровесник.

С самого начала следствия произошел казус — проверяя по изъятой записной книжке адреса знакомых Долгорукова, следователь обнаружил, что многие адресаты с мужскими фамилиями на деле оказались женщинами. Он потребовал объяснения. Пришлось Володе признаться в конспирации, своего рода камуфляже от ревнивой молодой жены, с которой он расписался незадолго до ареста. Следователь взорвался:

— И не стыдно тебе, Долгоруков? Тут твоя жена чуть ли не каждый день мне скандалы устраивает, только что с кулаками не бросается, твердит, что тебя зря взяли. Такая жена! Вот возьму и все про тебя расскажу!

— И ведь расскажет, гад! — сокрушался Володя.

Однако или следователь не рассказал, или жена его рассказу не поверила — передачи от нее шли Володе регулярно.

В другой раз после упорного отрицания Долгоруковым всех обвинений следователь в сердцах спросил:

— Ты еще, может быть, скажешь, что с тобой в камере все невинные сидят?

На это Володя спокойно ответил:

— По-моему, так да, — после чего следователь позвонил и бросил вошедшему конвоиру:

— Отведите Долгорукова к его фашистской сволочи.

Тем допрос и закончился, и долго после этого Володю на допросы не таскали.

Доброжелательный и отзывчивый, Володя старался всячески ободрить товарищей, внушить им твердость на допросах, причем забавно, чисто по-кавалерийски оценивал обстановку.

— Ну-ка, расскажи, как тебя допрашивали? — обращался он к новичку, только что вернувшемуся с допроса.

— Следователи молодые, сначала вдвоем допрашивали, потом поодиночке, и все по мелочам: что кому говорил, что от кого слышал, кто знакомые? То уговаривают, то страшат, признавайся, мол, тебе же легче будет... То папиросы суют да бутербродами угощают, то кулаком по столу стучат. Один подпрашивает, уйдет, другой по новой начинает, иногда вместе то же самое выпрашивают, и так ни минуты передышки.

— Следователи молодые, — перебивает Володя, — и сменяются, говоришь? Ну, это еще так себе, пробники.

— Какие пробники, не понимаю...

— Сейчас поймешь, — солидно объясняет Володя, — это в коневодстве термин такой — пробник. Вот, положим, есть жеребец племенной с хорошей родословной, словом, ценный, потомство от него ожидается классное. Ему кобылу приготовили, а не знают, как она его примет, может так лягнуть, что покалечит. А жеребца этого берегут, он, может, совсем дряхлый, а все равно ценный. Вот сначала вместо него и выпускают на корде пробника, молодого жеребца, но беспородного. Если кобыла не лягается, готова его принять, жеребца, пробника этого, тут же на корде стаскивают и уводят, он, понятно, злится, визжит. Уведут его, а настоящего, племенного, выпускают. Так и здесь, они, эти следователи молодые — те же пробники, изучают тебя,

слабые места прощупывают, а уж потом на тебя, как на кобылу эту, основного, опытного следователя напустят, он-то тебя... — тут такое словцо следует, что не напишешь.

Все это говорилось не с тем, чтобы запугать или обескуражить, тут же следовали дельные советы как себя вести, чтоб не дать себя запутать.

Однажды утром сразу после завтрака Володю вызвали на очередной допрос. Как обычно всей камерой собрали ему папиросы, чтобы мог курить, себя успокаивать. Целый день его не было, уже решили, что к нам его не вернут, переживали. Однако вечером, уже после ужина, услышали, как в замочной скважине поворачивается ключ. Дверь отворилась, и вошел Володя, как всегда подтянутый, но необычно мрачный. Сразу бросились к нему с расспросами:

— Что? Как?

— Подождите ребята, устал, дайте закурить, поесть, все после расскажу. А впрочем, дела такие — лапти кверху!

Это было обычное Володино словечко, означавшее серьезность положения.

После того как наш кавалерист справился с заботливо сохраненными для него обедом и ужином, все мы собрались вокруг него. С наслаждением затянувшись папиросою, Володя поведал нам о своей поездке.

— Привозят меня на Лубянку, ну, и как всегда после обыска — в собачник (камера для привезенных на допрос). Вошел — ё-моё, битком набито, одни военные, и все шишки — комбаты, комбриги, один комкор, командующий округом. Я, старший лейтенант, — всех младше по званию. Перед такими привык в струнку стоять, а тут все на меня как на икону уставились. И первый вопрос: «Курить есть?» Достал, у меня все, что собрали, при себе. Так верите — берут сигарку, первый затянулся и следующему — по кругу. Теснота, набито нас как сельдей в бочке, сидеть не на чем, я уж, как младший по званию, на крышке параша примостился. Так все и искурили — каждый затяжку и по кругу. Ну, на допросе потом я у следователя разжился, он у меня еще ничего, про других я там такого наслушался... А самое главное, мужики, на воле жуть что творится, прямо лапти кверху и все! Посажены не такие даже, как в собачнике со мною были, а самые высокие — Корк, Эйдеман, Путна, говорят, даже

Тухачевский, Якир... Подумать страшно! Корк, начальник нашей Академии, точно сидит. Тут теперь такое станут пришивать! Лапти кверху! Уконтропуют...

Новости и впрямь были ошеломляющие, выше нашего понимания. Люди-то какие! Все услышанное никак не укладывалось в головах. Нас всех еще больше пришибло — непонятно было, что же творится в государстве. Те, кто всерьез пытался осознать сущность происходящего, никак не могли поверить в виновность самых прославленных руководителей армии. Ведь мы на собственном опыте испытали, как измышляются такие обвинения...

Против ожидания, допрос у Володи прошел довольно спокойно, следовательно не очень-то старался, вопросов в связи с Корком не задавал — и то хорошо. После этого Долгорукова надолго оставили в покое. Возможно, в новой обстановке, когда волна арестов захлестнула армейскую верхушку, такие как он проходили уже как мелкая сошка, ими не было времени заниматься.

Володя по-прежнему держался стойко, внешне казался бодрым, шутил, чудил, все так же в бане ухитрялся, помогая парикмахеру, устраивать нам забавные бороды и усы. Но спать стал еще меньше, все чаще видели мы его задумчивым и слышали характерное «Лапти кверху!».

Жизнь в камере протекала однообразно, каждая мелочь становилась событием. Однажды во время неожиданного обыска один из надзирателей обнаружил тайник с Володиным самодельным ножом. Нож этот наш ночной староста хранил так скрытно, что никто кроме него и не знал тайника. В нашем нехитром обиходе этот инструмент был не только необходим, но стал еще и предметом нашей гордости, вещественным свидетельством того, что не во всем мы подвластны тюремным порядкам. И вот его у нас отобрали...

— Ничего, — заявил Володя, — новый сделаем.

Казалось, из чего в условиях строгого надзора можно изготовить нож? Оказалось — можно!

В ближайший банный день Володя отломил ручку от шайки, тут же в бане выпрямил ее о край бетонной скамьи, обломок этот благополучно пронес в камеру. Остальное уже было делом техники. Несколько дней подряд наш мастер на все руки дово-

дил изделие «до ума», обтачивая об бетонный подоконник. Мы в это время по очереди стояли «на стреме», карауля, чтобы не подглядели надзиратели, старались спиной загородить глазок в двери камеры. Хранение этого сокровища, именовавшегося заговорщицки «писка», снова взял на себя Володя.

Так и тянулось время... Меня успели свозить в Лефортово на суд военной коллегии. После разбирательства дело вернули на следствие, а меня — в ту же камеру. Это очень обнадежило всех нас — значит, все же стараются разобраться. Наш эрудит в судебных делах Мулявко считал, что уж теперь, после следствия, меня обязательно освободят, даже поздравлял. Володю еще раз возили к следователю; тот сказал, что следствие идет к концу, и вообще вел себя корректно.

И когда нас с Володей неожиданно вызвали на выход с вещами, все в камере были убеждены, что на освобождение. Прощаясь, мы старались запомнить адреса наиболее близких нам людей, чтобы дать знать родным об их судьбах. По коридорам нас повели во двор, а оттуда — в другой корпус. Перед нами открыли дверь, и мы очутились в огромном помещении. Там уже находилось множество людей с узелками в руках. Было шумно, все были взволнованы, никто ничего не мог понять. Мы посмотрели друг на друга. Володя казался необычно серьезным.

— Нет, — шепнул он, — что-то не так, какая тут свобода. Больно много тут для освобождения. Нет, нет, не то! Лапти кверху!

Дверь то и дело открывалась, небольшими группами входили все новые люди, все с узелками. В одной из групп я внезапно увидел своего однокурсника Колю Жижимонтова, как всегда подтянутого и аккуратного, даже с колпачком на голове для сохранения прически. О нем меня не спрашивали ни на следствии, ни в суде, я даже не подозревал, что Коля тоже сидит. Мы бросились друг к другу и крепко обнялись. Учились мы в разных группах, вращались в разных компаниях, но здесь почувствовали себя близкими людьми, почти родными. Тут же я увидел Володю, обнимавшегося с высоким темноволосым военным. Это был его товарищ по академии, одноделец и тезка капитан Данилюк.

Коля тут же рассказал мне, что попал в тюрьму за мальчишескую выходку. Получив деньги за написанные плакаты, он, большой щеголь, купил модные шаровары, надел коричневую

блузу и какие-то особенные ботинки. Когда он в таком виде явился в институт, кто-то в шутку воскликнул: «Наци». Коля отличный гимнаст, решил шутку поддержать и, не найдя ничего умнее, мгновенно вырезал из бумаги свастику, нацепил ее на блузу и прошелся перед публикой на руках. Этого оказалось достаточно. Посадил Колю его лучший друг, парторг нашего курса Конашинский, его показания Коля краем глаза усмотрел на столе у следователя. Конечно, этот друг отлично знал, что Коля сын красногвардейца, никакой не фашист, но все же донес.

Пока я слушал Колю, все новые люди входили, многие сразу же обнаруживали знакомых, обнимались, расспрашивали друг друга. Было тесно, от голосов стоял непрерывный гул. Наконец, очевидно, собрали всех, кого надо было, и тогда начали вызывать поодиночке по фамилиям и уводить. Обратного никто не возвращался. Состояние тревоги и какое-то гнетущее предчувствие беды, возникшее сразу же при входе в это помещение, не покидали меня, и когда, наконец, выкликнули мою фамилию, я двинулся на выход с ощущением скотины, которую ведут на убой.

В небольшой каморке на столе были разложены в ряд несколько папок. Сидевший у стола чин в форме, переспросив мою фамилию, придвинул ко мне одну из папок:

— Прочтите и распишитесь.

Я прочел: «Слушали — постановили. По решению Особого совещания 5 лет лагерей по статье КРД». Меня как на месте убили — вот так следствие! Без суда... И главное — как перенесет это мать, для которой я — все? Подумать страшно.

Расписался я как во сне. Сразу же меня отвели в другое помещение, очень большое, квадратное, наполовину заполненное людьми. Почти все они получили по пять лет, лишь единицы — по три, а кое-кто — и по восемь. Только формулировки были разные, но тогда в этом мы еще не разбирались — КРА, КРД, КРТД, ПШД. В голове у всех были только сроки, они казались (да и были) огромными, а главное — несправедливыми. Еще больше угнетали тревога и боль за родных и близких — им-то какво?

Входили еще люди, среди них Коля и оба Володи. У них тоже оказалось по 5 лет, только у «академиков» фор-

мулировка была не КРД, как у нас, а КРА. «А» — означало агитация, «Д» — деятельность, и то и другое, само собой разумеется, — контрреволюционные.

Темно-зеленые грязные стены помещения, очевидно специально отведенного для объявления приговоров, были сплошь покрыты нацарапанными надписями — фамилии, срок, иногда — комментарии, их администрация тюрьмы даже не пыталась стереть.

Мы с Колей вскоре отыскивали целый столбец с фамилиями наших студентов — всем по 5 лет. Тут были целые мартирологи. Например: шапка: «Московский институт стали», под ней столбцом — фамилии, против каждой срок, против одной еще «вождь» и ниже — концовка: «Спасибо великому Сталину за нашу счастливую молодость!» Другая надпись: «8 пловцов получили 40 лет». Фамилии и ниже: «Слава советскому спорту!»

В нашей партии оказались еще два пловца из сборной Союза — рослый, с мощными ручищами Илья Рапопорт и чубатенький светловолосый крепыш Иван Колчин. Илья беспокоился — где бы найти орудие, чтобы начертать свои фамилии и сроки.

Входили все новые люди, растерянные и гневные, набилось, наверное, около двух сотен. Вскоре нас повели в пересыльные камеры.

Наша партия попала в специально освобожденную огромную камеру со сплошными нарами вдоль стен и Т-образным свободным пространством в центре. Впрочем, свободным оно было от нар, но не от людей. Все место занимали сколоченные из реек лежаки, уложенные на бетонный пол. Такие же лежаки были и под нарами. Сразу сформулирована была терминология — пространство под нарами именовалось «метро», в проходах — «самолет». Места на нарах считались лучшими, их, согласно квитанциям на отобранные при аресте вещи, предоставляли самым давним сидельцам. Однако теснота и скученность были такие, что лежать на нарах можно было лишь на боку.

Нам четверым достались места на нарах, все рядом. Обычно мы устраивались так: двое спали в нормальном положении первую половину ночи, вторая пара, сидя у них в ногах, терпеливо дожидалась своей очереди. Для пользы дела бодрствующие давили клопов, которые здесь бродили табунами.

В первый же день, когда нас вывели на двадцатиминутную прогулку, Илья Рапопорт заметил, что находимся мы во дворе перед бывшей их камерой. Сложив руки рупором, он рявкнул: «Лазарь, мне – пять». Тут же охранники заметались вокруг нас, моментально раздалась команда: «Кругом, в камеру марш». Хоть и обидно было лишиться прогулки и возвращаться в душную камеру, но Илью все одобряли – молодец, дал о себе знать другу!

Шли дни, недели. В пересылке жилось много труднее – скученность, духота, клопы, но прежде всего – подавленность, у многих – чувство отчаяния. Здесь уже начала ослабевать та солидарность, товарищеская взаимопомощь, которой мы были сильны, сидя в камерах для подсудимых. Возникали ссоры по пустякам, нервные срывы. Но еще оставались в силе «комбеды» – складчина в пользу тех, кто не получал передач от родных, еще находились вожаки, стремившиеся как-то занять людей, обогатить их знания, укрепить дух. Читались лекции, декламировали стихи. Именно здесь для меня открылась поэзия Гумилева.

Постепенно состав камеры менялся; уходили на этапы, свободные места незамедлительно заполняли новые осужденные. Их староста камеры определял на спальные места в соответствии с квитанциями. Однажды, когда группе вновь пришедших объявили о нашем порядке размещения, раздался возглас:

– Мне давайте на нарах – с 18-го года сижу!

– Бывший анархист? – спросил кто-то из наших.

Из толпы новичков задорно взметнулась кверху черная в колечках ассирийская борода.

– Почему бывший? Я и сейчас анархист!

Разумеется, ему тут же отвели лучшее место на нарах.

Анархисты в Бутырке попадались редко, но их смелое, бескомпромиссное поведение, упорная защита собственного достоинства вызывали общее уважение. В тюрьме ходили легенды о стойкости сидевшего в одной из камер анархиста по фамилии Волченков. Он наотрез отказывался вставать при появлении начальства и за это неоднократно наказывался карцером, но своего поведения не изменил.

Наш анархист, лобастый человек со спокойным лицом древнегреческого философа, был того же сорта. Где-то в лагерях,

чуть ли не с тех же времен, томилась его жена. На вопрос — есть ли у них дети, следовал отрицательный ответ с разъяснением: «Можем ли мы позволить иметь детей при этом тюремном строе». Однажды ночью среди прибывшего пополнения обнаружили четверо глухонемых. Бедняги не могли объясниться, только мычали. Камера грохнула взрывом смеха: «Ха-ха, агитаторов привели!» Оказалось — «террористы». Показания против них следователи выбили из их переводчика, молодого, насмерть перепуганного парнишки. Он был тут же, как и они, получил свои 5 лет.

Постепенно в камеру стали приводить людей со сроком по Совещанию уже по 8 лет. Народ невесело шутил: «Старая печатка сносилась, новую запустили». К нам доходили сведения, что кое-кого из уже осужденных возвращают на новое следствие и добавляют срок.

Все это, а главное — нервное переутомление и полная неопределенность — угнетало, создавалось общее настроение — пусть уж скорее в лагеря, только бы здесь не томиться. Люди увядали буквально на глазах, заметно мельчали. Однажды, когда кто-то из заключенных затеял мелочную свару из-за порции каши, наш староста, комбриг Мадсен, человек прямой и честный, не выдержал и в сердцах запустил в него оловянную миску с кашей и лишь случайно не попал в голову.

Все это время мы держались вместе — Володя с его другом и мы с Колей. В новой обстановке при многолюдье и тесноте Володя как-то сник, уж не стремился к общению, кончились его удивительные рассказы, так поддерживавшие нас, его товарищей по несчастью, в трудные минуты. Большею частью он был печален, очевидно, тяжело переживал за жену, все еще посылавшую переводы. Все мы чувствовали себя безмерно несчастными, наши думы были о родных, которые мучились не менее нашего. Вскоре на этап вызвали Володю. На прощание мы крепко обнялись, расцеловались. По слухам, их этап ушел на Колыму. Больше ничего мне узнать об этом милом, таком легком в общении человеке — нашем ночном старосте, не удалось.

Поездка в Лефортово

С тех пор как меня с Лубянки перевели в Бутырскую тюрьму, следователь, казалось, позабыл о моем существовании — меня не допрашивали больше месяца. И вот вечером, перед самым ужином, меня неожиданно вызвали. Без вещей, это означало — на допрос. Выходя из камеры, я настраивал себя на малоприятную встречу с человеком, которого успел возненавидеть, как никого до сих пор.

Со времен первого допроса я многому научился. Тогда я, как почти каждый попавший сюда впервые, был убежден, что произошло какое-то недоразумение, очень досадное, конечно, но все выяснится, меня отпустят и все пойдет по-прежнему. Больше всего меня беспокоили два обстоятельства: как бы до моего выхода отсюда не вздумали написать в Чернигов матери и зря ее обеспокоить, и еще я переживал, что сидя здесь, в тюрьме, я пропущу занятие по рисунку в институте. Накануне ареста наш строгий преподаватель, доцент Кроянский, до этого часто ругавший меня «сезаненком» (он был строгий классик, ученик Кардовского) или демонстративно проходивший мимо моего рисунка, вдруг не только похвалил меня, но подарил французскую сангину — это было у него высшее поощрение. Поэтому так обидно было пропускать очередное занятие.

Следователь, старший лейтенант Тительман, ярко-рыжий веснушчатый человек лет тридцати небольшого роста с малинового цвета шеей и серыми с красноватым оттенком глазами, чем-то напоминавший злую крысу, с первых слов начал запутывать, выворачивая наизнанку мои высказывания, подкинутые неизвестными мне осведомителями. Во всем, что мне приписывалось, с моей точки зрения, ничего антисоветского не было: я никогда не думал, что мое возмущение местными

властями, которые ничем не помогли голодавшим в 1932 году на Украине крестьянам, да еще восхищение героизмом Каляева после того, как довелось прочесть книгу Бурцева «Как я разоблачил Азефа», — контрреволюция. О голоде на Украине знали и говорили все, а книгу Бурцева только что издали.

Между тем Тительман обвинял меня не просто в контрреволюционных высказываниях, а в участии в некоей террористической организации студентов нашего института. С теми, кто по этому делу привлекался, я не дружил, ни я у них, ни они у меня дома не бывали, у третьих лиц мы не встречались. Никаких высказываний от этих ребят, студентов параллельной группы, я никогда не слышал. Единственной зацепкой было мое выступление на собрании нашего курса, когда очень слабо учившаяся студентка обвинила одного из тех, кто позднее был арестован, в том, что тот отказался ей помогать, да еще якобы одобрял отрицательный отзыв писателя Андре Жида о советской молодежи. Я только и сказал, что не следует под свои личные обиды подводить политику.

В таком роде я и отвечал следователю, но он, составляя протокол, извращал буквально каждое слово, писал, что я признаюсь «в восхвалении эсеровского террора как метода борьбы против советской власти» (это о Каляеве). Такую галиматью я подписать отказался.

— А вот и видно, что ты антисоветски настроен, раз мне, следователю, представителю советской власти, не доверяешь.

Я ответил, что доверять доверяю, но ведь записано все неверно и подписать такое не могу. Он долго меня уламывал и, убедившись, что я подписывать не стану, сделал вид, что идет на уступки.

— Ты, — сказал он, — порядка не знаешь. Протокол подписать ты обязан, а в чем не согласен, пожалуйста, имеешь право оговорить, подпиши и ниже припишешь свои оговорки.

Тогда мне, 20-летнему, и в голову не приходило, что советский следователь способен меня обмануть; я поставил свою подпись и тут же собрался по пунктам приписать все мои возражения, но Тительман ловким движением выхватил протокол из моих рук.

— Ничего тебе я не дам писать, здесь я решаю, что можно и что нельзя.

— Тогда, — отвечал я — отказываюсь от показаний, буду писать жалобу наркому и прокурору Союза.

— Можешь писать, все равно через меня пойдет, — спокойно отрезал следователь.

В тот же день я потребовал бумагу и написал заявление, где изложил всю эту историю и настаивал на своей невинности. После этого меня неоднократно допрашивали Тительман и второй следователь, грубый крикун Радченко, то угрожая, то задабривая, но я им уже ни в чем не верил и одно твердил, что требую их отстранения и отвечать не стану. Вызывали на допрос чаще по ночам. В последний раз, когда меня сонного привели в кабинет Тительмана и я снова отказался отвечать, он, ухмыляясь, сказал:

— Я только хотел посмотреть, как ты сейчас выглядишь.

И тут же приказал увести.

«Теперь, очевидно, снова попытается допрашивать», — думал я, следуя по коридору в сопровождении конвоира.

Внутренне я собрался и решил ни на один вопрос следователя не отвечать — это, по убеждению всех сидевших в камере, была наилучшая тактика, ее мы и усвоили здесь.

Сопровождающий завел меня в небольшое помещение. Стены его на высоту человеческого роста были облицованы зеленоватой плиткой. У стены стоял небольшой столик, рядом с ним табуретка, на столе — чернильница-невыливайка. Здесь меня и оставили.

Я ожидал, что теперь, как это водилось, обыщут, затем погрузят в воронок и увезут на допрос. Однако получилось по-иному. В помещение вошел какой-то чин в форме, спросил фамилию и, услышав ответ, положил на стол бумагу с отпечатанным текстом. Затем, бросив «ознакомьтесь и распишитесь», вышел. Дверь за ним заперли, я тут же взял в руки листок и обмер, прочитав первые строки: «Обвинительное заключение», выше — «Утверждаю» и подпись «Вышинский». Обвинялся ни много ни мало в участии в террористической организации, и дело передавалось в Военную коллегия Верховного суда СССР. Все якобы было доказано следствием и подтверждено показаниями обвиняемых. Я сидел подавленный, вернее, раздавленный сознанием полной беспомощности перед этой чудовишной ложью.

Особенно поражала подпись Вышинского: до сих пор, хоть я еще на Лубянке слышал от Владимира Ивановича Невского самые резкие отзывы об этом человеке, в моей голове, и не только в моей, не укладывалось, как может прокурор Союза, высший блюститель законности в стране, утверждать такие нелепые обвинения.

Через некоторое время дверь отворилась:

– Ознакомились? А подпись?

– Здесь все ложь! Подписывать не буду!

В ответ чин разъяснил:

– Вы подписываетесь только в том, что прочли обвинительное заключение, это формальность, а оспаривать его вы сможете в судебном заседании.

Мне уже было все равно, я расписался и в полном отчаянье остался один. К счастью, почти сразу за мной пришли, и вскоре я уже входил в свою камеру.

Как все-таки хорошо было после пережитого вновь оказаться среди людей, с которыми за эти два месяца я успел сблизиться. Хотя и они были в таком же положении, а некоторым «шили» дела еще более чудовищные, все, узнав, в чем дело, окружили меня, старались поддержать, успокоить, помочь справиться с силами. Наш первый авторитет по судебным делам, бывший член Верховного суда Украины Мулякко, разъяснил, что по закону судить меня могут не ранее, чем через неделю, советовал по возможности спокойнее обдумать свою защиту, говорил, что Военная коллегия – инстанция серьезная, осудить может только при убедительных доказательствах вины, а раз их нет, нечего отчаиваться.

Не скрою, не столько эти аргументы, сколько доброжелательность и дружеская поддержка помогли мне овладеть собою, и на следующий день мне было много легче. После завтрака мы с майором Фадеевым устроились у стола, я слушал его спокойные обстоятельные советы, как лучше держаться на суде, тут же сидел и Мулякко, сиплым басом вставляя свои замечания. Неожиданно дверь камеры отворилась, вошел коридорный и, заглянув в бумажку, вызвал меня с вещами. Ясно было, что ухожу насовсем, со мною прощались, пожимали руки, желали, чтобы все обошлось. Напоследок мы с Фадеевым обнялись и расцеловались.

Из камеры меня увели в какую-то каморку, там наспех обыскали. Затем я очнулся в одном из внутренних дворов, где уже стоял наготове фургон — точное подобие машины для развозки хлеба. По приставленному трапу сопровождающий завел меня в машину и запер на ключ в одной из кабин, устроенных по обе стороны узкого прохода. Кабина была тесная, я с трудом устроился и, сидя в полной темноте, стал прислушиваться. Вслед за мною еще кого-то запирали в соседние кабины, все это молча, так что понять, кого везут, мне не удалось.

Вскоре заработал мотор, послышался скрип открываемых ворот. По шороху бесчисленных колес, гудкам автомобилей и сливавшимся в неясный гул человеческим голосам я понял, что фургон выехал на московские улицы.

Во дворе я успел заметить, что день выдался чудесный, жаркий и солнечный, какие я особенно любил. В моей кабине сразу стало душно, с первых минут не хватало воздуха, я задыхался. Иногда на пересечении улиц фургон останавливался, тогда уличный шум становился явственнее, и это волновало меня, еще сильнее подчеркивало насильственное отчуждение от кипевшей рядом жизни. Мне мерещились залитые солнцем улицы и на них — толпы людей в легкой светлой летней одежде, веселых, оживленных, свободных, не ведающих, что вот здесь, совсем рядом я в темной тесной кабине, мокрый от пота, задыхаюсь, и везут меня неизвестно куда.

Ехали долго, казалось, что мне не выдержать этой духоты, но вот машина затормозила, послышались переговоры, звук открываемых ворот. Проехали еще немного, наконец, двери фургона открыли, я услышал, как отпирают кабины и поодиночке выводят людей. Пришлось порядочно прождать, пока пришел мой черед.

Сопровождающий передал меня невысокому молодому солдату, и он, указав направление, пошел вслед за мной по двору в один из корпусов. Вскоре я оказался в небольшом помещении, точно таком же, как в Бутырках, только без столика и чернильницы, здесь солдат и оставил меня. Сидя на табурете, я старался понять, где нахожусь. Ясно, что сюда меня поместили на время, наверное, солдат пошел узнать, в какую камеру меня определяют. Ждать пришлось недолго. Дверь приотворилась, показался тот же солдат — тут я рассмотрел его внимательно.

нее. Он был примерно мой ровесник, худенький, невзрачный, светловолосый, с добродушной полудетской физиономией. И разглядывал он меня с неподдельным любопытством.

— Где я?

— В Лефортове. Жарко, небось, умыться хочешь?

Еще бы, после поездки в кабине я взмок, тело и особенно лицо саднило от пота.

— Хочу, только полотенце надо взять.

Он подождал, пока я достал из мешка свое полотенце, потом по коридору повел меня мимо большого помещения, оттуда густо пахло горячими блюдами, мелькали фигуры женщин в белых халатах и шапочках. Солдатик привел меня в небольшую комнатку с умывальником, очевидно умывальную при кухне.

— Вот, мойся, — и он придвинул ко мне кусок туалетного мыла.

Я разделся до пояса и с удовольствием начал умываться. Сразу стало легче. Пока я обтирался, солдатик с улыбкой смотрел на меня, не торопил. Когда я вернулся, он сперва прикрыл за мной дверь, но через пару минут заглянул снова.

— И долго мне здесь быть? — спросил я.

— А до суда уже скоро.

Сначала я не понял. Как? Суд? Когда же он будет?

— Да он уже идет, много вас привезли сегодня!

Я ошалело смотрел на него. Как же так, ведь со слов Мулявко я считал, что до суда еще целая неделя, а тут суд уже идет! Первым чувством, которое я в этот момент испытал, было отчаяние — кругом ложь, одна ложь, я ощутил себя чем-то вроде щепки, которую подхватил страшный, неумолимый в своем стремлении поток и тащит куда-то туда, где один исход — гибель. И самое тяжелое — чувство вины перед матерью, все ее надежды в жизни были связаны со мной, ни в какой контрреволюции я не виноват, а перед мамой виноват уже тем, что я здесь, это чувство вины мучило меня с первого дня ареста. Здесь, в Лефортове, оно было невыносимо. Все, конец всем надеждам! Безнадежное отчаяние овладело мною, овладело безраздельно.

Спустя некоторое время мне все же удалось взять себя в руки. Что я погиб — нет сомнения, остается как-то собраться с силами и держаться достойно — так я решил для себя. Сейчас, через долгие годы, оглядываясь на прошлое, я думаю, что спустя

некоторое время отчаяние вновь, и возможно еще сильнее, завладело бы мною, если бы не солдатик, все это время молча глядевший на меня. Наверное, уже не впервые видел он здесь оторопевших от неожиданности людей.

Он стоял рядом, не уходил из кабины, наконец заговорил, и звук его голоса вывел меня из оцепенения:

— Может, ты поесть хочешь?

Голодным я не был, и не до еды здесь было, но, напряженный до предела, столько сочувствия услышал в его тихом, приглушенном до шепота голосе, с такой неподдельной заботой предлагал он единственную посильную для него помощь, что неожиданно для себя я как бы очнулся и даже обрел способность рассуждать — что будет то будет, сейчас надо собрать все силы, успокоиться, не скинуть — и ответил:

— Хочу.

— Сейчас... Есть каша, хорошая каша.

Он прикрыл дверь, я услышал торопливые шаги. Вскоре солдатик вернулся с большой алюминиевой миской, в ней до краев была густая пшенная каша, обильно политая маслом.

— Вот, давай ешь, каша, хорошая каша, — повторил он, протягивая ложку.

Я уселся и зачерпнул — каша и впрямь была хороша. Это незатейливое блюдо я любил с детских лет. Я уплетал кашу, солдатик, улыбаясь, стоял рядом.

— Вкусная? — спросил он.

Я кивнул. Когда я прикончил миску, он спросил, надо ли еще, но я уже был сыт по горло. После каши солдат принес еще чаю, его я выпил с удовольствием.

Странно, как подчас успокоительно действует на человека то ли сытое состояние, то ли сам процесс принятия пищи. Еще полчаса назад я был в совершенном отчаянии, убитый, растерявшийся донельзя. Теперь я почувствовал решимость, какой до этого за собой не знал. Но суть моего преображения была, разумеется, не в пище, не в каше этой вкусной, а в той волне человеческого сочувствия, чистого, неподдельного, которая дошла до меня от невзрачного, худенького солдата и подняла, вырвала меня из бездны отчаяния. И он, этот солдат, сумел остаться таким не где-нибудь, а здесь, в страшной Лефортовской тюрьме, о которой мы в Бутырках слышали только самое плохое.

Теперь надо было подготовиться к суду, не выглядеть там растерянным — этим я и занялся.

— А можно мне снова окатиться? — спросил я у солдата.

— Почему нет, давай, собирайся.

Снова он отвел меня в умывальную, там я умылся, сменил на новую свою пропотевшую майку, как мог пригладил мокрые волосы. После этих приготовлений я почувствовал, что готов спокойно встретить все, что предстоит. Вскоре за мной пришли двое вооруженных конвоиров и увели меня. Один пошел впереди, за ним — я, шествие замыкал второй конвоир. Мой узелок остался в комнатке.

Меня привели в довольно большое светлое помещение. В торце его на возвышении я увидел покрытый скатертью судейский стол, стулья, а за стульями — дверь, из которой, как я понял, должны были появиться судьи. В зале тоже были расставлены ряды стульев, конвоир молча указал на место в середине первого ряда, я сел, по обе стороны встали конвоиры.

Кроме меня и двоих солдат в помещении никого не было, и это меня удивило. Один из моих дядей был адвокатом — чаще в ходу было слово «защитник», мне всегда оно было ближе. Мой дядя был одним из лучших защитников в городе, дело свое любил. Из его рассказов я составил представление о зале суда, заполненном публикой, а здесь я один да еще два солдата. Странно...

— Встать, суд идет!

Из двери, замеченной мною, поочередно выходили трое судей, за ними секретарь с папкой в руках, все военные. Потом из этой же двери появились еще несколько человек в штатском. Судьи заняли места за столом, рядом — секретарь, для штатских были приготовлены стулья слева от судейского стола.

— Военная коллегия Верховного суда СССР в составе... — секретарь отработанной скороговоркой зачитывал обвинительное заключение.

Я смотрел на судей — все средних лет, в центре председатель, темноволосый с аккуратно расчесанным пробором, слева от него — худощавый с сухим лицом и копной густых волос, не то седой, не то альбинос, третий член суда мне и вовсе не запомнился. Их фамилии, зачитанные секретарем, как-то ускользнули, не услышались; видно, все мои силы пошли на самонастройку.

– Признаете себя виновным?

– Не признаю.

Председатель, заглянув в разложенные перед ним бумаги, задал вопрос:

– Как же, на следствии вы не отрицали то-то и то-то.

– Я не отказывался от того, что говорил, но во всем этом не было ничего враждебного, а следователь записывал, искажая каждое мое слово, и подпись получил обманом.

Тут я подробно описал ход следствия и добавил, что поэтому в заявлениях на имя прокурора Союза и наркома эту подпись не признаю. Что же касается террористической организации, не имею о ней ни малейшего представления.

– Наверное, вас в камере учили отказываться от показаний? С кем вы сидели, и кто вас учил? – задал вопрос председатель.

– Я сидел со многими, среди них были старые члены партии – Владимир Иванович Невский, член Верховного суда Украины Мулявко и другие, но никто из них меня не учил, в тюрьме каждый отвечает за себя. Я ни в чем не виноват, а следователь только и старается оклеветать меня. Я настаивал на следствии и здесь прошу – пусть выступят те, кто на меня доносил, и я в лицо уличу их во лжи.

До этого лица судей были непроницаемыми, но при упоминании фамилии Невского и особенно Мулявко на какое-то мгновение это выражение как бы смазлось, едва заметное движение прошло по ним – только на миг, держать себя в руках они умели...

Но так натянуты были в этот момент мои нервы, что я эту мимолетную перемену уловил, как и движение, тоже еле заметное, среди людей в штатском – похоже, что до этого и они не знали, где сейчас их коллега Мулявко.

Тут же председатель обратился ко мне:

– В обвинительном заключении указано, что вы восхваляли эсеровский террор как метод борьбы против советской власти. Вы и это отрицаете?

– Ничего подобного не говорил, и говорить не мог. Речь шла о впечатлении от книги Бурцева и конкретно о Каляеве, который не стал бросать бомбу в карету губернатора Москвы и, рискуя жизнью, отложил покушение только потому, что в карете были жена и дети. Если восхищение Каляевым за такой поступок это пропаганда эсеровского террора, то этак мож-

но обвинить и Моссовет — я сюда привезен из Бутырок, а там рядом улица Каляева, — закончил я.

В таком же духе отвечал я и на другие вопросы, казалось, что слушают меня внимательно, и чем дальше, тем вроде сочувственнее. На вопрос, неужели я считаю, что никакой террористической организации в нашем институте не было, я ответил, что именно так и считаю, что ни от кого из обвиняемых по этому делу ничего антисоветского не слышал, нигде, кроме института, с ними не встречался, даже с ними не дружил.

— К тому же, — добавил я, — в обвинительном заключении вождем организации назван студент, которого и я, и другие считали недалеким горлопаном, остальные — ребята способные и умные, он никаким авторитетом не пользовался, какой же это «вождь»? Не верю в такую организацию.

На это мне ничего не ответили. Я ожидал, что после моих объяснений допросят свидетелей, а затем выступит прокурор с подтверждением обвинений. Но вместо этого мне неожиданно предоставили последнее слово.

Пока шло заседание суда, я, как ни странно, не испытывал того страха за свою судьбу, который до этого лишь подавлял в себе. Наоборот, я был почти спокоен и держался свободно, очевидно, нервы напряглись до предела, это и раскрепостило меня.

Суд удалился на совещание, я остался сидеть на своем месте почти удовлетворенный — что хотел сказать, было сказано. Судьи совещались недолго, никакого томления в ожидании приговора я испытать не успел. Раздался возглас: «Встать, суд идет!» Снова вошли судьи, заняли свои места. Председатель, глядя на меня, объявил:

— Военная коллегия... постановила направить дело на следствие.

И тут я почувствовал, как все же был до этого напряжен — как-то сразу отлегло, и меняхватило только на одно слово: «Спасибо».

Судьи удалились, конвоиры в том же порядке повели меня назад в камеру. Там уже ждал солдатик — «мой солдатик», как я мысленно его называл. Если до суда он был весь сочувствие, то теперь вид его выражал прежде всего напряженное любопытство. Он придвинулся вплотную к одному из конвойных

и что-то шепнул, тот ответил, тоже шепотом. Меня ввели в каморку, дверь закрылась, но тут же, едва стихли шаги уходивших конвоиров, солдатик приоткрыл ее, заглянул и, сделав огромные глаза, прошептал:

– Ну, что?

– На следствие отправили, – отвечал я тоже шепотом.

Очевидно, он хотел от меня услышать подтверждение того, что узнал от конвоира.

– Ну, хорошо, это здесь редко, почти всех осуждают, – на лице его я прочел нескрываемое облегчение. – Теперь отпустить должны, – добавил он.

Я в этот момент думал так же; солдатик с довольной улыбкой смотрел на меня, и мне с ним было хорошо, хотя мы оба замолчали.

Через некоторое время меня погрузили в тот же фургон. Было уже темно. Вскоре я оказался в Бутырках, и после довольно небрежного обыска вошел в свою 25-ю камеру почти как в дом родной. Там уже не надеялись увидеть меня вновь. Мое появление всех удивило. Уже с порога, не дожидаясь вопросов, я выдохнул: «Суд был. Послали на следствие». Начались расспросы. Я рассказывал, стараясь ничего не упустить. Настроение у всех в камере было приподнятое – значит, все же не верят следователям, стараются разобраться. У людей, задержанных на следствии, испытавших весь ужас внезапного перехода в разряд отверженных, не умирала надежда на справедливость. Проговорили до поздней ночи... Наш судейский корифей Мулявко сказал, что, судя по моему описанию, один из штатских на суде был заместитель Вышинского Леплевский.

– Теперь ожидай спокойно – доследуют, и выйдешь на волю, – добавил он.

И, наверное, впервые за три с лишним месяца я заснул, веруя, что наконец окончится весь этот кошмар.

Теперь, спустя много лет, вспоминая события этого дня, я неизменно думаю, какими наивными, легковерными мы тогда были – и я, мальчишка-студент, и умудренный опытом бывший политкаторжанин, а позднее – член Верховного суда УССР. Ведь тех, кого не удавалось осудить, пропускали через особое совещание: «Слушали – постановили».

А еще я думаю о солдатике – маленьком, невзрачном, сохранившем чувство подлинной человечности там, где этому чувству, казалось, вовсе нет места. Что с ним стало, уцелел ли в последующие бурные годы? Очень бы хотелось в такое верить. Но уж узнать мне не дано...

Болотные солдаты

Среди многих афоризмов, сложившихся в лагерях, был такой: «Если у тебя есть рога, сдай их в каптерку, пока не сшибли». В первые месяцы лагерной жизни, осенью 37-го, я эту истину еще не успел усвоить, и это мне дорого обошлось. Поначалу мне с работой повезло, хотя я этого не уразумел. Я попал в бригаду, которая устанавливала телеграфные столбы на трассе строящейся дороги Усть-Вым — Чибью, в дальнейшем продленной до Воркуты. Работа была в общем несложная, хотя не из легких. Через каждые 50 метров мы должны были вырыть ямы и в них установить заранее подвезенные столбы. Трасса проходила по торфяникам, ямы приходилось рыть глубокие, работу усложняли пливуны и грунтовые воды. Многим из нас, непривычным к физическому труду, приходилось нелегко. На первых порах, несмотря на то, что работали в брезентовых рукавицах, мои руки были стерты до кровавых мозолей.

Однако этот труд был много легче, чем земляные работы по отсыпке полотна дороги, а главное, жили мы более свободно, вне лагпункта, на сухом пайке, свой кашевар готовил на всю бригаду. По лагерным меркам это считалось благодатным житьем. Народ в бригаде подобрался из осужденных по 58-й статье, в большинстве своем — рабочие и колхозники, люди привычные к тяжелой работе, за ними тянулись и такие, как я. Бригадир Смирнов, немолодой уже человек и бывалый лагерник, был по-своему справедлив. Он, конечно, видел, что многие, и я в том числе, работать наравне с настоящими работниками не могут, но норму выводил всем без исключения.

Но надвигалась осень, копать ямы, стоя в ледяной воде, становилось все тяжелее. Необходимы были сапоги взамен износившихся ботинок, но их долгое время не давали, а когда,

наконец, выдали, на всех не хватило. В первую очередь их выдали лучшим работникам. Начались обиды, дошли до прямой ссоры с бригадиром. Особенно негодовал Кирюшкин, бывший парикмахер из Москвы, хилый и довольно вздорный человек лет тридцати пяти. Я, как и все в бригаде, его недолюбливал, но тут, разобиженный, стал горячо поддерживать. Смирнов попытался нас урезонить, но мы, как говорится, завелись и отказались копать ямы без обуви. Тогда он пригрозил списать нас из бригады на трассу, на это мы сгоряча отвечали:

– Ну и списывай!

– Если так, ступайте, только увидите, там вам, дуракам, хуже будет, еще не раз пожалеете, – беззлобно ответил Смирнов, выписывая направление на лагпункт.

Мы получили сухой паек на сутки и не спеша пошли, ничуть не расстраиваясь. По дороге рассудили, что раз уж выдался такой случай, надо явиться на лагпункт к вечеру и никак не раньше. Уже больше месяца мы не знали выходных дней, а тут сам собой получился выходной, ему мы обрадовались, словно малые дети.

День выдался не по-осеннему теплый и солнечный. До этого нам не удавалось вволю поесть ягод, вблизи трассы они были уже обобраны, когда прорубали просеку и насыпали плотно дороги, а в глубь леса никто из бригады не заходил, там то и дело рыскали оперативники с собаками. Теперь, имея на руках направление и аттестат, мы решили полакомиться и понемногу отошли от трассы, не заботясь об ориентации.

Только теперь мы увидели и оценили богатства северного леса, попали на необъятные ягодники, которые как бы чередовались: то сплошь брусника – красным-красно, то черничники с черно-сизой ягодой, сочной, вкусной. Мы с удовольствием срывали ее пригоршнями, отправляли в рот. Пройдя пару километров, устроили привал, закусили хлебом и треской из сухого пайка. Впервые за долгое время мы хоть ненадолго оказались на природе не подневольными людьми, это нас одурманило. Солнце еще стояло высоко, мы брели не спеша, ягоды уже не привлекали. До вечера было еще далеко, и поначалу мы попросту тянули время, ведь до лагпункта было всего 10–12 километров ходу, не более.

Первым опомнился Кирюшкин. «А где трасса?» – спохватился он. Толкнулись туда-сюда – ничего похожего, мы

явно сбились с пути. С детства я ходил по лесам в украинском Полесье, но там это были небольшие массивы, окруженные полями, кругом были селения, и на дорогах то и дело — люди. Здесь же была глухая тайга, которая теперь казалась зловещей, хотя ее по-прежнему освещало не по-осеннему яркое солнце.

Мы растерялись, занервничали, особенно Кирюшкин, он был постарше, больше моего пробыл в лагере и яснее осознавал опасность нашего положения — в случае неявки на лагпункт нас неминуемо объявили бы в побеге, могли судить и дать новый срок — такое уже не раз случалось. Во всем он винил меня, мы и ругались и мирились, спорили, правильно ли идем, немало времени потратили, стараясь выбраться. Все-таки нам повезло — к вечеру, когда уже начинало темнеть, мы почувляли запах дыма и, ускорив шаг, с облегчением увидели просвет — это открылась просека, впереди виднелись палатки, люди брели от кухни с котелками. От первых встречных мы узнали, где найти начальство, сдали аттестаты и получили направление в бригаду. Усталые и голодные, мы улеглись на отведенные нам места и сразу же уснули как убитые на жестких нарах.

Наутро нас подняли и после скудного завтрака — половника жидкой кашицы — погнали на построение. Было еще совсем темно, но даже в темноте заметно было, что люди в бригадах выглядят изнуренными, обмундирование на всех изношено до предела. Всех нас построили побригадно, и начался ритуал, который я, до сей поры работавший на отшибе, лишь иногда наблюдал со стороны. Из группы начальства вышел одетый в «вольное» воспитатель и с отработанной ораторской интонацией начал вещать о воспитании трудом, искуплении вины честной работой, о лагерной дисциплине. Слушали всю эту галиматью в утрюмом молчании. Когда он, наконец, кончил, заиграл хилый духовой оркестр — несколько музыкантов в таких же видавших виды телогрейках, какие были на нас.

После переключки, разобрав заранее сложенные в кучу лопаты, все по команде двинулись строем к месту работы. Было еще темно, мы брели, то и дело спотыкаясь о затвердевшие комья земли, замыкали колонну музыканты, сменившие инструменты на лопаты.

Добравшись до места, приступили к работе: копали землю, грузили ее на тачки и по трапам вывозили на трассу, там уже

другие люди выравнивали ее, укладывая полотно дороги. Нас с Кирюхиным определили в тачечники, работа была лошадиная, мы с трудом втаскивали тяжело нагруженные тачки по скользким трапам. Бригада Подкопаева, куда мы попали, считалась одной из самых захудалых, и нравы в ней царили жесткие. Бригадир из проворовавшихся осоавиахимовских начальников, сухощавый, с командными интонациями в голосе, был в бригаде царем и богом. Он окружил себя компанией подручных, из которых самым приближенным был коренастый красномордый татарин Хайрулин, осужденный за хищения торговый работник.

Подкопаев и Хайрулин сами не работали, непрерывно по-нукая остальных. Наряды за работу Подкопаев закрывал произвольно, отписывая выработку на тех, кто перед ним лебезил. Бригада заданий не выполняла, более половины оставалось на 600 граммах хлеба без дополнительной порции каши, которую днем вместе с хлебом привозили на трассу. Избранные из окружения бригадира эту кашу получали, голодные смотрели им в рот — это входило в воспитательную систему. Работали по 12 часов ежедневно, без выходных. Не раз и не два пришлось пожалеть о бригаде Смирнова, вспомнить разумные слова, сказанные перед уходом. Здесь и старание было бесполезно, как ни рвись, больше шестисот грамм не получишь, только страх быть обвиненным в саботаже да свирепый рев бригадира заставляли кое-как ковыряться. С работы возвращались уже в темноте, колонну сопровождал конвой. Добравшись до лагпункта, получали половник каши на ужин (обед привозили на трассу). Проглотив свою порцию, сразу как были в одежде и обуви заваливались спать на жесткие нары — постелей нам не полагалось.

Истинным наказанием были вши. В баню не водили, ее в лагпункте не было, и паразиты буквально загрызали. Иногда по вечерам кое-кто пытался их истреблять, прожаривая нижнее белье над печью — огромной раскаленной докрасна бочкой, уложенной на песчаную подушку. Занятие это требовало известной сноровки, чтобы не спалить белье. Впрочем, толку от него было мало — паразиты тут же переползали от соседей.

С первого же дня мы с Кирюшкиным попали в разряд не выполняющих нормы. Такие в бригаде составляли большинство, почти все с этим смирились. Среди забитых и бессловесных бригадников заметно выделялся высокий худой зек с копной

кудрявых каштанового цвета волос и небольшими усиками. Немногословный, он на постоянные придирики Подкопаева отвечал короткими репликами, полными ненависти. Слегка вздернутый нос придавал его физиономии, заросшей короткой щетиной почти до глаз, задорное выражение. Рядом с ним постоянно держался бледный паренек; невысокий, длиннолицый, он с трудом управлялся с тяжелой тачкой. Я заметил, что эти двое всегда стараются подгадать к трапу в одно время, чтобы с помощью деревянного крюка, которым подцепляют тачку за передок, помочь друг другу при подъеме.

В лагере среди множества людей почти каждый стремится выискать близких себе по характеру, наклонностям, часто такое притяжение бывает взаимным. Так получилось и у меня с этими двоими — в обед, когда нам раздали еду и пайки хлеба, мы устроились рядом и разговорились. Темноволосый Костя Григорашвили оказался бывшим моряком торгового флота, осужденным по 58-й статье, его друг Володя Земницкий до ареста тоже работал в торговом флоте, только не моряком, а экспедитором. В лагерь Володя попал за провоз из-за границы какой-то мелочи, признанной контрабандой. Коренной ленинградец из интеллигентной семьи, он был тихим, немногословным. С ним я сразу сошелся, и мы стали держаться вместе.

Самым энергичным и опытным из нас был Костя, старший по возрасту, он и стал вожаком нашей тройки. Это был человек прямой и резкий, совершенно неспособный мириться с несправедливостью, хитрить и приспособливаться. Именно за это возненавидел его Подкопаев, свою ненависть он перенес и на нас с Володей — всех троих он неизменно держал на 600 граммах. Костя вырос на Сахалине, куда еще до революции был сослан его отец, поэтому говорил без малейшего акцента. Хотя он никогда не бывал в Грузии, гордое сознание своей принадлежности к грузинскому народу было воспитано в нем с детских лет.

Работа на тачках при постоянном недоедании постепенно изматывала, с каждым днем становилось все холоднее, все тяжелее было в крошечной тьме тащиться на работу и с работы по заболоченной местности, то проваливаясь в чуть затянутые ледком ямы с водой, то запинаясь о смерзшиеся комья земли. Даже крепкий жилистый Костя заметно сдал, лицо его, немумьтое, как и у всех нас, казалось, обтянуло кожей, глаза, хоть

и по-прежнему яркие, глубоко запали. У Володи лицо было мертвенно-серым; каким уж был я сам, не знаю, в зеркала мы не смотрелись, — наверное, не лучше их.

Самое страшное — у меня начали опухать ноги, они с трудом влезали в тяжелые, сваренные из обрезков автомобильных покрышек «комбинированные» ботинки, негласно именуемые здесь «сталинскими кандалами». Постепенно на ногах образовались незаживающие язвы, каждый шаг, особенно на трапе с тачкой, отдавался мучительной острой болью...

Часто, с трудом передвигаясь по заболоченной низине, где пролежала трасса, я вспоминал песню гитлеровских концлагерей «Болотные солдаты». Ее в пересыльной камере Бутырской тюрьмы пели трое молодых немецких коммунистов: «Wir sind die Moorsoldaten und gehen mit den Spaten ins Moor, ins Moor, ins Moor...» (Мы болотные солдаты, идем, несем лопаты, в болота, в болота). Пели они очень слаженно, последние слова «ins Moor, ins Moor» — с постепенным затуханием звука, точно болото их засасывало.

Вот так и мы шагали на работу в предутренней тьме, терзаемые голодом, ко всему безразличные — истинные болотные солдаты...

Однажды по лагпункту разнеслась весть, что на участок к нам для ускорения работ прибывает отряд рекордистов. Об этом отряде мы были слышаны давно, слава о нем гремела по всей трассе. Отряд был любимым детищем лагерной администрации, и льготы ему давались немалые. Состоял он сплошь из уголовников, ни один политический туда не допускался. В отличие от нас, спавших на голых нарах из жердей, не помышлявших ни о постельном белье, ни о бане, рекордисты жили в отдельной утепленной палатке, получали усиленное питание. За перевыполнение задания им шли зачеты, существенно сокращавшие сроки, — нам это не полагалось: раз 58-я — сиди «от звонка до звонка».

Вскоре рекордисты прибыли, их поставили на участок трассы рядом с нашей бригадой. Это были крепкие молодые парни, одетые не в пример нам в обмундирование первого срока, обутые в добротную обувь. Они не были отпетыми рецидивистами, те в лагере вообще не работали. Рекордисты работали тяжело из-за льгот и прежде всего из-за зачетов, работали на износ, такое

могли выдержать лишь люди исключительно крепкие и выносливые. Начальство всячески поддерживало отряд, бросая на помощь подсобников из других бригад — вся выработка при этом приписывалась рекордистам. Это была постоянная практика.

В первый же день нарядчик приказал Подкопаеву передать в распоряжение отряда плотников для устройства трапов, да еще отдать туда троих на работу крючниками. Бригадиру это было не выгодно, но спорить не приходилось. Подкопаев послал Костю, Володю и меня с расчетом подставить нас на убой — по всей трассе ходили слухи о непосильной работе у рекордистов, а еще больше — о расправах с не угодившими им подсобниками.

Работа и впрямь оказалась тяжелой. В отличие от обычных бригад, где истощенные люди не нагружали тачки до предела, рекордисты в погоне за выработкой загружали их до краев, а у некоторых, наиболее рьяных, тачки были сделаны увеличенного объема на заказ. Поднять такую махину по наклонному трапу было не под силу даже самому сильному человеку, вот и ставили у трапов подсобников — крючочников. Их дело было подцеплять груженую тачку за передок и совместно с тачечником втаскивать по трапу на насыпь. Трапы были покрыты землей, просыпанной с тачек, ноги по этой земле то и дело скользили, напрягаться приходилось изо всех сил. Тачки шли одна за другой, это был какой-то кошмар — едва отдышавшись после подъема, приходилось сбегать вниз по трапу, чтобы подхватить следующую тачку, и так весь день.

Но даже не постоянное напряжение было самым страшным на этой нечеловеческой, прямо лошадиной работе. Среди тачечников были и такие, кто всю тяжесть норовил переложить на крючочника, лишь удерживая тачку в равновесии. Если крючочник, по мнению такого «партнера», тащил тачку вполсилы, следовала расправа — добравшись до конца подъема, тачечник ударом сбивал его с трапа в траншею, зачастую наполненную ледяной водой.

Чаше других такое проделывал самый прославленный из рекордистов, невысокий коренастый эстонец Уйба. Медлительный, белобрысый, с длинным лошадиным лицом, он работал с огромной заказной тачкой, самой большой в отряде; не спеша шагая по трапу на коротких, слегка кривоватых

ногах, Уйба, ступив на трап, с первых же шагов как бы повисал, перелagая весь груз на крючочника. Если он решал, что тот плохо помогал, то молча одним ударом сбивал с трапа. Этот удар обычно наносился по голове неожиданно и коварно. Мне такое довелось испытать только один раз, я слетел с трапа настолько оглушенным, что не сразу пришел в себя.

Уйбу в отряде не любили, расправ не одобряли, подчас одергивали, но привычек своих он не менял, был всегда невозмутим до бесчувствия. На наше счастье, таких в отряде было немного, Уйба, пожалуй, был в своем роде единственным. Еще двое-трое, всплыв, могли иногда дать волю рукам, но эти действовали сгоряча, без холодной, обдуманной злобы, которая отличала Уйбу — рекордиста номер один.

В первый день работы с рекордистами нам пришлось нелегко, но постепенно мы приспособились и дело пошло на лад. Днем, когда на трассу привезли обед и хлеб, они позвали нас и накормили досыта. А в конце дня несколько человек подошли к своему бригадиру и сказали, чтобы на следующие дни он забирал в отряд именно нас.

Дальше так и повелось — ежедневно, с развода мы втроем уходили к рекордистам и с ними работали. Труд был нелегким, но зато хлеб и приварок мы получали по полной норме, да и в отряде нас старались поддержать, подкармливали из своего котла — в питании их не ограничивали. Постепенно среди отрядников мы стали замечать людей, которые нам сочувствовали, иногда бросали краткие слова одобрения или принимали на себя тяжесть тачки на подъеме, когда это было нам не под силу.

Постоянно работая с этими людьми, мы невольно вглядывались в их взаимоотношения. Многое здесь было иным, чем в нашей бригаде. Бригадир отряда, черноволосый великан по прозвищу Большой Иван, особой властью не пользовался, ни на кого не давил, хотя его явно уважали. Его дело было организовать работу, обеспечить отряд удобным жильем, питанием, одеждой, отстаивать интересы работников перед начальством — с этим он справлялся как нельзя лучше. Но ему и в голову не приходило кого-либо из отряда муштровать или мытарить — такое здесь просто не прошло бы. Присмотревшись к нравам, царившим в бригаде Подкопаева, рекордисты в разговорах с нами не раз

удивлялись, как мы такое терпим. Между собою они не дружили, но и не ссорились, каждый жил и работал в одиночку, рвались, не щадя себя, с единственной целью — заработать зачеты.

Наше относительное процветание на работе у рекордистов злило Подкопаева — мы, отщепенцы, парии бригады, на виду у всех получали полный паек, а выработка в его бригаде снижалась. Мы знали, что Хайрулин подстрекает бригадира не отпускать нас к рекордистам. Однажды Подкопаев попробовал это сделать, но в то же утро по жалобе Большого Ивана получил нагоняй от начальства и вынужден был отступить.

Мы не сомневались, что при удобном случае он на нас отыграется. Вскоре такая возможность ему представилась: рекордистов перебросили на следующий участок трассы, а нас вернули в бригаду.

Снова Подкопаев прочно определил нас в разряд не выполняющих норму на те же 600 граммов. Подходил к концу октябрь, становилось все холоднее, силы наши были на исходе. Костя, хотя и сильно исхудал, но все еще держался, более слабые, такие как я и Володя, бродили подобно теням. Особенно сдал Кирюшкин, иногда мы замечали его у помойки, где он пытался отыскать хоть что-нибудь съедобное. Костя фыркал, ругал его, называл шакалом, но таких становилось все больше.

По утрам до развода заболевшие обращались в медпункт, надеясь получить освобождение от работы. Большинство жаловались на понос. Таких лекпом уводил за палатки и, не веря на слово, предлагал доказать делом, рассадив их по кругу. Люди старались, тужились, но, как правило, попусту: лекпом, осмотрев результаты этих трудов, неизменно изрекал:

— Ерунда! Не кровавый! На работу, вот будет кровавый — освобожу!

Несмотря на строгие запреты и угрозы начальства, истощенные люди разжигали костры и грудились у огня, пытаясь отогреться. Костры эти начальники затаптывали, но их тут же разжигали вновь — это была форма сопротивления, порожденная отчаянием.

Между тем стройка все же продвигалась и в начале ноября насыпь достигла места стыка с соседним участком. По окончании рабочего дня нас погрузили на открытые машины и перебросили на другой участок. Кое-как разместившись на ночлег

в палатке, мы на следующее утро вышли на новое место работы. Пока плотники устраивали трапы, остальные развели костер и сгрудились вокруг него.

На соседнем участке уже полным ходом шла работа, мы увидели знакомые фигуры, здесь расположился отряд рекордистов. Костя, заядлый курильщик, долгие дни терзавшийся без курева, решил разжиться у них махорочкой. Вскоре он возвратился с двумя парнями из отряда.

– Здорово, крючочники! Айда к нам!

Мы заколебались:

– Нельзя, бригадир не пустит!

– А ну его на... Чего боитесь! Иван вот-вот подойдет и все у начальства устроит!

Так надоело нам голодать и терпеть произвол Подкопаева, что опасения отступили на задний план. Первым, как всегда, решился Костя, и не только за себя, а за всех троих:

– А правда, что терять! Пошли! – И он решительно двинулся к соседям. Мы – за ним.

У трапа нас встретили старые знакомые:

– А, большой крючочник! – Это Косте. – Давайте к нам! Что это вы так дошли! Совсем еле ползете... Ничего, днем обед подвезут, накормим. Становитесь, работайте. Здесь с нами не пропадете!

Чувствовалось, что нам рады, кто-то похлопывал по плечу, спрашивали, как жилось, узнав, что все это время сидели на штрафном пайке, материли Подкопаева.

Впрочем, разговоры длились недолго, они взялись за работу и мы с ними – здесь все получалось само собой без понуканий. Нелегко нам было втаскивать тяжеленные тачки, за эти недели мы ослабели от бескормицы, но рекордисты неожиданно для нас оберегали, страховали, даже у обычно необщительного Уйбы на лице проступило подобие ухмылки, и он никого не пытался обидеть.

В разгар работы с насыпи послышался раздраженный окрик: это Подкопаев, узнав, что мы ушли, явился, чтобы вернуть нас в бригаду. Он матерился, угрожал всяческими карами. И тут на него набросились рекордисты:

– Ты, гад, людей совсем заморил. Мотай отсюда, сука, пока цел, иначе с трапа слетишь!

Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Большой Иван, прибежавший на крик. Он унял своих, отвел Подкопаева в сторону и после краткого разговора с ним бросил:

– Оставайтесь, работайте!

Так мы снова на время освободились от Подкопаева и остались у рекордистов. Но я был уже настолько истощен, что выдерживать их темп работы с каждым днем становилось все труднее. И таких как я было много; по сути, работать эти люди, «доходяги», или как их еще именовали «огоньки», уже не могли. Но по-прежнему никого от работы не освобождали, всех выгоняли на трассу и держали там дотемна. Совсем уже ослабевших куда-то увозили малыми группами.

По трассе ходили слухи о том, что создаются специальные инвалидные лагпункты – многие мечтали туда попасть. Под конец я так сдал, что даже до карьера не мог добрести. Вместе с Володей и другими такими же доходягами меня определили на подсобные работы – заготавливать сушняк для отопления палаток. Костя еще кое-как держался на трассе.

Наконец меня и еще пятерых таких же вечером после работы под конвоем на открытой дрезине повезли по трассе. По дороге на каком-то лагпункте к нам присоединили незнакомого человека, который, постанывая, с трудом взобрался на огражденную железными поручнями площадку. Его, заподозренного в попытке бежать, жестоко истуксала науськанная оперативниками овчарка.

Дрезина, набрав скорость, мчалась по рельсам, в темноте по обе стороны дороги мелькали силуэты высоких елей, плотной стеной обложивших дорогу. Ветер свистел в ушах, тело сжималось от пронизывающего холода. Стоя на узкой площадке, я окоченевшими в драных брезентовых рукавицах руками цеплялся за холодные металлические поручни. Казалось, что вот-вот я не выдержу и сорвусь вниз, в глухую темень на смерзшуюся землю – и конец. Дрезина мчалась по трассе, которую мы строили всю осень. Стук колес, свист ветра и стоны искусанного человека – все вместе сливалось в мрачную зловещую симфонию. Позади оставался первый этап моего жития на Севере. Было это 22 ноября 37-го года, в день моего рождения. Впереди маячила неизвестность – предстояло еще многое-многое.

КНЯЖ-ПОГОСТ

Удивительно красивы старинные названия наших городов и селений. Поражаешься, насколько безупречным вкусом в этом отношении обладали люди древней Руси. Этот дар мы, похоже, начисто утратили — стоит только вспомнить многочисленные города и поселки, возникшие и возникающие на нашем веку, все эти Железнодорожные, Солнечные, Лучистые, Светлогорски и Лесосибирски.

Но при всей моей любви к старинным названиям, одно из них я неизменно вспоминаю с тяжелым чувством — Княж-Погост. Из всех трудных дней, выпавших на мою долю, пожалуй, самые мучительные пришлось на пребывание мое в этой малозаметной точке земли. На карте республики Коми в атласе СССР я этот поселок не нашел. Впрочем, если уж быть точным, в поселке-то я и не был. Был лишь на лагпункте с тем же названием, да и не на самом лагпункте, а в штрафном изоляторе — унылом бараке, обнесенном оградой из колючей проволоки с вышками для охраны по углам.

Привезли меня туда со строительства железной дороги Усть-Вым — Чибью, первой очереди дороги на Воркуту. К этому времени я уже был типичным доходягой — так здесь именовались вконец истощенные, обессиленные люди. Впрочем, бытовало еще не менее выразительное название «огоньки» — жизнь в таких людях едва теплилась. Еще были термины «дойти до счастливой жизни», «дойти до социализма». «Доходяга» — только производное от них. Поистине велик и могуч русский язык!

«До счастливой жизни» я дошел за неполных три месяца на земляных работах. Работали по 12–14 часов в день без выходных, без бани, впроголодь. Большинство лагерников не выполняли установленную норму выработки и наказывались

за это 600-граммовой «пайкой» хлеба. Но и килограмм хлеба, полагавшийся за выполнение нормы, при скудном приварке не компенсировал затраченных на работу сил — истощение было общим уделом. Особенно тяжело стало поздней осенью: наступили холода, одежда и обувь изнашивались, новой не выдавали.

Люди не в состоянии были работать, никакие понукания уже не действовали на замерзавших на трассе доходяг. Самая напряженная обстановка создавалась в те дни, когда в сопровождении многочисленной свиты на трассе появлялся низкорослый красномордый человечек в кепке и короткой куртке из черной кожи — начальник Ухтпечлага Мороз. Тогда все начальство носилось как угорелое, не давая ни минуты покоя. Был еще заместитель Мороза по спецчасти Черноиванов, его мне видеть не довелось, по рассказам он был еще хуже, безжалостнее. Впоследствии оба плохо кончили — внезапно их увезли и, по слухам, расстреляли.

Так мы и жили, постепенно слабея. Правда, ходили слухи о создаваемых лагпунктах для обессилевших — слабосилках, слабкомандах. Попасть туда мечтали многие, но увозили редко, и то совершенно безнадежных. Так, наконец, увезли и меня. Увозили на открытой дрезине поздно вечером в лютый холод, пронизывало до костей так, что не надеялся, что живым доеду. Довезли, однако, хоть не живыми — полуживыми.

Вместо ожидаемой слабкоманды нас троих отвели в отдельный барак, оказавшийся штрафным изолятором при лагпункте Княж-Погост. На весь барак была лишь одна печка-бочка. Около нее теснился народ — сплошь уголовная братия. Едва только конвоир ушел, нас обыскали, но взять с нас было нечего, только «комбинированную» обувь, сваренную из обрезков автомобильных скатов, содрали с ног и швырнули в печь — она так и загудела. Тут же нас пинками загнали в дальний угол барака, куда тепло не доходило. На стенах и нарах блестела снежная пыль. «Лежите здесь, змеи!»

Тяжело нам пришлось. Правил в бараке пахан — немолодой уже, тощий, с выбитыми зубами. Он и его ближайшее окружение занимали самые теплые места у печи. Приносимую с лагпункта в бачках пищу они делили сами, захватывая что получше, нам же доставались подонки, а подчас и вовсе ничего, вплоть до удара черпаком по голове взамен еды. Хлеба полагалось по 400 грамм.

Для раздачи его всех выводили из барака, выстраивали в шеренгу и выдавали по списку. Пока последний не получил свою пайку, все остальные должны были ожидать на морозе, многие, у кого сожгли обувь, — босиком. Полученный хлеб мы спешили съесть до того, как нас пустят в барак, иначе могли отнять «сынки», или «малолетки», которых главари держали в черном теле, избивая за малейшую провинность.

С одним из прибывших вместе со мною молодым парнишкой из бытовиков, но вполне мирным, мы забивались в свой промерзший угол и лежали, переговариваясь шепотом. Но и здесь нам не было покоя. По ночам, а то и днем предприимчивые малолетки шарили по углам, выискивая, чем бы поживиться, иногда мы слышали, как они кого-то душат, обыскивают.

Не думаю, что я, порядком надорванный и истощенный, смог бы долго выдержать такую жизнь. По ночам одолевали мучительные сны, вернее, голодные галлюцинации — все про еду. Как-то вспомнилось, что я когда-то, еще мальчишкой, бросил матери, заставлявшей есть нелюбимую яичницу-глазунью: «Что ты кормишь меня такой дрянью!» — и я подумал: «Вот тебе наказание за такие неблагодарные слова! И поделом!» Неужели это я когда-то слушал концерты, восхищался живописью в музеях, читал запоем? А теперь? Не человек — желудок, на ногах ходящий, и только!

Захотелось хоть как-то отвлечься, не думать об этой еде проклятой, которой все равно не будет. И я принялся пересказывать своему товарищу повесть Конан-Дойла из цикла о Шерлоке Холмсе «Мормоны в Лондоне». Повесть эта довольно длинная, помнил я ее хорошо и пересказывал обстоятельно — спешить было некуда. И надо же было такому случиться, что эта конан-дойлевская повесть, эти страсти-мордасти, круто изменила мое положение в бараке! Как знать, быть может, я и выжил только благодаря ей.

В то время как я рассказывал, а мой товарищ слушал, в нашем углу, незамеченный нами, лежал молодой парень из мелких уголовников. В тот день за какую-то провинность он был побит и изгнан из райских мест у печи. Обиженный, он залег в углу и слышал наши разговоры. К вечеру, уже помилованный, он сказал пахану, что, дескать, там, в углу, какой-то чмырь интересную историю рассказывал.

Меня извлекли из угла. Пахан спросил:

– Что ты там такое рассказывал?

Я ответил.

– Расскажи и нам.

– Что ж, можно.

Усадили меня у жаркой печи, и я начал рассказ. Вряд ли Конан-Дойл когда-либо имел более внимательных слушателей – прямо дыхание затаили, никаких комментариев, все в слух обратились, за живое взяло.

Повесть, повторяю, длинная, за один раз не расскажешь – пришлось прерываться, отдыхать. Больше всех увлекла повесть пахана; уже немолодой, желчный, изможденный в тюрьмах и лагерях человек слушал ее как мальчишка. Тут же он отвел мне чуть ли не лучшее место у печки, потом по моей просьбе определил на теплое место и моего товарища.

Когда повесть была пересказана полностью, первый вопрос был: «А еще что-нибудь такое помнишь?» Пришлось вспоминать, опять слушали увлеченно. Теперь нас уже никто не обижал, не обделяли и едой, хотя по-прежнему приходилось страдать от холода, стоя босиком при раздаче хлеба.

В то время случилась забавная и очень характерная история. По Союзу проходила перепись населения. Какие бы мы ни были, дошло дело и до нас. В один прекрасный день к нам в барак в сопровождении охранников пожаловал переписчик. На дворе погода стояла холодная, поэтому на нем был добротный, еще новый овчинный тулуп. Охранники принесли в барак стул, на нем переписчик и устроился на самом теплом месте у стола, рядом с жарко натопленной печкой.

Нас вызывали по списку, и переписчик, опрашивая каждого, записывал наши данные. Вскоре у печки ему стало жарко, тулуп пришлось снять и положить рядом на лавку.

Все шло чинно, но, закончив свою работу и пожелав надеть тулуп, переписчик обнаружил, что он исчез. Бросились искать, устроили форменный обыск, тщательно обшарили все уголки, проверили на нарах и под нарами – напрасно. Между тем ясно было, что из барака, обнесенного колючей проволокой и охраняемого стрелками на вышках, вынести тулуп не могли. Урки хитренько улыбались, но молчали. Выручил комендант, человек опытный. Он обратил внимание на двух дневальных, тащив-

ших к выходу бачок из-под каши. Открыв крышку, обнаружили в бачке тулуп, правда, изрядно измазанный. Если бы не догадливость коменданта, спрятанный тулуп тут же вынесли бы из штрафного изолятора, а дальше – концов не сыщешь.

Такой там был народец. Хотя и много своеобразного довелось мне увидеть здесь, но когда меня, наконец, вызвали на этап, я вздохнул с облегчением. Много чего пришлось мне испытать и пережить в лагере за последующие четыре года, но именно штрафной изолятор на лагпункте Княж-Погост остался самым тяжелым воспоминанием моей лагерной жизни – тяжело он мне достался.

Неукротимый Чекалин

На лагпункт Чибью я попал в начале зимы тридцать восьмого года. Позади остались месяцы нечеловеческого труда на трассе железной дороги Усть-Вым – Чибью и пересыльный барак в Княж-Погосте – месяц, проведенный там, стоил всех предыдущих, и я дошел до полного истощения. Впрочем, я тогда еще не знал, что все испытанное довело меня до тяжелой болезни, туберкулеза легких – кровохарканье открылось позже, следующей весной.

После штрафного изолятора в Княж-Погосте пересыльный барак в Чибью, совершенно так же обнесенный оградой из колючей проволоки, с такими же вышками по углам, с такими же вертухаями на вышках, показался мне тихой пристанью: был он теплый, большинство людей – пятьдесят восьмая статья, лишь несколько уголовников обосновались отдельной группой на нижних нарах. Здесь они уже не правили бал, как это было в Княж-Погосте, но при каждом удобном случае старались напакостить, воруя или нападая на заведомо слабых, неспособных дать отпор.

Рядом с ними на нижних нарах оставалось свободное место, покрытое старой телогрейкой. Когда кто-либо из вновь прибывших пытался его занять, уголовники не давали: место занято, человек в шизо, голодовку держит. Соседство с урками было не из приятных, никто не спорил – место оставалось свободным, пока голодающего не выпустили из изолятора.

Произошло это дня через три. За это время я успел разузнать про голодовщика немного. Рассказывали, что это молодой парень, осужден по 58-й, очень резкий, вспыльчивый, в общении трудный, агрессивный, с замашками урки, хотя с уголовниками враждует, даже до драки доходило. Впрочем, и от политических

держится обособленно, норовит съязвить или оскорбить. Посадили его в изолятор за отказ вставать при обходе барака начальством, в ответ он объявил голодовку и держит ее.

Если в тюрьме на следствии голодовки объявляли нередко, то в лагере я до сих пор такого не встречал, поэтому внимательно всматривался, когда голодовщика наконец вернули из шизо. Угрюмо, не промолвив ни с кем ни слова, прошел он на свое место и залег на нарах. Там он и лежал, не вставая, целыми днями. Его ближайшие соседи, уголовники, держались с ним осторожно, стараясь не задевать, даже с оттенком некоторого уважения — твердость в этой среде ценится.

Что-то угрюмое и вместе с тем ершистое было в облике этого человека. Небольшого роста, очень худой, смуглый, с узкими карими глазами, он по типу напоминал марийца. Позднее я узнал, что он уроженец Рязанской области, наверное, в числе его предков были угро-финны, коренные жители рязанской Мещеры. Был он заметно истощен голодовкой, но несмотря на невзрачную внешность, чувствовалась скрытая сила, способная раскрыться внезапным взрывом.

Из барака нас никуда не выпускали, на работы не выводили. По слухам, всех собранных здесь готовили к этапу на север, чуть ли не в саму Воркуту. Люди были собраны с различных лагпунктов, друг друга знали плохо, томились неопределенностью. Я чувствовал себя отвратительно, по ночам надрывно кашлял, иногда меня знобило, бросало то в жар то в холод.

До Чибью я не получал вестей от родных, кроме двух писем. Я работал на трассе, постоянно перемещаясь с места на место, поэтому письма, и тем более посылки до меня не доходили. Из Чибью я написал очередное письмо, просил, чтобы посылка мне пока не отправляли, все равно они могут не застать меня на месте. И все же одна из посылок, отправленная на авось, дошла. Неожиданно меня вызвали ее получить. Часть продуктов оказалась разворованной — дело в лагерях обычное. То, что сохранилось, я принес в барак. Не успел присесть на свое место на нарах, как на меня напали сразу двое уголовников и стали вырывать из рук узелок с продуктами.

Я пытался сопротивляться, но силы были неравные, в отчаянье я это понимал, но обидно было отдавать этой сволочи заботливо собранное руками моей матери. Неожиданно пришла

помощь — безучастно лежавший на нарах голодовщик вскочил с места, упругим кошачьим прыжком оказался рядом со мной и тут же сцепился с грабителями. Дрался он отчаянно, напористо и зло, не произнося ни слова, на изжелта-смуглых щеках выступили красные пятна, узкие глаза горели бешеным огнем. Очевидно, урки не впервые с ним схватывались и поэтому отступили. Задышавшись, мой защитник угрюмо буркнул: «Шакалы, всегда так: чуть дашь отпор — сразу в кусты».

Так произошло мое знакомство с Семеном Чекалиным — бывшим секретарем одного из райкомов комсомола Рязанской области. После этого происшествия мы с ним сблизились, он как бы взял меня, младшего по возрасту, под свою защиту. Было ему лет двадцать пять, мне — двадцать один, остальные в бараке были много старше. Не то что мы сдружились — Семен не дружил ни с кем, это было в его характере, замкнутом, жестком и неподатливом. Не знаю, каким он был до лагеря, но думаю, прежде всего прямым, честным и очень негибким. Арест и все, что пришлось после него пережить, многое в нем перевернули.

Чекалин был человеком немногословным, и в отличие от большинства лагерников избегал воспоминаний о прошлом. Почти каждый из политических искренне считал себя попавшим в лагерь случайно, по какому-то дикому недоразумению; переживал, ломал голову над тем, как это могло произойти.

Все они до ареста были вполне преданными Советской власти людьми, ни о каком ином строе не помышляли, многие и воевали за этот строй на фронтах Гражданской войны — и вдруг такое... Из всех, кого я встретил до этого в лагере, Семен был, пожалуй, единственным твердо убежденным в том, что любой из нас попал сюда отнюдь не случайно, а вполне закономерно.

— Я, — говорил он, — не знаю подробностей твоего дела и о других тоже не знаю, да и не в этом суть. Одно знаю — идет процесс отбора и любой, кто здесь сидит, должен был быть вырублен, не потому, что враги, а по другой глубинной причине. Вдумайся основательнее, и ты поймешь, что это так.

Сталина он ненавидел с тихой неукротимой злостью и никаких иллюзий о его непричастности ко всему произволу, творившемуся в стране, не питал. Именно от него я услышал стихи, возможно даже его собственные:

Сел он и светит жопою,
А мы его солнцем зовем.

По натуре Семен был страстным, индивидуалистом до мозга костей. В лагере он выработал для себя своеобразное мировоззрение, которого держался последовательно и неуклонно. Людей, носившихся со своим долагерным прошлым, подчеркивавших на каждом шагу свои партийные заслуги, он откровенно презирал, считал их нежизненными, полностью обанкротившимися, однако никогда их не оспаривал и не задевал — слишком низко он их ставил.

— Здесь, в лагере, — говорил он мне, — перед нами поставлена задача: выжить, устоять, не дать себя сломить, а к ней мы совершенно не готовы. Необходимо усвоить жизненный опыт людей, приспособившихся к суровым лагерным условиям — уголовников, взять у них те качества, которые помогают им выжить — хватку, бескомпромиссность к начальству, сплоченность, наконец, беспощадность, иначе превратимся в быдло, в скотину безрогую. Чем раньше мы это усвоим, тем больше шанс выдержать.

Сурово осуждал он нашу всеобщую покорность, внедренный в каждого страх за собственную шкуру. Сознательно, по твердому убеждению он вел себя так, что многие из политических считали его чуть ли не уркой, хотя с этой публикой он ни на какие контакты не шел, а подчас крепко с ними схватывался. Именно поэтому Семен был единственным из политических, кого уголовники по-своему уважали.

Большую часть зимы мы провели в этапном бараке, обнесенном оградой с вышками по углам, на которых неизменно торчали вертухаи, в большинстве своем — коми, над забавным акцентом которых мы посмеивались. Двигаться почти не приходилось, только до сортира и назад, да еще раз в неделю — в баню, а так целый день в духоте, без свежего воздуха. Хотя кормили нас по лагерным меркам вполне сносно, от постоянного лежания на нарах все мы утратили естественную для любого живого существа привычку к движению, стали вялыми, какими-то одрябшими.

Это мы почувствовали в полной мере в тот морозный солнечный день, когда нас вывели из барака на этап. Когда нас, уже переодетых в только что выданное обмундирование перво-

го срока, построили в колонну, мы еще не знали, что предстоит пройти пешим ходом более четырехсот километров, да и куда нас ведут, мы тоже сперва не знали.

Перед отправлением принимавший нас конвой необычно тщательно проверял нашу экипировку; тех, кто был плохо одет или обут, тут же уводили в каптерку и переодевали во все новое. Только в пути мы узнали причину такой заботливости: незадолго до этого этап, отправленный в плохой одежде с лагпункта Велосян, целиком обморозился, многие погибли, за это начальник конвоя был наказан, вот нас теперь и собирали совсем по-иному.

Забегая вперед, скажу, что на этот раз с конвоем нам повезло — начальник оказался толковым и распорядительным, по всему пути следования подготовлены были места для ночлега. После каждых двух дней перехода устраивалась дневка — день отдыха в какой-нибудь деревне для восстановления сил. Конвойные держались по-человечески, без угроз и понуканий, к которым мы за этот год успели привыкнуть. Для нашего скарба были предназначены несколько санных упряжек, на сани усадили стариков и инвалидов.

После переключки нас построили в колонну по четыре, далее обычное предупреждение: «Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к побегу!» — и мы тронулись по тракту. Партия собралась большая, человек сто пятьдесят, из них я знал лишь немногих из нашего барака. При построении Семен оказался в другом ряду, далеко от меня, рядом шагали совсем незнакомые люди.

Тяжело дался мне первый переход — еще не прошли и десяти километров из тридцати намеченных, а я вконец обессилен, лег на снег и пытался отдышаться. И не я один был в таком состоянии — сказалось долгое сидение в бараке. Хорошо еще, что конвоиры попались спокойные, не понукали, обычно кто-нибудь из них отставал вместе с обессиленными заключенными, присаживался рядом, давал отдохнуть, затем понемногу догоняли этап.

Мне припомнился случай из совсем недавнего прошлого, когда я в составе небольшого этапа, человек на двадцать, шел по трассе и до того обессилен, что с места сдвинуться не мог, лежал на спине и глотал снег. Один из конвоиров, молодой,

чернявый, судя по выговору – воронежский или курский, начал меня погонять, требуя, чтобы я, по его выражению, кончил «придураться», вставал и шел, иначе застрелит. Встать я был не в силах, идти тем более, и он все более накалялся, тряс автоматом, страшал. Не знаю чем бы это для меня окончилось, если бы не подошел старший конвоя, спокойный, длиннолицый, судя по лычкам, из младшего комсостава. Чернявый с непонятным ожесточением твердил, что меня знает, что якобы я уже уходил в побег. Старший, однако, не придал значения его выходкам, сказал, что останется со мною сам, а ему приказал догонять этап. Оставшись со мною наедине, он спокойно сказал:

– Не обращай внимания, он всегда так... Отлежишься, пойдем помаленьку. – Он прилег на снег рядом со мною, помолчал, потом спросил: – За что это вас? Все гонят и гонят...

Я ответил:

– Да ни за что! Сами не знаем.

И мне показалось, что он мне поверил. Такие вот разные были конвоиры.

В этот раз я был еще слабее, хотя в пересыльном бараке в Чибью и удалось чуть-чуть восстановить силы. Отлежавшись, я вставал и шел дальше; на свежем воздухе дышалось легко, стояла безветренная погода, светило солнце, а главное, шагавшие рядом со мною доселе незнакомые люди своей поддержкой укрепили желание преодолеть усталость и идти «через не могу».

И все же в конце этого первого, как потом оказалось, самого трудного перехода, я уже не мог идти самостоятельно и меня тащил на себе светловолосый Алексей Тихомиров, бывший заместитель наркома земледелия Республики немцев Поволжья. Рядом с нами, в этом же ряду шел его непосредственный начальник, нарком земледелия этой республики, немолодой низкорослый немец Мерц. С Алексеем они были в самых дружеских отношениях. Добравшись до первого населенного пункта, утомленный тридцатикилометровой дорогой, я свалился и тут же уснул мертвым сном, едва смогли разбудить меня на обед.

В последующие дни я уже шел наравне со всеми, с каждым днем чувствуя себя все крепче. Конечно, переходы были нелегкими, к концу дня я уставал сильно. Останавливались в деревнях, ночуя то в избах, то в сараях, где мы зарывались в солому.

Теперь мы уже знали от конвойных, что ведут нас к Печоре на лесозаготовки.

Выбравшись на Печору, мы почувствовали простор этой северной реки. Лед был еще крепок, нас вели по реке, а по берегам виднелись необъятные леса. Иногда мы замечали на берегах нарядных тетеревов с лирообразными хвостами. Нас они нисколько не боялись, и даже выстрелы одного из конвоиров, правда, безбожно промазавшего, не смогли нарушить их спокойствия.

Запомнилось староверское село на высоком крутом берегу Печоры с почерневшими от времени рублеными «с остатком» амбарами, поднятыми над землей на мощных круглых столбах. Сюда поздним вечером, утомленных тяжелым переходом, нас привели на ночлег. Хозяев мы, считай, не увидели, они нас сторонились, как нечистых; для чужаков полагалась отдельная посуда и старинные медные умывальники с сосочками.

Постепенно я присматривался к людям, с которыми предстояло жить и работать. Среди них выделялись два друга, оба дальневосточники – так у нас именовали людей, возвратившихся из Маньчжурии, куда они эмигрировали в годы Гражданской войны. Почти все они (а возможно и все полностью) угодили на родине в лагерь. Эти двое, очевидно, попали в эмиграцию еще детьми. И по внешности, и по характеру были они совершенно разными, но всегда держались вместе.

Красивый хрупкий брюнет Сергей Сухорский подобно мне выбился из сил уже на первых километрах пути, и его товарищ, сухощавый, жилистый Викторин Васильевич Гедройц самоотверженно тащил его, подчас даже на плечах, упрямо нагибая высоколобую с заметными залысинами голову. Мы восхищались его преданностью другу и невероятной выносливостью. В то время никто из нас не мог предположить, что на лесозаготовках этот энергичный светловолосый инженер, потомок литовских князей-гедиминовичей Гедрайтисов в должности главного инженера превратится в беспощадно жестокого начальника и установит на лагпункте изматывающий потогонный режим работы. Но даже сделавшись начальником, он всячески поддерживал и оберегал своего болезненного, абсолютно неприспособленного к лагерной жизни друга.

Среди остальных заметными были кряжистый, уже немолодой бородач Кондаков, черноглазый крепыш Саша Пузарин, бывший партработник из Саратова, белокурый, ростом под два метра Виктор Кузнецов, рабочий-гобеленщик из Ленинграда. Много позже я встретился с Виктором на инвалидном пункте Адак, туда он попал с Воркуты после травмы, полученной в шахте. Эту травму его богатырский организм одолел, на Адаке Виктор работал лесорубом, а после освобождения незадолго до войны уехал на Орско-Халиловский комбинат. Это был очень порядочный, смелый и отзывчивый человек, отличный товарищ.

Постепенно продвигался наш этап по Печоре, наконец добрались мы до каменноугольного рудника Ыджит-Кырта и оттуда, не задерживаясь, до пункта назначения — лесзага Кóзла-Шор на небольшой речке Кóзле, притоке Печоры.

Условия здесь были тяжелые. Валили строевой лес, грузили его на лошадей и вывозили по лежневке. Деревья на Печоре, особенно лиственницы, были огромными, валили их обычными двуручными пилами, по пояс в снегу. Помню, какого труда стоило нам вдвоем выкатить к лежневке* и погрузить на сани громадину — лиственничную лесину длиной пять с половиной метров. В комле диаметр ее был метр сорок, в вершине более семидесяти сантиметров.

Не легче нашего приходилось на вывозе леса лошадям: в погоне за нормой многие возчики безжалостно их перегружали, в конце концов пришлось в приказном порядке ограничить норму вывозки. Но для людей нормы не снимались, и для многих, как и для меня, они были непосильны.

С каждым днем росло число доходяг, ослабевших, безучастных ко всему. В разговорах все чаще появлялся слезливый, какой-то нищенский тон, вроде обращения «братцы». Однажды взорвался Саша Пузарин.

В тот день на лагпункт пришли газеты с репортажем о папанинцах. Многие ахали, восхищались.

— Что это с нами творится? — заговорил Саша, — совсем себя уважать перестаем, как нищие на паперти, Лазаря петь начали. Тоже мне обращение, «братцы»! Надо же гордость иметь!

* *Лежневка* — временная лесовозная дорога, построенная из стволов деревьев.

Прочли газету и в восторге — герои! Да поймите, что мы здесь все не меньше герои — в таких условиях трудимся и не сдаемся.

— Так они же добровольно на это шли, — возразил кто-то.

— Ну, это не так-то просто, — отвечал Саша, — и их куда надо вызывают и обязывают, да не в этом суть, мы здесь трудности побеждаем, какие полярникам этим и во сне не снились.

В рассуждениях Пузарина, конечно, был известный переклест, он и сам, человек умный и стойкий, это отлично понимал, но стремился внушить нам всем чувство собственного достоинства, не дать сникнуть, опуститься до скотского, рабского состояния.

Семен Чекалин сразу же по прибытии на лесзаг устроился поваром на кухню. Признаться, это меня удивило — человек он был неприхотливый, еда, не в пример остальным, для него была не так и важна. Работа повара требовала немало сил, приходилось подниматься среди ночи и вертеться весь день. Мы с ним устроились на нарах рядом, но видел я его только поздно вечером, пред сном. В отличие от других, работавших при продуктах, Семен выглядел ничуть не лучше, чем в Чибью после голодовки: худой, измученный, с постоянно неумытым лицом, с лихорадочно горящими глазами, как будто его сжирал изнутри неведомый огонь. Уже пару раз он срывался в бараке по пустячным поводам, только что до драки не доходило.

Вскоре Семен открыл мне причину своего превращения в повара (готовил он, кстати, прескверно). Оказалось, еще на этапе он задумал уйти в побег, а работа на кухне позволяла запасти продукты. Здесь, считал он, наша участь одна — истощение от непосильной работы и гибель: надежды добиться пересмотра дел — никакой, терять нечего, надо решаться. Он сказал, что уже договорился идти в побег с Кондаковым и предложил уходить с ними. Я согласился — работа была сверх всяких сил, к тому же приходили все новые известия об ужесточении режима, шли разговоры о предстоящей отправке на Воркуту всех, осужденных Особым совещанием.

Кондакова мы знали мало, но он казался надежным: неторопливый, очень сильный, охотник, к тому же хвалился умением ориентироваться в тайге. Уходить порешили весной, когда стает снег, а пока готовились — откладывали продукты; тут

главная надежда была на Семена. Решили потихоньку выменять вольную одежду на продукты из посылок, которые могли прийти мне и Кондакову. Из осторожности старались на людях не держаться вместе. С нетерпением ждали весны.

И она пришла, дни заметно увеличивались, появилась первая капель, ярко светило солнце. Но работать в весеннее время, барахтаясь по пояс во влажном снегу, становилось еще труднее, чем зимой. С работы приходили насквозь промокшие, за ночь ватная одежда и особенно валенки не успевали просохнуть. К тому же на всех сказывалось неполноценное питание: многие были поражены куриной слепотой, кое-кто — и цингой. По вечерам к раздатке «слепыши» брели, цепляясь за тех, кто еще мог ориентироваться.

Я к этому времени совсем сдал, по ночам метался в ознобе, затем вдруг начинал задыхаться от жара, одолевал мучительный кашель. Однако признать, что для побега уже не хватит сил, не хватало решимости, и я крепился, скрывая свое состояние от себя самого. Одно время мне ненадолго повезло: наш лекпом Иван Дерюгин поставил меня варить хвойный настой — пришло предписание в обязательном порядке давать его всем заключенным.

Иван, молодой улыбчивый парень, отбывавший необычно малый трехлетний срок, как он объяснял, за недоносительство, был довольно слаб в медицине. Не мудрствуя лукаво, он вместе со мной собирал на лесосеках срубленные основные ветки, их мы без всякой обработки загружали в котел и варили. Вкус у нашего варева получался отвратительный, смола с веток давала сильную горечь, вероятно именно от нее кое-кого прошибал понос, но обычно добродушный Иван был беспощаден: мы с ним устраивались у раздатки и только испивший хвойный настой получал свою порцию баланды и каши. Но всему приходит конец: у Ивана окончился срок, а сменивший его лекпом Исаак Бурштейн, придя в ужас от нашего способа изготовления настоя, оставил меня от этого дела.

Пришлось снова идти в лес, а сил уже не было. Окончательно доконала меня поездка за сеном километров за десять от лагпункта. На полуживой лошаденке пришлось ехать по лесной речушке Кóзле до места, где на высоком берегу стоял еще с лета

заготовленный стожок. Таская к саням сено в пропитанных ледяной водой валенках, я продрог, а до лагпункта добрался лишь поздно вечером. Ночью у меня началось сильное кровохарканье, его с трудом остановил прибежавший в барак Бурштейн, и через пару дней меня, несмотря на ледоход, в срочном порядке на шняге* по Печоре отправили в стационар на руднике Ыджит-Кырта. Еще в первую ночь после кровохаркания я прошептал Семену, что все, не уйти мне с ним. Он это и сам понимал...

Я был очень слаб, думаю, что провожавшие меня в стационар не надеялись, что мне суждено выжить. Я простился с Семеном, и больше мы с ним не встречались. Но однажды, совершенно неожиданно и случайно, весть о нем дошла до меня, и была эта весть печальной.

Спустя много месяцев, находясь за многие сотни километров от лесзага на Кóзле, я узнал продолжение истории от человека, за какую-то провинность угодившего в штрафной изолятор на Воркуте. Там он повстречался с Семеном, сидевшим под следствием за побег.

Они ушли весной втроем, третьим был поваренок Жора, его я не знал. Очевидно, Жора этот появился на Кóзле уже после моего отъезда, и Семен уговорил его бежать. Кондаков, на которого мы с Семеном так надеялись, оказался подлецом. Он сбежал от своих товарищей по побегу ночью, когда они спали, захватив с собою все продовольствие. Семен и его спутник оказались в тайге одни без куска хлеба и вскоре были пойманы.

По словам моего случайного собеседника, и в изоляторе Семен остался прежним: мрачный и вспльчивый, он тиранил вялого Жору, чуть ли не с кулаками на него бросался. «Суший волчонок, так глазами и сверкал», — закончил он свой рассказ. За побег в это время как минимум добавляли срок, могли и вообще расправиться... До сих пор не знаю, жив ли Семен, неукротимый бунтарь, или ему не удалось выйти живым на свободу, к которой он стремился всеми силами души...

* Шняга, дощаник — у поморов и северян — плоскодонное речное судно.

Стационар Ыджит-Кырта

Странные шутки разыгрывает порою с нами память: некоторые впечатления врезаются в нее на всю оставшуюся жизнь, другие, тогда же пережитые, исчезают, как будто начисто смытые, и сколько ни стараешься воскресить — все напрасно. Вот так я не могу восстановить зрительно, каков был лагпункт Ыджит-Кырта, что на правом берегу Печоры. Помню только яркий солнечный день, широкий простор реки с проплывающими по ней побуревшими от таяния льдинами, себя, беспомощно распростертого на дне шняги — огромного дощаника. А вот как выглядел сам лагпункт, запомнить не пришлось ни в этот весенний день, ни в день отъезда отсюда, когда в этих местах солнце светит почти круглые сутки. Зато жизнь в стационаре запомнилась до мельчайших подробностей.

После непосильной работы на лесозаготовках, где я давно позабыл, как спят на мягкой постели, а умывался лишь для виду проводя по лицу ладонями, смоченными водой из соска подвесного умывальника, обстановка в стационаре подействовала на меня расслабляюще. Еще бы — здесь была постель с чистым бельем и умывальная, где можно было вдосталь пользоваться чистой водой из крана. Смыв в теплой ванне всю наросшую грязь, одетый в чистое, хотя и поношенное и неподходящее по росту белье, я с трудом дотащился до отведенной мне в больничной палате кровати. Настоящей кровати я почти год не знал — спать приходилось на жестких нарах не раздеваясь, в верхней одежде. Так непривычно и приятно было растянуться всем непослушно-скованным телом на простыне и ошутить под головой набитую пером подушку, что я и не подумал присмотреться к соседям по палате, и тут же заснул. Сквозь сон

я чувствовал, как меня тормозили, после безуспешных попыток разбудить совали под мышку градусник, спустя некоторое время вынимали — я не просыпался... Измученное тело требовало отдыха, покоилось в непривычно мягкой и чистой постели, словно на королевском ложе, а ведь это была всего только больничная койка в маленьком лагерном стационаре.

Так прошли мои первые дни в палате: я спал по восемнадцать часов в сутки, просыпался только когда будили, а именно при раздаче завтрака, обеда, ужина, для измерения температуры утром и вечером, еще при обходе врача и приеме лекарств. Разбуженный, я вяло и неохотно выполнял все эти процедуры и тут же засыпал, как будто проваливался в сон до очередной побудки. Единственное, что доставляло удовольствие, это умывание. В первый день мне принесли таз с водою в постель: после кровохаркания, случившегося на лагпункте два дня назад, врач предписал полный покой. Но уже к вечеру того же дня я сам нетвердыми шагами прибрел в умывальную и, дорвавшись до воды, долго и старательно умывался, не в силах оторваться от чистой, освежающей лицо и шею струи.

Через некоторое время, когда к вечеру у меня резко повышалась температура, вялость стала сменяться лихорадочным оживлением и я начинал вслушиваться в разговоры соседей по палате. Постепенно завязалось знакомство, сначала с ближайшим соседом, затем и с остальными. Стационар был маленький, всего на три палаты, две мужские и женская. Сначала я мог общаться с людьми только по вечерам, а днем продолжалось то же состояние сонного безразличия.

Однако молодость брала свое, да и обстановка была самая благоприятная — я оживал с каждым днем и все больше общался с местными обитателями. Ближайшим соседом, с которым мы делили больничную тумбочку, оказался коротко остриженный, с длинной ухоженной бородой армянин Вачо Шах-Азизян. По первому впечатлению он показался мне суровым и сосредоточенным, возможно из-за своей внушительной бороды и привычки перебирать повешенные на шею крупные четки — с ними Вачо не расставался. Еще удивила и насторожила небольшая фотография на тумбочке, прислоненная к графину с водой. На ней были изображены члены политбюро во главе со Сталиным: старые, уже мне известные и вновь испеченные, среди них

Маленков. «Не иначе как лагерный патриот», — с чувством неприязни подумал я, глядя на бородача, безмятежно перебиравшего четки. Он, очевидно, уловил мой взгляд, брошенный на фотографию, в глазах неожиданно блеснул озорной огонек и, кивая в сторону фото, он шепнул:

— Мои сынки... Я их маму...

В первые дни, когда я был очень слаб, Вачо всячески старался мне помочь, пытался расшевелить, втянуть в общий разговор. Как и большинство здешних больных, он был легочником. Спокойный, с большим чувством юмора, чуть лукавого, своеобразно-кавказского, он оказался доброжелательным и покладистым соседом. Любимым занятием Вачо было изготовление поделок из хлебного мякиша, в этом он достиг совершенства.

У большинства больных аппетит был неважный, поэтому хлеб для этих работ всегда был у него в достатке. В палате были шахматы с довольно красивыми фигурами — изделие Вачо. Теперь он трудился над новой, еще лучшей партией в подарок главному врачу Анохину, его здесь любили и ценили вполне заслуженно — именно он создал среди тяжелой лагерной обстановки тихий оазис, каким был наш стационар.

Вачо был осужден Особым совещанием как троцкист, впрочем, кого только в эти годы не зачисляли в этот разряд врагов народа. Ему было 37 лет, но из-за бороды выглядел он много старше. К нам, вернее к Вачо, часто заглядывал лежавший в соседней палате его земляк, невысокий молодой парень Батрак Татевосян, человек совершенно простой, необразованный, со своеобразной лукавинкой, любитель шуток и розыгрышей. Меня, совершенно незнакомого с языком и культурой Армении, тем более с армянскими святыми, его имя «Батрак» сперва удивило, но тут же я вспомнил армянскую фамилию Лисициан, происходящую вовсе не от русского слова «лисица», и рассудил — на первый взгляд вполне здраво — что почему бы армянам не иметь своего армянского имени «Батрак».

Но позднее я заметил, что Вачо и две армянки из женской палаты произносят это имя с оттенком нескрываемой иронии, и лишь тогда узнал от них, что настоящее имя весельчака Татевосяна совсем иное, а вот срок он получил за то, что работал батраком у троцкиста — скорее всего такого же армянского крестьянина, но позажиточнее.

Из больных нашей палаты самым интересным человеком был немолодой уже китаец Тянь-Гун-Сан. Впоследствии я встречал в лагере немало его соотечественников, все они были осуждены Особым совещанием с формулировкой ПШД — подозрение в шпионской деятельности.

В большинстве это были простые люди — земледельцы, кустари, рабочие прачечных, необразованные, но с врожденной внутренней культурой, очень трудолюбивые, удивительно деликатные и отзывчивые на доброе отношение. Из всех встреченных в лагере китайцев Тянь-Гун-Сан был как личность самым примечательным.

В лагерях он провел многие годы, в свое время побывал на самом что ни на есть крайнем севере, чуть ли не на Новой земле, работал там поваром. Он был немногословен, о себе рассказывать не любил, но когда уж рассказывал, то впечатление оставалось сильное. Очевидно, жизнь Тянь-Гун-Сана до лагеря была достаточно бурной, богатой событиями. По-русски он говорил свободно и грамматически правильно, хотя и с заметным акцентом. Посажен был по обвинению в шпионаже, но неизменно утверждал: «Хунхузом* был, шпионом никогда не был». Убежден, что он говорил чистую правду.

Из всех в стационаре он был самым тяжелым больным: высокая температура держалась постоянно, а к вечеру подсакивала до сорока градусов. Еще не старый, он был изможден до такой степени, что почти не вставал с постели. Но этот измученный человек, о котором все мы и он сам тоже знали, что болен он безнадежно и отсюда ему уже не выйти, обладал огромной силой воли, вдобавок был по-восточному самолюбив, деликатен, стыдлив. Ни за что не позволял он санитарам и медицинским сестрам, очень заботливым и предупредительным, подавать судно или утку, всегда из последних сил упрямо пробирался к уборной, шатаясь от слабости и хватаясь то за стены, то за спинки кроватей. Любую попытку хоть как-нибудь помочь Тянь-Гун-Сан отклонял вежливо, но так твердо, что никто уже не решался к нему подступить.

Однако он вовсе не был нелюдимым, с интересом вслушивался в наши разговоры, изредка высказывался сам, обычно

* Хунхузы («краснобородые») — банды китайских налётчиков на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии.

кратко, но серьезно, убедительно. Однажды кто-то из нас подробно описывал свои злключения на одном из лагпунктов, остальные слушали, слушал и Тянь-Гун-Сан. Дождавшись конца рассказа, он с какой-то глубокой болью, чуть ли не с обидой, спросил:

– Неужели ты ничего хорошего не припомнил в своей жизни, что такое рассказываешь?

Зато когда кто-нибудь из нас принимался за пересказ прочитанного еще на воле, не было в палате слушателя более внимательного и увлеченного. Тянь-Гун-Сан весь обращался в слух, его темные глаза, и без того лихорадочно яркие, были прикованы к рассказчику; если тот по какой-либо причине, чаще всего из-за приступа кашля, прерывал рассказ, китаец деликатно ожидал его возобновления, лишь иногда позволял себе какое-то междометие – своеобразную просьбу продолжать. Я заметил его особое внимание к рассказам с приключенческим сюжетом и, чтобы доставить ему удовольствие, специально для него старался припомнить что-либо из этого жанра. Однажды один из нас попытался изобразить какую-то историю в лицах, меняя голос для каждого из персонажей. Слушая, я невзначай взглянул на Тянь-Гун-Сана и был поражен – с таким радостным, по-детски непосредственным увлечением слушал незамысловатый по исполнению рассказ этот несомненно умный, много испытывавший в жизни человек.

Тянь-Гун-Сану был не чужд китайский патриотизм, высказывал он это чувство редко, но как ему было свойственно, ярко и образно. Как-то вечером во время ужина речь зашла о чае. Вечерние чаепития мы любили, по вечерам оживали и становились разговорчивее даже самые слабые и вялые. И вот кто-то похвалил удачную, по его мнению, заварку. Остальные были склонны с ним согласиться, но тут заговорил с необычной для него горячностью Тянь-Гун-Сан:

– Разве это чай? Да вы настоящего чая и не пробовали. У нас в Китае лучшие сорта чая такие, что если в крепкую заварку опустить кусок сырого мяса, через некоторое время от него ничего не останется, чай все разъест. Вот сил нет, а то, если бы из стационара выпустили, я бы такого чая, как здешний, за полчаса набрал на горке, – заключил он. И с такой силой это было высказано, что никто из слушателей не решился возражать.

Я и сейчас, через полсотни лет, хотел бы верить, что есть или, по крайней мере, когда-то был в Китае такой чай и желудки, способные его выдержать без риска для жизни.

Когда я уже немного окреп и мог передвигаться по стационару, с лагпункта Кóзла неожиданно привезли и положили в нашу палату лекпома Исаака Бурштейна, того самого, что направил меня сюда. На ладони у него образовался огромный карбункул, руку разнесло, боль была нестерпимая. В тот же день доктор Анохин сделал операцию, она прошла удачно, но некоторое время оставалось сомнение, сохранят ли подвижность пальцы: нагноение было столь сильное, что могло разесть сухожилия. К счастью, все обошлось благополучно, но в первые дни после операции мы поменялись ролями, теперь уже я ухаживал за Исааком. Здесь, в стационаре Ыджит-Кырта началась наша дружба, позднее она продолжилась на инвалидном лагпункте Адак. Там мы встретились снова, оттуда в сорок первом, еще до войны, я проводил его на волю. Затем началась война.

Угодив в лагерь по 58-й статье со второго курса Военно-медицинской академии, Исаак в начале нашего знакомства на лагпункте Кóзла-Шор был еще малоопытным юнцом, мою болезнь он поначалу просто проморгал, хотя после кровохарканья принял все меры и, несмотря на сопротивление начальства, добился немедленной госпитализации. В дальнейшем, работая с серьезными самоотверженными врачами Нейманом и Анохиным, он многому у них научился, из лагеря уезжал уже не жизнерадостный и довольно легкомысленный юнец, а знающий медик с солидным опытом работы.

Все это относится уже к более позднему периоду моей лагерной жизни, а в стационаре мы, измученные и больные, чувствовали себя как бы в тихой пристани после всех тягот, перенесенных на лагпунктах. Не скажу, что жизнь здесь протекала совсем безмятежно: тяжело было сознавать, что на воле наши близкие живут в постоянной тревоге за нас, к тому же сюда, хоть и глухо, но доходили сведения об ужесточении лагерного режима, об этапах, которые собирают и гонят один за другим на Воркуту. Все мы знали, что после выписки из стационара эта участь ожидает и нас. Но так уж устроен человек, в особенности лагерный: мы ценили выпавшую на нашу долю передышку

и не забивали свои бедные головы страхом перед будущим. Что будет, то будет.

Излюбленным местом для общения служил небольшой квадратный холл, в который выходили двери умывальной, бельевой и кабинета главного врача. В холле стоял диванчик и несколько стульев, на стене висела тарелка-репродуктор. Сюда по вечерам тянулись все больные кроме Тянь-Гун-Сана, который почти не вставал с постели. Сидели, слушали передачи, тихо беседовали; рядом в своем крошечном кабинете постоянно работал главный врач Анохин; чтобы ему не мешать, старались не шуметь. Впрочем, нередко он сам оставлял двери кабинета открытыми, видимо, ему нравилось поглядывать на наши тихие посиделки.

Всей уютной человеческой обстановкой, царившей в стационаре, мы были обязаны Ивану Александровичу Анохину. Невысокий блондин лет сорока, Анохин выглядел человеком очень скромным, даже застенчивым, говорил тихим голосом, избегал командовать и приказывать. По вечерам, когда мы собирались в холле, он бочком, с мягкой улыбкой проходил к себе в кабинет, легким наклоном головы отвечая на приветствия больных. Порядок в его небольшом стационаре поддерживался образцовый, вокруг себя Анохин собрал персонал из людей, удивительно доброжелательных, умелых и старательных.

Как и все встреченные мною в лагере врачи, доктор Анохин был из осужденных по 58-й статье. Через несколько лет я встретился с ним вновь на Адаке, там он тоже работал главным врачом, оттуда и освобожденный в начале сорок первого.

До ареста Анохин работал, если не ошибаюсь, в Архангельске. Рассказывали, что на следствии его долго мордовали, заставляя подписывать на себя всякую несусветицу. Наконец, устав сопротивляться, он якобы стал подписывать составленные следователем протоколы допроса, подпись всегда была «врач Анохин», при этом букву «ч» он писал нарочито неразборчиво. Дело передали в суд, но там он наотрез отказался от всех показаний, ибо подпись, как он объяснил судьям, означала «врал Анохин». Впрочем, это его не спасло, и свои пять лет он получил по Особому совещанию.

Около двух месяцев провел я в стационаре. Меня заботливо выхаживали, лечили. Конечно, и доктор Анохин, и Исаак

Бурштейн, да и больные тоже знали, что у меня тяжелая болезнь – туберкулез в активной форме, но ни один из них об этом не обмолвился – жалели. О своей болезни по-настоящему я узнал уже после выписки, когда на пересыльном пункте в Усть-Усе из-за обострения процесса в легких меня сняли с этапа и как активированного инвалида отправили на Адак. Впоследствии я узнал, что Анохин несколько раз отбивал меня, отказывался выписать на этап: в это время пришло указание всех осужденных Особым совещанием направлять в Воркуту. В конце концов его вынудили меня выписать: врач из заключенных здесь был бессилен. Через много лет я с благодарностью вспоминаю об этом тихом, скромном человеке – настоящем враче-подвижнике и о том островке человечности, где мы, тяжелобольные, хоть ненадолго вздохнули после лагерного кошмара.

Но не всем суждено было выжить: от Исаака я узнал, что Тянь-Гун-Сан умер тем же летом.

Начальник Раммо

В тихий июньский вечер, уже довольно поздно, когда серое небо за рекой Усой окрашивалось в удивительный, только этим местам присущий нежно-малиновый цвет, а леса, казалось, в дремоте загляделись на свое отражение в воде, я сошел с приткнувшейся к мосткам шняги.

Так вот он какой, Адак. На высоком берегу цепочкой растянулись четыре длинных, рубленых из нетолстых бревен барака — полуземлянки со входами, обращенными к реке. Дальше за ними, в глубине виднелись какие-то строения. Зоны пока еще не было, но уже торчали врытые в землю столбы, обозначающие ее границы.

В воздухе занудно-пронзительно кричали комары. Пока мы плыли по реке от пристани Адзъвавом, они не слишком докучали, здесь же их были сонмы.

Комендант провел меня в один из барачков. Войдя в полутемное, едва освещенное единственным фонарем душное помещение, где без постелей, прямо на нарах спали люди, он ткнул рукой, указав свободное место. Утомленный, я сразу уснул, но среди ночи не раз просыпался — было душно, к тому же мучил кашель, не дававший покоя уже несколько месяцев.

На Адак меня направили после того, как определили заболевание туберкулезом. Доктор Нейман, главный врач Управления, снял меня в Усть-Усе с этапа как нуждающегося в стационарном лечении.

Однако уже на следующее утро, осмотревшись, я понял, что здесь надежды вылечиться нет. Вокруг бродили люди-тени, не лучше чем я, а в здешнем стационаре, как я узнал, больные мерли как мухи, человек по десять ежедневно. Как выразился

один из моих новых знакомых, из стационара был один способ выйти — вперед ногами.

Первое утро на Адаке началось с получения завтрака — половника комбинированной каши из ячневой сечки пополам с пареной репой. Около кухни в затылок стояли люди с котелками. В этот хвост пристроился и я.

После завтрака я пошел бродить по лагпункту. Бросился в глаза вид людей — истощенных, вялых, потерявших интерес ко всему, кроме утоления голода. Кормили заключенных однообразно — щи из протухшей квашеной капусты, кашлица, кишащая червями соленая рыба.

Особенно угнетающе выглядело отхожее место: на помосте, огражденном невысоким плетешком, сидели одновременно человек десять, большинство с неукротимым поносом, следствием пеллагры. «Идиллическую» эту картину дополняли безбоязненно сновавшие тут же по помосту изящные сероголубые, с черной шапочкой птички — трясогузки, с увлечением охотившиеся за кишевшей в воздухе мошкаррой.

Осмотрел я и окрестности: высоко спиленные пни, груды сухих веток после лесоповала. На горке — немалое кладбище, на могилах вместо памятников — колышки с приколоченной фанеркой. Имя, отчество, фамилия, дата смерти. Все.

История лагпункта вкратце была такова. Когда во всех подразделениях лагеря от непосильного труда, голода и холода набрались сотни доходяг, их решили сосредоточить в одном месте.

Ранней осенью первых поселенцев высадили на берегу Усы, дали в руки топоры, пилы, лопаты — стройтесь и живите. Сначала жили в палатках, постепенно обстроились. Вместо хлеба пекли лепешки на стенках котлов. К моему приезду уже были и баня, и пекарня. Но люди были слабые, смертность большая. Уже никто не помнил бедолагу, умершего первым, знали лишь фамилию — Буклов. Бытовало выражение «попасть на горку» или «в бригаду Буклова», что значило — умереть. Бригада эта пополнялась быстрыми темпами.

Посещение медпункта окончательно обрисовало мне здешние порядки. Главный врач из заключенных, молодой, упитанный человек по фамилии Лев, поражал полным равнодушием к больным, прикрытым игриво-оптимистическим тоном. Одет

он был во все гражданское, фигурой и даже лицом напоминал Наполеона.

Я уже успел узнать, что Лев окружил себя целым гаремом фавориток. Им доставалась львиная доля продуктов, предназначенных для дополнительного питания больных.

Начальник лагпункта был вольный по фамилии Шабров, еще не старый, высокого роста, слегка сутулившийся. Его благообразное, но маловыразительное лицо не казалось злым, а скорее отрешенным. Был он бледен, неразговорчив, никогда не улыбался. С заключенными почти не вступал в контакты, ни на кого не кричал и ни во что не вмешивался.

Всей жизнью на лагпункте заправлял начальник УРЧ (учетно-распределительной части), заключенный-бытовик Шемякин. Этот также большими заботами себя не утруждал, но власть держал в руках уверенно. В каптерке у продуктов обосновалась мафия из бытовиков, своего рода саранча, пожиравшая все что можно.

Такое положение в лагерях было не в диковинку и объяснялось в общем просто. Среди «вольного» начальства на краю земли, каким был Воркутлаг, попадалось немало неудачников, сосланных сюда на положение вольных людей за действительные или мнимые упущения по службе или за прямые пороки, из которых самым распространенным было пьянство.

Из этого сорта людей был и Шабров. До Севера он работал в Ленинграде начальником одного из отделений милиции. Не знаю, каким он был в то время, какова была у него семья, но вот в конце 1934 года над ним разразилась гроза.

После убийства Кирова вместе с тысячами людей, которых бросили в тюрьмы по указу от 1 декабря об антисоветском терроре, в небрежности и отсутствии бдительности была обвинена ленинградская милиция. Многие ее работники были наказаны — их перебросили на Север в лагеря на должности начальников. Среди них был Шабров. Возможно, тогда-то он и запил.

На Адаке у него была жена из коми, маленькая, очень недурная собой женщина, чем-то напоминавшая куропатку. Она, почти не скрываясь, жила с Шемякиным, да еще, по слухам, не с ним одним. Шабров пил и на людях почти не показывался, всем на лагпункте распоряжался Шемякин, его признанный заместитель по службе и в семье.

Случалось, что в промежутке между запоями у мужа раскрывались глаза, и тогда мы становились свидетелями забавных семейных сцен. Бледный, с топором в руке, мимо бараков молча мчался Шабров, а впереди мелкой, но спорой трусцой, виляя из стороны в сторону, куропаткой убегала жена. При этом она скороговоркой, с характерной для коми растяжкой последних слогов выкрикивала: «Не тронь меня-а, я вольная-а граждан-ка-а!»

Обычно эти сцены происходили на глазах заключенных, равнодушно глазевших, стоя у входов в землянки. Впрочем, заканчивалось это одинаково: кто-либо из комендантов или сам Шемякин подхватывали начальника под руки, он как-то сразу сникал и безропотно позволял себя увести.

Так и шла наша жизнь... Шабров пил, Шемякин правил, Лев блаженствовал в своем серале, мы «доходили до счастливой жизни», больные в стационаре продолжали умирать.

Не знаю, чем объяснить дальнейшие события — то ли смертность на лагпункте даже для лагеря показалась слишком высокой, то ли семейные сцены стали известны высшему начальству, только Шабров внезапно исчез и вместо него прибыл новый начальник, эстонец Адольф Вильгельмович Раммо.

Новый начальник был уже не молод, лет под 50. Крупная ширококостная фигура его в черном мундире выглядела внушительно, седые волосы подстрижены ежиком, большие серые глаза казались очень строгими. Первым делом он обошел все бараки. В разговоры с заключенными не вступал, молчал, смотрел.

Позднее мы кое-что о нем узнали. Как и его предшественник, Раммо попал на Север с поста начальника районного отдела милиции в Ленинграде, и причина была та же. На этом сходство биографий заканчивалось: этот человек был сделан совсем из другого теста. Очень скоро мы это почувствовали, хотя далеко не сразу уразумели что к чему.

В те дни, когда новый начальник знакомился с лагпунктом, я предпринял попытку расстаться с Адаком. Собирали этап для отправки на стройку железной дороги в Абезь.

Я пошел на прием к главному врачу и не без труда, поругавшись, добился, чтобы меня в этот этап включили. Собрали нас, таких доходяг, человек тридцать, посадили на пароход и повезли вверх по Усе.

Как странно порой складываются наши судьбы — чего-то добиваешься, хлопочешь, не зная сам, что в конечном счете из этих хлопот получится.

И выходит сначала как будто по-твоему — ан, судьба поворачивается вопреки твоим усилиям и идет вовсе непредусмотренным путем. И не всегда это к худшему...

Двое суток старенький пароходик полз до Абези — перевалочного пункта, куда шли люди и грузы на новую стройку. Наконец к вечеру второго дня он дошлепал до пристани, и нас свели на берег. Должно быть, мы выглядели, как шествие полутрупов — так, по крайней мере, рассудил начальник УРЧ здешнего лагпункта, наотрез отказавшийся нас принять. Охранникам предложили доставить всех нас обратно на Адак ближайшим пароходом, следующим вниз по Усе.

Его пришлось ждать два дня на берегу Усы, у тихой воды, нас даже на лагпункт не пустили. Дул ветерок, даже комары мало беспокоили, и нам здесь было лучше, чем в душном бараке. Конечно, обидно было возвращаться в опустылевший Адак, но так уж въелся в каждого из нас лагерный фатализм, что особенно не переживали — будь что будет.

Так я возвратился на Адак, где мне суждено было прожить четыре года вплоть до освобождения.

Мы спустились по сходням и рты раскрыли от изумления: несколько штрафников из штрафного изолятора, и среди них главный врач Лев, скатывали к реке бочки с тухлой квашеной капустой, которые затем грузили на шнягу, чтобы потом вывезти на середину реки и утопить.

В бараке я узнал, что Лев и еще несколько человек из местного начальства сняты с должностей и посажены в изолятор за многочисленные злоупотребления. А вскоре бывшего главного врача куда-то увезли с лагпункта, где он был одной из главных персон.

Не только проворовавшиеся снабженцы и коменданты, но и некоторые из немногочисленных на Адаке уголовников угодили в изолятор по приказу Раммо. Новый начальник с первых же дней не преминул показать себя сторонником жесткой дисциплины. Со слов тех, кто с ним соприкасался, мы узнали, что первое его требование — это добросовестный труд и соблюдение

лагерной дисциплины. Всякий, кто уклоняется от работы, нарушает лагерный распорядок, будет наказываться, и строго.

Естественно, особого удовольствия это нам не доставило. Песня была старая, о лагерной дисциплине, перевоспитании трудом и прочие в том же роде склонялись и спрягались везде, где мы успели побывать. Жесткие меры, когда доселе пустовавший изолятор оказался заполненным, наводили на мрачные мысли: мало того что плохо и голодно, а тут еще и ужесточенный режим — хуже некуда.

И только постепенно, сначала для немногих, наиболее пронизательных, а затем и для всех прочих, стал проясняться истинный облик Раммо, этого внешне сурового, порой жестокого, немногословного начальника. Немало времени прошло, прежде чем мы поняли истинные соображения, которыми он руководствовался, и приемы, которыми он пользовался. И тогда прозвище «Сухарик», которым с первых дней наградили нового начальника, стало звучать уважительно и, не побоюсь сказать, любовно.

В условиях, когда любое сочувствие политическим считалось криминалом и грозило самыми тяжелыми последствиями, надо было обладать твердым характером и незаурядным тактом, чтобы помочь нам выжить, облегчить наше положение, ничем не обнаруживая свое подлинное отношение — доноски были на всех уровнях.

От предшественника Раммо досталось тяжелое наследие: люди на лагпункте были истощены и деморализованы, смертность высокая, продуктовые фонды разворованы. Спокойно, неторопливо, не переставая твердить о лагерной дисциплине, жестко требуя с каждого из должностных лиц, новый начальник постепенно начал заменять недобросовестных людей, угнездившихся на должностях бригадиров, комендантов, капттеров. Далеко не сразу и не на все должности он подбирал людей порядочных, способных наладить работу и быт, и впервые — из 58-й статьи. Делал он это не спеша, присматриваясь к возможным кандидатам. В большинстве случаев его выбор оказывался удачным. Как это ему удавалось при внешней отчужденности от нас — и сейчас не могу понять.

Любителей доносов (были и такие) он принимал по их просьбе, внимательно выслушивал, но постепенно стало ясно,

что хода их донесениям он давать не торопится, а самих доносителей под различными предложениями с течением времени старается сбыть с лагпункта. В этом, как и во всех своих действиях, Раммо был весьма последователен и настойчив.

Раммо решил заполучить в качестве главного врача человека с большим авторитетом, достаточно энергичного и вместе с тем гуманного, способного покончить с болезнями и смертностью. И такого человека он нашел. Вскоре на лагпункт в качестве главного врача прибыл ленинградец Алексей Александрович Нейман. Именно он, в то время главный врач Управления Воркутпечлага, в Усть-Усе снял меня, полуживого, с этапа и направил на Адак.

В лице Неймана Раммо приобрел отличного помощника, вернее, единомышленника и соратника. Постепенно им удалось наладить жизнь на лагпункте, улучшить питание, обеспечить подбор посильной для инвалидов работы, снизить, и немало, почти до возможного минимума, смертность в стационаре. Все получилось далеко не сразу, но в итоге эти два немолодых спокойных человека спасли от гибели сотни истощенных, потерявших надежду выжить людей. Я — лишь один из них. Накануне финской войны мы, заключенные, жили совсем в других условиях, а питались лучше, чем наши вольные соседи-коми из деревни Адак.

Среди людей, выдвинутых Раммо на руководящие посты, был молодой харьковский физик Илья Любарский. Энергичный, притом прямой и честный, он пользовался доверием нового начальника и это доверие использовал для облегчения жизни лагерников на кирпичном заводе, находившемся в двух километрах от лагпункта выше по течению Усы.

В лагерь Илья попал за отказ дать показания против одного из своих знакомых. Впоследствии оказалось, что этот человек не был даже посажен и продолжал работать на Дальнем Востоке — случалось и такое. В 1939 году он вернулся в Харьков и узнал от родных Ильи о причинах его осуждения. Оказался он смелым и честным — обратился с заявлением к самому Берии с просьбой разобраться в этом деле. Благодаря этому заявлению и хлопотам родных Ильи в конце концов был освобожден по чистой, но разбирательство продлилось около года.

Перед освобождением Любарского Раммо спросил его: «А кого вы рекомендовали бы после себя?» Илья не колеблясь

предложил Романова. Поговорив с тем, Раммо тут же издал указ о назначении — думаю, при первом разговоре он сумел оценить ясный ум, самостоятельность и суровую честность Вениамина Флегонтовича, ведь всеми этими качествами обладал и он сам.

В дальнейшем Романов управлял заводом до самого отъезда Раммо с Адака, и Раммо всегда ценил его и поддерживал, предоставляя большую самостоятельность.

Заменивший Раммо начальник Манин сразу же снял Романова — для него подчиненный, державшийся независимо, был нежелателен.

Раммо, конечно, был белой вороной в среде лагерного начальства. До работы в милиции он работал журналистом, во всем его поведении чувствовался человек культурный. Оторванный от семьи, оставшейся в Ленинграде, Раммо на Адаке был, очевидно, одинок больше, чем любой из нас, заключенных. Здесь, кроме нескольких стрелков, людей совсем другого уровня, вольных не было, а от заключенных в силу своего положения он должен был держаться подчеркнуто на расстоянии.

Наш заведующий складом, по-здешнему «каптер», заключенный из бытовиков Коля Самусенко сообщил, что большую часть своей зарплаты Сухарик отправляет семье в Ленинград, а сам питается не лучше нас, заключенных.

Вотличие от обычных лагерных начальников Раммо не терпел искательства и пресекал любые попытки такого рода. Запомнился мне такой случай. В летний жаркий день, какие подчас бывают и у Полярного круга, разразилась гроза с громом, молнией не хуже, чем в центре России. Выехавший к реке наш водовоз, смирный работающий колхозник Шпетный, с удивлением заметил воровчавшуюся на отмели здоровенную рыбину. Это был налиим весом, как потом оказалось, около девяти килограммов, который во время грозы с перепугу выбросился на отмель. Такие гиганты на Усе были не в диковинку и иногда попадались на переметы. Шпетный не растерялся и выволок налима на берег. Затем со своим трофеем он прошел к домику, где проживал Раммо.

Тихий и забитый, уже немолодой, Шпетный, один из самых безответных работяг, совсем не был подхалимом, он просто не представлял себе, что вправе сам распорядиться такой добычей.

Раммо оказался у себя. «Вот вам, гражданин начальник, рыбину принес», – пробормотал Шпетный.

Раммо казался суровым.

– Что, она вам самому не нужна, что ли?

– Я – вам.

– Что я вам, знакомый близкий, чтобы мне подарки делать, – продолжал начальник.

Шпетный совсем растерялся. Раммо, очевидно, понял, что за человек перед ним, и заговорил более мягко:

– Если вам действительно эта рыба самому не нужна, мы вот что сделаем. Налима я передам в стационар для самых слабых больных, а вам за него выпишем сахар, масло, махорку, если курите. А подарков я ни от кого не принимаю, запомните.

Шпетный ушел с выпиской на продукты, очень довольный, а налим был передан в стационар.

Летом к начальнику приехала, наконец, его семья: жена, дочь, девушка восемнадцати лет, и девятилетний сын.

Все лето семья Раммо провела на лагпункте. Для девушки нашлось развлечение – она часто ездила верхом на смирной белой лошади. Сын почти не отходил от отца. Нередко вечерами вся семья гуляла в окрестных перелесках.

Из нас чаще всего у начальника по делам завода бывал Илья. Однажды жена начальника вместе с мужем посетила завод и попросила Илью показать ей все производство.

К этому времени обстановка благодаря усилиям Раммо и Неймана изменилась к лучшему. Питались мы неплохо, не стало истощенных людей, труд был вполне по силам. И все же лагерь оставался лагерем, и мы, в своих одеяниях второго и третьего срока, с «козами» для погрузки кирпича за спиной, на свежего человека, каким была жена Раммо, произвели тягостное впечатление. Улучив момент, когда Раммо отошел, она прошептала Илье:

– Боже, какой ужас! – И затем, глядя ему в глаза, напрямик спросила: – Скажите, только правду, прошу вас, как здесь Раммо?

Илья горячо ответил:

– Если бы все были такими!

Северное лето короткое, и настало время отъезда семьи в Ленинград – ведь дети учились. Но, очевидно, одиночество так

тяготило Раммо, что неожиданно для всех он решил оставить сына при себе.

Для занятий с ним начальник пригласил молодую женщину из осужденных по 58-й статье, Анну Григорьевну Бокал. До ареста она была студенткой, училась в Одессе. Там она с друзьями входила в созданную молодежью «Группу освобождения пролетариата», сокращенно ГОП, за что и получила пять лет. Оглядываясь на прошлое, она с улыбкой вспоминала эту совершенно безобидную ребяческую затею, одно название ГОП чего стоило. Приближалось окончание ее срока. На лагпункте у нее был близкий человек, молодой интеллигентный Виктор Васильевич Зурабов. Все знали, что по освобождении они решили пожениться. К этой паре у нас всегда относились с большой симпатией.

Для занятий Раммо припас нужные учебники. Анна Григорьевна оказалась старательной и способной учительницей. Мальчуган к ней привязался, и занятия шли успешно.

Однако нашелся мерзавец, некий Герцен, давно уже известный всем доносчик. Не знаю, доводился ли он родней великому писателю — многие находили в нем известное сходство с портретом Искандера.

Этот тип сочинил донос на Раммо. В нем сообщалось, что начальник поручил воспитание сына особе, осужденной по 58-й статье. Донос на имя оперуполномоченного был опущен в ящик, специально повешенный для такого рода сочинений.

Однако Герцен просчитался. Он попросту не учел, что все доносы идут через начальника лагпункта и им просматриваются. Ознакомившись с опусом Герцена, Раммо отказался от обычной своей сдержанности. Он немедленно вызвал начальника ВОХР и, оформив бумаги, приказал увезти Герцена на соседний лагпункт Косью и там сдать. И предупредил, чтобы он ни под каким видом с Герценом назад не возвращался.

Мне пришлось столкнуться с Раммо в необычных обстоятельствах. Работал я тогда на уборке лесосек от сучьев. С первых лет существования Адака лес был засорен; кучи хвороста, сучьев, верхушек не убирались, и, наконец, инспекция лесоохраны наложила на лагпункт огромный штраф. Срочно сформировали две бригады для уборки и сжигания сучьев. Одну из них поручили мне.

Лето выдалось жаркое, малейшая неосторожность грозила бедой — лесным пожаром. Поэтому я в своей бригаде не разрешал жечь одновременно более трех костров на каждую пару работающих. На мою беду, второй бригадой, работавшей на соседнем участке, заправлял некий Толстов, известный всем как карьерист и доносчик.

На второй день утром на разводе на меня набросился главный инженер Розе, упрямый и грубый прибалт двухметрового роста. Толстов доложил ему, что моя бригада лодырничает, с моего согласия устраивает посиделки. Попытку объяснить, что в такую сушь, да еще в ветреную погоду сжигать одновременно несколько куч хвороста опасно и неразумно, Розе встретил в штыки, поднял крик, назвал меня при всех саботажником и пригрозил, что подаст на меня рапорт. Обвинение в саботаже было одним из опаснейших, не единожды за это судили и добавляли срок.

Я оказался в тяжелом положении: будешь осторожничать — пришьют саботаж, допустишь пожар — обвинят во вредительстве. Таковы были порядки и нравы в лагерях. С этим приходилось считаться — угрозы нового срока висели как дамклов меч.

Когда мы пришли на участок и разожгли первые костры, стало ясно, что в ветреную и сухую погоду даже за тремя кострами уследить трудно: чуть что — огоньки юркими зверьками норовили уползти по высокой, выжженной солнцем траве. Зная свои силы, мы понимали, что если упустим эти огоньки и они доберутся до сохранившихся на участке деревьев, нам с пожаром не справиться.

Рядом, на участке Толстова, поднималось все больше дымов от разжигаемых костров. «Что только делают!» — сокрушался старательный бакинец Керимов, старый партиец и мой давнишний напарник по работе. И вдруг совсем близко от нас пламя взвилось вверх, охватив оставшееся на участке дерево. Мы переглянулись: началось!

Этого мы ожидали. Ожидали и другого — Толстов не преминет представить дело так, что пожар начался на моем участке.

— Керимов, больше ни ветки в костры! Оставайтесь здесь, а мы туда гасить!

С этими словами я и Илья Букрин, рабочий с Урала, с топорами в руках бросились на помощь к пожарищу. Там мы уже застали двоих рабочих из бригады Толстова. Вчетвером мы принялись забивать огонь граблями. Дым ел глаза, и главное, забивал легкие. Мы задыхались, глаза слезились. Силы наши были на исходе. Не знаю, что бы у нас получилось, если бы не внезапно подоспевшая помощь: из дыма появился рослый человек в черном мундире — начальник Раммо.

Как раз в тот момент, отчаявшись в попытках забить огонь граблями, я вспомнил совет старого лесовика, Едемского: если огонь разойдется, лучше всего — срубить молодые березки и их вершинками забивать пламя на земле. Я бросил бесполезные грабли, схватил топор и, отбежав в сторону, принялся рубить тонкие молодые березки. Свалив несколько штук, я схватил одну из них и принялся колотить по напользавшему по траве пламени. Раммо, очевидно, решил, что я обезумел от испуга, и с криком: «Что вы делаете!» попытался меня остановить. Нервы мои были напряжены до предела, я рванулся в сторону, выругал начальника и, выкрикнув: «Илья, руби березы», продолжал забивать огонь. Начальник, очевидно, понял, что я все же в своем уме, раньше Ильи овладел топором и начал валить и подбрасывать нам новые деревца. Силенки у него было побольше, чем у нас, а главное — мы почувствовали, что не одни; подчас само это сознание прибавляет силы.

Только нам удалось остановить пожар, как рядом вспыхнул новый.

— Что вы здесь делаете! — воскликнул Раммо. — Разве можно такое!

Я, задыхаясь, ответил:

— Я на разводе это доказывал, так меня Розе саботажником назвал и рапортом грозил.

— Передайте им, чтобы прекратили разжигать костры, только те, что горят, дожигайте! — приказал Раммо.

— Меня не послушают, это бригада Толстова.

— Неважно, — ответил Раммо, — скажите, что я приказал.

— Я передам, но разрешите пока новый очаг погасить!

Раммо разрешил и сказал, чтобы мы все туда шли, а сам остался у кострищ. Новый пожар мы одолели, но у меня на ноге загорелась портянка, и получился ожог верхней части

стопы. В азарте я слишком поздно это заметил и только позднее ощутил сильную боль. Пока я возился с ногой, подошел Раммо. Увидев, что со мною случилось, он приказал мне немедленно идти в медпункт.

Вечером, когда я с забинтованной ногой лежал на нарах, в бараках появился дневальный начальника с копией приказа, которую вручил мне: «За самоотверженные действия при тушении пожара объявить благодарность, выписать продукты». Продукты эти — масло и сахар, консервы — мы с друзьями прикончили на следующий день, а вот с обожженной ногой пришлось возиться почти месяц — заживала она медленно, и пришлось торчать в бараке. Неожиданно Раммо вызвал меня к себе в кабинет и спросил:

— Где бы вы хотели работать? Даю вам право выбора.

Я попросился в бригаду, уходившую на выборочную рубку далеко от лагпункта — там работал мой друг, студент авиационного института Макс Сорокин.

— А не тяжело там будет? — спросил Раммо.

Я ответил, что справлюсь, был определен в эту бригаду и о своем выборе не пожалел — удалось все лето прожить в лесу вне опостылевшей зоны.

Позднее, когда Илья Любарский перетащил меня к себе на кирпичный завод, я нашел занятие по душе. Вместе со скульптором, бывшим польским коммунистом-подпольщиком Володей Счастливым, мы организовали при заводе мастерскую. Изготавливали мы довольно изящные глиняные вазы, которые после обжига покрывали масляной краской. Затем по еще не высохшей краске вазу обрабатывали, вращая над керосиновой лампой, от копоти она становилась чернолаковой. Последней операцией была роспись по лаку. Кроме ваз, мы делали из глины и забавные расписные свистульки. Продукция эта вывозилась за пределы лагпункта и пользовалась успехом — изделия получались самобытные. Эта мастерская стала прибежищем для больных, ослабевших людей, которым на общих работах пришлось бы трудно. Работали мы даже с удовольствием и очень дружно.

Осенью 1940 года Раммо разрешили, наконец, возвратиться в Ленинград. К этому времени жизнь на лагпункте наладилась, и мы, старожилы Адака, помнившие, каково здесь было раньше, понимали, что сумел сделать для заключенных этот человек.

Особенно сожалели о его предстоящем отъезде люди из моего ближайшего окружения, собранные на кирпичном заводе Ильей Любарским. Конечно, нас радовало, что «срок» Раммо на Севере окончился, но опасались, что с его уходом обстановка на лагпункте неминуемо изменится к худшему.

Получив разрешение на отъезд, Раммо дождался приезда нового начальника, чтобы сдать ему дела. Начальник завода Вениамин Флегонтович Романов зашел к нам в мастерскую.

— Раммо попросил сделать для него вазу на память об Адаке, — сказал он, отозвав в сторону нас с Володей, — вы уж постарайтесь.

Об этом нас просить не следовало. Сразу же мы взялись за дело и не пожалели сил и времени на выдумку. Ваза получилась изящной по форме. Я сам ее расписал, а все наши «болели», подсказывали, пока единодушно не признали ее лучшим нашим изделием — на меньшем бы не успокоились. В основании написали: «На память об Адаке».

Знаю, что Раммо пытался передать нам через Романова вознаграждение, но мы заранее предупредили Вениамина Флегонтовича, что просим принять наше изделие в подарок и не обижать нас.

Раммо отбыл с Адака вместе с сыном. Перед отъездом он обошел лагпункт, все такой же подтянутый и строгий Сухарик.

Не знаю, какова была дальнейшая судьба Раммо и его семьи. В ближайшие годы ленинградцам суждено было перенести тяжелые испытания в блокадных условиях. Таким честным, бескорыстным людям пришлось, наверное, особенно трудно.

Одна ночь

Осенью зачастили на Адаке мелкие холодные дожди, и мне стало совсем плохо — обострился процесс в легких. Уже давно Александр Алексеевич Нейман, главный врач, настойчиво уговаривал меня лечиться в стационар, но я упирался изо всех сил, тянул время. Стационара я откровенно боялся, да и не я один — еще недавно, до появления на лагпункте доктора Неймана, люди здесь мерли как мухи, ежедневно по несколько человек. Чаще всего умирали от пеллагры, болезни голодного истощения. Александр Алексеевич, которого я знал еще по Усть-Усе, многое изменил, но чуда совершить не мог — смертность резко снизилась, но в стационаре лежали тяжелобольные, до предела истощенные люди и не всех удавалось поднять, так что слава оставалась плохая.

Чем дальше, тем хуже мне становилось. После очередного осмотра Нейман, человек вообще очень мягкий и деликатный, поставил вопрос ребром: надо лечиться, и немедленно. Пришлось согласиться, и к вечеру я нехотя побрел в больничный барак. Весной мне уже довелось лежать в стационаре на руднике Ыджит-Кырта, что на Печоре, там больные размещались в небольших палатах, человек по 7—8 в каждой, светлых и чистых. Про адакский стационар я успел наслушаться плохо и, угодив туда, мог бы не удивляться, но все же... Этот огромный, длинный, всегда полутемный барак с обычными, в два этажа нарами из кое-как стесанных жердей от жилых барачков отличался лишь тем, что лежали больные не на голых жердях, а на тощих матрасах с постельным бельем.

Но воздух... Не только мне с больными легкими, но и любому живому существу дышать было невозможно: отвратительно-

удушающая смесь самых мерзких запахов — лекарств, мазей, пота, испражнений, копоти от фонарей. Все тут лежали вместе: туберкулезники, больные с незаживающими язвами, пеллагрики с неукротимым поносом. Лишь много позже был построен за пределами зоны новый стационар с отдельными палатами, в нем мне тоже довелось лежать после очередного обострения болезни.

Мне досталось место на верхних нарах, не без труда я забрался туда и залег. Обстановка никак не располагала к хождению, да и больные почти все были лежащие, ослабленные до предела: тех, кто еще кое-как передвигался, сюда не клали.

Осмотревшись, я обнаружил рядом на нарах знакомого, Данилу Зюкина из нашего барака. Среди сникших, вялых доходяг, составлявших большинство на инвалидном лагпункте, Данила выделялся незаурядной энергией, был подвижным, всегда чем-то занятым. Работал он в лесу на заготовке дров и, несмотря на то, что после ранения на польском фронте потерял кисть левой руки, считался одним из лучших лесорубов. Данила работал азартно, этому способствовала его неумная жадность, которую у нас укорительно называли мужицкой. За нее Данилу многие открыто осуждали, он и сам с этим соглашался, но переделать свою натуру никак не мог. Из-за своей жадности к работе Данила и попал в стационар: нарубив, как обычно, двойную норму дров, он, утомленный, улегся отдохнуть на голую стылую землю и тут же заснул. Такой «отдых» не прошел ему даром — Данила простыл и схватил жесточайшее воспаление легких. Пролежал он в стационаре уже дней десять и теперь быстро шел на поправку, но обстановка здесь была столь гнетущей, что даже этот крепыш сник и почти не слезал с нар. Правда, он не лежал, а сидел, подобрав под себя ноги — типичная арестантская поза, от которой я после лагеря отвыкал несколько лет.

Позднее я близко познакомился и даже подружился с Данилой, многое узнал о его прошлом, но это потом, здесь же он был тих и скован — и не зря: на нижних нарах на наших глазах умирал человек. Умирал тяжело, мучительно от страшной болезни — пеллагры. Ни я, ни Данила до этого его не знали, очевидно, он лежал здесь долгие месяцы, все лето и часть осени, и вот теперь доживал последние часы. Известна была только его фамилия — Кауль, имени и отчества, похоже, не знал никто.

Умирал он в полном сознании, и это было особенно страшно. Человек этот, до предела истощенный, всеми силами души хотел жить и, сознавая свое тяжелое состояние, до конца не переставал надеяться. Поминутно, между приступами неукротимого поноса, он, задыхаясь, задавал неотлучно дежурившей около постели медсестре один и тот же вопрос: «Я буду жить?» Голос его был едва слышен в тишине барака и звучал, словно шелест сухой травы. И сестра, уже немолодая женщина, такая же заключенная, оторванная от родных и близких, каждый раз, поправляя сползавшее одеяло или придерживая его бессильно отброшенную руку, таким же шепотом отвечала: «Будешь жить, милый». И она, и мы все на нарах знали, что нет, не жить ему... Думается, что в эту ночь мало кто спал.

Не помню уже, то ли Данила меня позвал, то ли я сам без приглашения к нему забрался, только мы всю ночь в каком-то оцепенении просидели, сжавшись, бок о бок на его постели. Внизу против нас слабо ворочался умирающий, при тусклом свете фонаря он напоминал нечто безликое, червеобразное, чему место не на земле, а в земле. И, однако, это был человек, измученный, доведенный до предела истощения, но до конца сохранявший извечное стремление любого живого существа — жить, дышать.

Мы с Данилой замерли, не было ни отвращения, ни даже возмущения или озлобления против тех, кто довел Кауля, и не его одного, до такого состояния. Не было и страха за себя, за то, что, может быть, скоро и я вот так же буду расставаться с жизнью, нечто похожее только чуть мелькнуло в сознании и тут же пропало... Было другое — охватившее меня ощущение ужаса, бессильной жалости; казалось, что не хватит сил терпеть, пока длится это мучительное умирание. Я сознавал, что есть нечто нехорошее, постыдное в этом моем нетерпении, но не в силах был отбросить от себя, отогнать, преодолеть желание, чтобы весь этот кошмар окончился — изнемогла душа... А Кауль все боролся, и все так же чуть слышно шелестел его голос: «Сестра, я буду жить?» И так же, склоняясь, отвечала ему сестра. Только к утру перед самым рассветом Кауль затих — умер.

А мы с Данилой, еще теснее прижавшись друг к другу, сидели молча — слов не находили... Это была первая увиденная мною смерть. Но и Данила, испытанный воин, потерявший

в боях руку, был потрясен не менее чем я, хотя по натуре был человеком отнюдь не мягким. Пережить такое вместе, с единым чувством, многого стоит, и недаром Данила, до стационара почти меня не замечавший, позднее, когда мы оказались в одной бригаде, взял меня, доходягу-подсобника, под свое надежное крыло и много для меня сделал.

Потеряв надежду подлечить меня в условиях стационара, доктор Нейман пошел на риск — выписал и уговорил попробовать себя на легкой работе на свежем воздухе. При этом он не упускал меня из виду, постоянно проверял мое состояние, выписывал дополнительное питание. Сперва сжигая сучья на лесосеках, я еле-еле шевелился от слабости. Но постепенно втянулся в работу и стал чувствовать себя много лучше — расчет доктора оправдывался. Позднее он признавался, что давал мне тогда месяц жизни, не более.

Тут-то и взялся за меня Данила; человек вообще нелегкий и нетерпеливый, он с великим старанием принялся приучать меня к лесной работе, а затем, когда его напарник Смирнов освободился, пригласил меня в напарники на лесоповал, хотя вполне мог подобрать другого, более сильного и расторопного. Мы долго работали вместе, много о чем переговорили между собою, но ни разу ни тот ни другой не упомянули о смерти Кауля — это было так ужасно, что любые слова оказались бы излишними.

Чудак Яша Каганцов

Среди пестрой публики, собранной на инвалидном лагпункте Адак, первым, с кем я познакомился, а затем и крепко сдружился, был Яков Борисович Каганцов, обаятельный человек из разряда оригиналов и чудаков. Впрочем, по имени-отчеству его здесь никто не именовал. Знали его на лагпункте все благодаря общительному характеру, а еще больше — по чудачествам и совершенно невероятной способности попадать в забавные положения.

До ареста Яша жил в Севастополе. Здесь он родился и вырос, отсюда уехал учиться в Одесский университет, а потом, возвратившись, преподавал математику офицерам штаба Черноморского флота.

Среди нас было несколько математиков, из них Яша был младшим по возрасту, но все они единодушно признавали его самым эрудированным и талантливым. Занятий своим любимым предметом он не прерывал и в лагере, хотя условия были вовсе не благоприятными. Невысокого роста, очень близорукий, суетливый и неловкий, Яша даже среди оборванцев, которых здесь было немало, выделялся растрепанностью и неряшеством. Он отнюдь не был грязнулей, но безразличие к своей внешности в сочетании с анекдотической рассеянностью придавало ему особенно забавный вид.

Вечно он что-то терял, портянки на ногах постоянно размывались и тащились за ним, по выражению одного из наших колхозников, «как за кахетинским» (читай кохинхинским) петухом. Пуговицы от всех видов одежды он постоянно терял, нимало не затрудняясь их пришивать. При этом он не без гордости заявлял, что, будучи сыном портного, никогда не брал в руки иголки.

Прямой и непосредственный, чуждый всякой хитрости, Яша постоянно попадал в нелепые и смешные ситуации, становившиеся притчей во языцех и немало потешавшие далеко не веселых людей – обитателей лагпункта.

Выросший в городе с морскими традициями, где евреи почти не селились, Яша не владел по-настоящему еврейским языком и национальными проблемами до лагеря не интересовался. Более того, при очень типичной внешности он умудрился жениться на дочери Маркова-второго, скандально известного депутата Государственной Думы, черносотенца и ярого антисемита. Правда, с женой он разошелся еще до ареста, но, по-видимому, очень ее любил. Впрочем, при всей своей общительности, подчас переходившей в болтливость, именно об этом периоде своей жизни Яша говорить избегал. Наши острословы, в основном из евреев, часто потешались над этим союзом, утверждая, что Марков-второй в гробу извертелся, заполучив такого зятяка.

Курьез заключался в том, что Яша, доселе равнодушный к еврейской национальной культуре и ее по сути не знавший, в лагере внезапно «ощутил себя сыном великого еврейского народа», ревностно принялся изучать древнееврейский язык и на каждом шагу подчеркивал свой национальный патриотизм. Как и все, что он делал, это получалось невероятно горячо, искренне и... нелепо. Наш общий приятель, умница Шаевич, еврейский писатель из Харькова, очень едко подтрунивал над новоявленным сионистом, не знавшим ни языка, ни культуры своего народа.

При всех своих чудачествах Яша был человеком исключительно чистым, доброжелательным, интересным собеседником. Он совершенно не умел притворяться, что в разной степени приходилось делать нам всем, и резал правду-матку в глаза, не задумываясь о последствиях. Прямо удивительно, как при таком характере он не нарвался на какую-либо неприятность, столь возможную в обстановке культивируемых в лагере доносов.

Правда, однажды он оказался на грани такой опасности. Получилось это так: еще до моего появления на Адаке начальство вздумало обязать подпиской всех заключенных сообщать о возможной подготовке кем-либо побега. Бежать никто не помышлял – это было совершенно исключено при огромных, почти необъятных пространствах республики Коми и физическом

состоянии адакских лагерников – сплошь больных и инвалидов. Все и подписывали, справедливо считая это проформой, лишь бы отвязаться.

Отказался только Яша. Он заявил, что бежать не собирается, но не имеет чести служить в ВОХРе, поэтому не его, Яши, дело предотвращать побег. Возмущенное начальство сгоряча расценило это заявление чуть ли не как агитацию за побег. Яшу посадили в изолятор, но вскоре выпустили. Возможно, кому другому такое обошлось бы дороже, но на него смотрели, как на поврежденного, – вот и обошлось.

Попал Яша в лагерь за анекдоты. Анекдотов в те годы ходило много, в основном про Сталина, и меньше пяти лет за них не давали. Лично я анекдотами не увлекался, а рассказывать их и вовсе не умел. Но сейчас, оглядываясь в прошлое, думаю, что это своеобразный фольклор, в котором на разном уровне – от грубой пошлости до тонкой иронии – выражено отношение народа к укладу жизни в стране, и в первую очередь – к правителям. Говоря известными словами Герцена, во многих из этих анекдотов «запеклась кровь событий, это – само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

Отдельные образцы этого жанра удивительно метко характеризуют эпоху и ее деятелей. Например, анекдот о сталинской трубке, с ней вождя часто изображали на портретах.

«Однажды у Сталина пропала трубка. Искали – нигде не нашли. Не иначе – вражеская диверсия. Подключили УГБ. Прошел час. Сталин звонит Берии.

– Что слышно с трубкой?

– Арестовано сто человек. Следствие продолжается.

Проходит еще час.

– Что с трубкой?

– Арестовано двести человек. Следствие продолжается.

И так далее. Вечером, перед тем как лечь спать, Сталин заглянул под кровать – не затаился ли там какой-нибудь враг народа. Глядь – лежит трубка, он ее с утра обронил. Звонит к Берии. Тот с ходу докладывает:

– Арестовано пятьсот человек.

– Всех отпустить – трубка нашлась!

– Не могу, кацо, – все пятьсот сознались!»

Чем не картина эпохи! Из этого жанра покороче:

«Откопали мумию. Чья она, какой эпохи археологи определить не смогли. Подключили гебистов. Те сразу определили: Рамзес II. Египет, второе тысячелетие до нашей эры.

– Как удалось определить?

– Сам сознался».

Яша, попав к следователю, остался верен себе – избрал оригинальный способ защиты. На допросах он твердил одно: все анекдоты, им рассказанные (а было их немало), были отнюдь не про Сталина, а про Гитлера. На этом он стоял твердо, тут же выдавая их в переадресованном виде. Он рассказывал, как в кабинете его следователя собиралась молодежь, и он, по их требованию, травил анекдоты «про Гитлера». Все слушали, подчас едва сдерживая ухмылки, но свои пять лет по Особому совещанию Яша все же схлопотал.

Был он удивительно неприспособленным к жизни и физически неловким. На беду, при большой близорукости он не числился инвалидом, и норма выработки ему давалась полная. Иногда Яша ее не выполнял, тогда его сажали на 600 граммов хлеба, а на аппетит он не жаловался. Многие из нас ухитрились как-то изворачиваться: зимой ловили петлями куропаток, летом удили рыбу, собирали ягоду, при случае могли что-нибудь стащить при разгрузке баржи. Яша, человек сугубо городской, на такое был не способен, и единственным его питанием оставалось скудное лагерное довольствие. Впрочем, он никогда не ныл, всегда был оживленным и общительным.

Относились к нему на лагпункте в общем доброжелательно, но не без подковырок. Тут были свои нюансы. Интеллигенты, уважая его знания и душевные качества, не упускали случая над ним посмеяться, благо поводов было предостаточно, многие и спорили с ним. Заключение из рабочих относились к Яше с добродушным презрением, считая его человеком неплохим, но уж больно несуразным и безруким. Самое теплое отношение выказывали выходцы из крестьян. Они нередко вступались за Яшу, защищая от наших подтруниваний: «Оставьте нашего Яшу в покое, он человек тихий, безобидный, что над ним потешаться?» Здесь, по-моему, сказывалось старинное народное пристрастие к юродивым.

Я привязался к Яше. Обжившись на Адаке, по выработанной с детских лет привычке к лесным походам я приспособил-

ся собирать грибы и ягоды. Лишнее иногда обменивал на хлеб, всем припасом делился с Яшей. Жили мы с ним дружно, но от шуточек в его адрес я удержаться не мог, благо предложений для них хватало, на чудачества Яша был неистощим.

Вспоминаю несколько случаев, самых забавных и характерных. Яша, как я уже упомянул, и в лагере сохранил увлечение математикой и охотно делился своими знаниями с другими. При этом он не всегда учитывал, по зубам ли этот предмет новому адепту или нет. Впрочем, у нас нашлись охотники изучать математику. Среди них оказался мой приятель и напарник на заготовке дров Данила Зюкин, бывший председатель сельсовета где-то на Смоленщине; человек с четырьмя классами образования, он воспытал желанием изучать эту науку под руководством Яши. Было очень смешно и трогательно наблюдать их занятия. Вечером после тяжелого трудового дня (а работал Данила лесорубом, причем одной правой рукой, кисть левой была ампутирована после ранения) оба садились за алгебру. При тусклом свете фонаря они уже после отбоя шепотом разбирались в каких-то уравнениях. С великим трудом Данила где-то выменивал на хлеб тетрадки и списывал их, решая примеры и задачи.

Беда была в том, что сообразительный и бойкий в повседневной жизни, он оказался на редкость тупым ко всяким абстракциям. Алгебраическая задача типа $a + b = c$, уже однажды им решенная, при замене «b» на «d» становилась для него абсолютно новой, и так всякий раз. Интересно, что обычно горячий и несдержанный, Яша проявлял бездну терпения и ни разу не укорил Данилу за несообразительность и не переставал его учить.

Иногда лагерному начальству что-то ударяло в голову, и оно срочно принимало энергичные меры для повышения нашего морального уровня. На лагпункте были и женщины, они занимали целый барак. Контингент был пестрый, преобладала 58-я статья, но были также «религиозницы» и представительницы древнейшей профессии.

Замученным физической работой инвалидам было не до амуров, но различные привилегированные чины, так называемые придурки, отнюдь не чуждались радостей жизни. Обычно начальство смотрело на это сквозь пальцы, но иногда вдруг ни

с того ни с сего начиналась очередная кампания. Издавались грозные приказы, и заподозренных в связях пачками сажали на несколько дней в изолятор. Затем все возвращалось на круги своя.

И вот однажды, после выхода очередного приказа о недопустимости связей с женщинами и суровых наказаниях за такие грехи, лагпункт облетело известие, показавшееся сперва неправдоподобным: в изолятор был посажен не кто иной, как Яша Каганцов. Поначалу этому отказывались верить: Яша, вечно оборванный, самый что ни на есть лагерный бедняк с репутацией чудилы — и вдруг в роли Дон-Жуана! Но оказалось — действительно сидит, и забрали его в изолятор почему-то из медпункта. Одновременно посадили еще несколько человек, в основном женщин, но этих все знали и не удивлялись. Впрочем, сажали обычно именно женщин, а их партнеры, находившиеся у материальных ценностей, оставались неприкосновенными — не передавать же, в самом деле, какой-нибудь склад или хлебрезку по акту на два-три, максимум четыре дня.

Все ждали, когда появится Яша, недоумевали: за что же он все-таки сел? Встретили его весело — еще бы, Дон-Жуан, покоритель сердец! Ржали до упаду. Пребывание на штрафном положении не повредило нашему чудаку, вышел он из шизо посвежевшим и сытым, как никогда раньше. Естественно, первым был вопрос: за что, собственно, посадили? Оказалось — за математику: чудак вздумал, сидя в медпункте в ожидании приема, объяснять какую-то теорему случайной соседке, женщине из гулящих. Заглянувший в приемную комендант решил «подшутить» и забрал в изолятор обоих. Яша ничуть не был обижен. Там сидели и мужчины, и женщины, все — за связи: прошла очередная кампания. Ночью перегородку между мужским и женским отделениями порушили, начался свальный грех. Сердобольные бабенки, жалея бедного Яшу, оставшегося не у дел, наперебой потчевали его лакомствами, которые им передали оставленные вне кондея дружки.

В другой раз Яша потерял очки. Как он объяснял нам, обронил их в снег и отыскать не сумел. Без очков ему пришлось туго, близорукость была большая, он стал совсем беспомощным, о новых очках здесь нечего было и думать. Жалели его, сочувствовали, но что толку? Прошла неделя, а может и больше.

И вдруг однажды дневальный, подметая под ногами (а мог бы не подметать там целый год) обнаружил там целехонькие Яшины очки. Чудак даже толком не знал, где их уронил.

Сходных историй с ним случалось немало. Однажды при погрузке кирпича на баржу с него свалились штаны. В другой раз зимой в лесу на Яшиных ногах рассыпались берестяные лапти: Яша не удостоился вовремя заметить, что они ветхие. Старик-грузин Филипп Хупения, понукая и ругаясь, гнал его в одних портянках до лагпункта, и растяпа лишь чудом не обморозил ноги.

С год прожили мы с ним бок о бок и ни разу не поссорились, таким милым и кротким был этот чудак. Правда, меня иногда раздражала его житейская неприспособленность, тяготила роль няньки при человеке, лет на десять старше, чем я – но и тут его доброта и детское простодушие обезоруживали, и переделывать его я не пытался.

Яша не терпел хитрецов и карьеристов, тут он был непреклонен. Вспоминаю забавный случай. Однажды Яша вдался в исторический экскурс о происхождении своей фамилии. По его версии, его предок, носивший фамилию Каган, хлопотал об устройстве в учебные заведения своих многочисленных сыновей. Было это при Александре III, в те годы из еврейских семей допускали учиться лишь одного человека, вот он и придумал записать сыновей на разные фамилии, производные от своей: Каганов, Каганер, Каганцов.

Кто-то из слушателей, ухмыльнувшись, спросил: «А Кагановичем он случайно никого не записал?» Оскорбленный до глубины души, Яша сверкнул глазами за толстыми стеклами очков: «Таких сволочей в моей родне не было!»

Расстались мы с Яшей, как это часто случалось в лагерных условиях: после очередной комиссии его отобрали и куда-то послали с этапом. Больше сведений о нем я не имел. Не знаю, удалось ли ему дотянуть до освобождения – таким неприспособленным людям в лагере приходилось особенно трудно.

Шаевич — толкователь снов

И был мне сон. Именно был, не приснился, я в нем жил, долго мучился, в конце концов изнемог от неимоверного напряжения сил... и пробудился, едва живой от усталости, словно после тяжелой работы. До той поры сны меня не тревожили, лишь иногда мне случалось пробуждаться с неясным воспоминанием о чем-то смутном, едва осознанном, и тут же начисто забывал, вроде и не было ничего — этот же сон был странный, необъяснимый и запечатлелся до мелочей.

Снилось мне, что на открытой, щедро освещенной горячим летним солнцем поляне я поставлен стеречь две большие деревянные бочки, до половины заполненные душистыми спелыми яблоками. Бочки светло-желтые, бокастые, стянутые темными железными обручами; поставлены эти бочки далеко одна от другой, резкие темно-зеленые тени ложатся от них на траву. И известно мне, что надо во что бы то ни стало уберечь яблоки, не то случится нечто страшное, непоправимое, чего я всем своим существом боюсь до умопомрачения. Зорко слежу я за обеими бочками, сознаю, что уследить невозможно, но следить я должен, должен, во что бы то ни стало. Тоскливое предчувствие надвигающейся беды не покидает меня. И вдруг появляется неведомо откуда небольшой шустрый мальчишка, бросается к одной из бочек, перегнувшись, как бы ныряет в нее и тут же выскакивает, прихватив несколько яблок, запихивает их за пазуху и убегает. Я бросаюсь за ним, пытаюсь догнать, он увертывается, виляя из стороны в сторону, кажется, вот-вот я его схвачу, но нет — он подбегает к другой бочке, выхватывает из нее яблоки, убегает. И это повторяется раз за разом, я гоняюсь за ним, задыхаясь, пот заливает глаза, иногда я теряю мальчишку из виду, но он неизменно появляется снова, ловкий, нахальный,

неуловимый. Каждый раз, подбегая к бочке, он вытаскивает яблоки, и я знаю, что скоро их вовсе не останется. Меня охватывает отчаяние и злоба, я готов убить мальчишку, а он все убегает от меня мелкой трусцой. И еще мне очень хочется самому стащить и съесть хотя бы одно яблоко, но я должен бежать, бежать, ловить.

Вот такой сон... Немного погодя, стряхнув с себя оцепенение от перехода к действительности, я задумался над вопросом: с чего бы такое могло мне присниться? В пророческое значение снов я никогда не верил и старался отыскать разумное объяснение, связать увиденное во сне с событиями повседневной жизни. Однако ничего хотя бы отдаленно схожего со мною не случалось, мальчишек, да и вообще детей, я, сидя в лагере, не видел уже несколько лет, да и яблок тоже, до севера фрукты в посылках не доходили, их сюда и не пытались отправлять. «Ерунда, бред какой-то, — думал я, пытаюсь найти хоть какую-нибудь зацепку, любое толковое объяснение. — И откуда такая ожесточенная злоба против мальчишки? Никогда я не знал за собою столь сильных чувств разъяренного собственника», — размышлял я.

Вечером, сидя у стола в бараке, я рассказал приятелям о моем сне и добавил, что как ни ломаю голову, не могу найти ему объяснение. «Чем больше думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что искать объяснение снов в событиях реальной жизни — занятие бесполезное», — заключил я свой рассказ. Сидели со мной за столом трое, все люди серьезные, с их мнением я всегда считался и ожидал, что они мне скажут. Впрочем, на какой-то иной вывод, не сходный с моим, я не рассчитывал. Но получилось не так.

— Бесполезное занятие, говоришь? — сказал в ответ Шаевич. — А я вот сейчас же, не сходя с места, берусь доказать, что этот твой сон, как и всякий другой, — прямое отражение того, что с тобою случалось в действительности.

Шаевича в бараке уважали, считали человеком умным и порядочным, но подчас излишне резким, его острого языка многие побаивались. Небольшого роста, подвижный, но отнюдь не суетливый, он всегда напоминал мне ежа: нос и губы выдавались вперед и как бы сближались, подбородок от этого почти не просматривался, получалось подобие рыльца этого зверька;

сходство завершали жесткий хохолок, выступающий мыском надо лбом, и небольшие, очень живые карие глаза. Если учесть еще и колючий характер – впрямь еж.

Странно, но именно в лагере в некоторых людях я стал замечать явственные черты сходства с тем или иным животным, реже – с птицей. Так умный твердый Вениамин Флегонтович Романов, очень близкий и уважаемый мною человек, своей крупной лобастой головою и привычкой не поворачивать, оглядываясь назад, шею, всегда напоминал мне матерого волка, а сухощавое, чуть остренькое лицо моего друга и чудесного человека Ивана Ивановича Лебедева, всегда остриженного под нулевку, неизменно напоминало мне голову ящерицы. Наверное, не зря у многих народов в доисторические времена возникли тотемы – образы зверей-покровителей рода, вполне возможно из сознания родства-сходства с тем или иным зверем.

До ареста Шаевич был писателем, писал он на еврейском языке. К сожалению, не зная этот язык, я не мог познакомиться с его творчеством, думаю, что, возможно, много потерял: человек он был своеобразный, несомненно одаренный, с острой наблюдательностью.

Он говорил, что его излюбленный жанр – небольшие рассказы, герои их почти всегда были людьми смелыми, физически сильными, одержимыми большими страстями. Иные читатели при личном знакомстве удивлялись несоответствию этих силачей и буянов облику автора рассказов – они и его представляли таким же и бывали разочарованы.

Я, признаться, не представлял себе, как сумеет Шаевич связать мой нелепый сон с нашей повседневной жизнью – в моих глазах она была тоскливо-однообразной: подъем, завтрак, работа в лесу на заготовке дров, возвращение на лагпункт, ужин, повседневные разговоры, вечерняя поверка, отбой, сон... снова подъем – что из этого выжмешь?

Это все я ему и высказал, закончив словами: «Интересно, конечно, как вы за это возьметесь, но уж точно уверен, что ничего не получится – не за что зацепиться». Шаевич улыбнулся, сморщил лоб и от этого еще больше стал похож на ежа.

– Еще как получится! Вспомни: с неделю назад ты мне рассказывал, как в Москве получал от матери яблоки в посылке,

как еще долго держался в ящике с сеном их аромат. Вот откуда яблоки.

Да, так оно и было, яблоки эти поздние, любимого мною старинного сорта «путинка», мама присылала мне в Москву из Чернигова. Сорт этот поспеваает в те же сроки, что и антоновка; хоть хороша наша полесская антоновка, но все же, на мой вкус, путинка еще лучше — яблоки крупные, чуть граненые с белесыми крапинками и лишь едва-едва на одном бочке проступает нежно-розовый румянец. А запах удивительный и, главное, такой стойкий, что, уже покончив с яблоками, я еще несколько дней тыкался носом в сено, которым мама заботливо обкладывала каждое яблоко.

— Да, связь тут есть, — признал я, — Но дальше... Уж мальчишек-то я не видел и не вспоминал.

Шаевич поглядел на меня победоносно.

— Ну, тут еще проще, сейчас и это тебе станет ясно. Вспомни только, как у тебя начинается любой рабочий день. Прямо с развода твой Данила как чумовой бросается в инструменталку за топорами и пилой, все боится, как бы его острый инструмент не перехватили, а потом на делянку — опять же торопится выгодный участок занять, бежит как олень, и ты за ним всю дорогу поспеть стараешься, из последних сил, задыхаясь, спешишь. И так изо дня в день, не правда ли?

— Ну, положим, правда, но при чем здесь мальчишка?

— А вот при чем: Данила коротенький, быстрый — вот и отложилось в твоём подсознании — мальчишка шустрый, за которым гнаться и гнаться. Скажи-ка теперь, что я неправ?

Я молчал, все сходилось. Мой напарник и учитель на лесоповале Данила Зюкин отличался неумемной жадностью к работе. Вечно он опасался, что кто-нибудь его обойдет, опередит — вот и мчался на участок сломя голову, и всерьез обижался, если я от него отставал.

С уважением выслушали мы Шаевича: мой сон он истолковал с мастерством библейского Иосифа. Этот сон был первым, приснившимся мне в лагере. Много позже приснился мне и второй сон, больше сновидений уже не было.

Этот второй сон вовсе не походил на тот, первый, с яблоками и мальчишкой. Снилось мне, что я попал в архитектурный

институт и растерянно перехожу из зала в зал. Ничего похожего на подлинные, довольно заурядные аудитории в нашем здании на Рождественке – удивительной красоты интерьеры привиделись мне: анфилады помещений, высоких, просторных, залитых светом, но не солнечным, а каким-то призрачным, как во время белых ночей в Ленинграде, а стены – различных оттенков голубого цвета, ясного, чистого, как краска голубец на одеяниях рублевских ангелов. И еще поразительной красоты резные детали – карнизы, балюстрады из белого камня, не обычного, а как бы светящегося изнутри. Я прохожу по этим анфиладам, что-то ищу, а что именно – не могу вспомнить. В залах сидят люди, безмолвные, сосредоточенные, они что-то чертят, эти люди одновременно и рядом со мной и не рядом, они отделены от меня чем-то непреодолимым, и нет им дела до моих поисков, а я все иду, иду...

Проснулся я в тоске, но она как-то сама собою исчезла, отошла от меня, а вот чувство радости от прикосновения к необычайной красоте осталось. Я попытался припомнить и по памяти нарисовать поразившие меня детали интерьера – и вспомнить не смог...

Но так хрупко-прекрасен был этот сон, что я не решился кому-либо рассказать о нем, а особенно – проницательному, мудрому толкователю снов Шаевичу; хотелось сохранить неприкосновенным все его очарование, и я промолчал.

Азбель

Странное дело... На память я никогда не жаловался — и вдруг провал. Долго не мог я вспомнить его фамилию, еврейскую, довольно короткую, и было там в начале не то «С», не то «Ш», не то «З». Самого-то его помню до последней морщинки на узеньком выпуклом лбу, а вот фамилия?.. Мучительно пытаюсь вспомнить: Шнабель? Сандлер? — нет, не то, «Р» точно не было... А может быть не «С», не «Ш», а «З». Зайдель? Зайпельт? — не то. Ломаю голову — и все попусту.. Нет, хватит, надо отложить, подождать — само всплывет. Стоп! «Л» в конце точно было! И всплыло — Ашбель, нет, что-то чуточку иначе — Асбель и вот, наконец — Азбель.

Был он среди нас самым маленьким, самым тихим и слабосильным. Называли его только по фамилии; имени, и тем более отчества, никто из нас не знал и не интересовался узнать.

Почти каждый в лагере инстинктивно стремился с кем-либо объединиться, обычно сбивались по двое, реже — втроем, вместе работали, готовили пищу, ели. Называлось это «колхоз». В одиночку держались лишь немногие суровые и сильные натуры да подонки, изгои, общения с которыми избегали.

Азбель отнюдь не был сильным, не был и подонком, однако неизменно держался обособленно, редко с кем заговаривал, казался очень робким. Его слегка дребезжавший тоненький голосок в бараке почти не слышали. За все время, прожитое рядом с Азбелем, я не перекинулся с ним и парой слов. Сам почти мальчишка, я неосознанно тянулся к людям сильным, решительным, в чем-то старался им подражать.

А тут был слабенький тонкокостный человечек с тонкими сухими руками, чаще безвольно опущенными вниз, а порой нервно перебиривший пальцами. Сухонькое высоколобое лицо,

обтянутое тонкой желтоватой кожей, только на скулах пятнами выступал болезненный румянец. И все же он запомнился мне на много, много лет, особенно его глаза — большие, карие, влажные и всегда печальные.

Однако доходягой в обычном смысле, неряшливым и опустившимся, этот хилый человечек не был. Старенькая, третьего срока лагерная одежка содержалась опрятной, была аккуратно залатана, тонкая шея как-то трогательно-жалко обернута ядовито-зеленым полушерстяным шарфиком, возможно единственным, что он сумел сохранить с воли. Этот шарфик Азбель носил в любое время года, в любую погоду, тщательно закрывая им шею и узкую впалую грудь.

Из-за слабосильности и постоянной отрешенности Азбеля не посылали на работы, где требовались хоть мало-мальская сила и сноровка. Даже дневальным его не решались ставить — где ему было таскать дрова для печи и тяжелые ведра с водой. Определяли его сторожем или на случайные работы, где-то прибрать, подмести, а больше был он без работы, на 600 граммах хлеба плюс скудный приварок. Никаких посылок с воли он не получал.

Было в Азбеле нечто вызывавшее острую жалость — такое чувство испытывают к безнадежно больным детям или зверькам. Жалели его многие, но помочь было нелегко — жили все трудно, почти впроголодь. Пожалуй, только Илья Любарский, молодой, деятельный начальник кирпичного завода, старался как-то поддержать кроткого печального человечка, пытался вызвать его на разговор и узнать о его прошлом. До какой-то степени это ему удалось.

До ареста Азбель жил в небольшом белорусском городке. Был он совершенно одинок, работал в какой-то маленькой конторе — тихое однообразное существование мелкого служащего, безропотного, законопослушного. Старательно выполнял Азбель свои несложные обязанности, исправно, даже охотно, не как другие сотрудники, ходил на все собрания. Сидел, слушал, аплодировал. На частых тогда демонстрациях носил плакатики с лозунгами или портреты вождей — это ему нравилось, он чувствовал себя значительным, праздничным, не как в обыденной жизни. Никогда он не роптал, всем был доволен.

Время было сложное, где-то в верхах шла ожесточенная борьба за власть, начинались процессы вредителей, врагов наро-

да. В газетах печатались статьи о вражеских происках, о злодейских замыслах, признания в чудовищных злодеяниях, все этому верили. Азбель продолжал корпеть в своей конторе, скромный, незаметный, старательный, подлинно – винтик.

Все более грозовой становилась обстановка – пошли новые процессы со смертными приговорами, на фасадах райкомов и райисполкомов водружались огромные плакаты – мощная рука в ежовой рукавице сжимала схваченную жалкую фигурку вредителя, заговорщика, врага и с нее заостренными кверху алыми каплями стекала кровь.

И вот тут какое-то большое, невыносимое, раздражающее душу чувство ужаса, возмущения, неприятия этой кровавой символики перевернуло темное сознание тихого исполнительного человечка, с истовой гордостью носившего на демонстрациях плакатики и портреты. Корявыми буквами выводит он на картонке слова: «Довольно крови! Помилование». Слабыми сухонькими ручонками с трудом приколачивает Азбель эту картонку к палке и выходит один на свою последнюю в жизни демонстрацию. Дальше – арест, тюрьма, следствие, приговор Особого совещания – пять лет лагерей.

Азбель не роптал, не жаловался на трудности, ни с кем не ссорился. А приходилось ему, несмотря на исключительную неприхотливость, ох как нелегко. Болезненный, на редкость непрактичный, он не способен был ни схитрить, ни при случае что-нибудь стащить, как это делали другие. Скучный лагерный паек для неработающего инвалида был его единственным достоянием, и постепенно Азбель слабел.

Однажды Азбель, обычно сторонившийся всякого начальства, неожиданно пришел к Илье Любарскому. Илья принял его приветливо.

– Что скажете, Азбель?

Тот, смущаясь, стал рассказывать, что в последнее время кто-то ежедневно его, Азбеля гипнотизирует.

– А кто именно? – спросил Илья.

– Не знаю.

– В чем же этот гипноз?

– Я каждый день очень хочу есть, ночью не сплю, только о еде и думаю, ночью не сплю, все думаю.

Илья улыбнулся. Если бы такое сказал кто другой, можно было предположить, что человек просто хитрит. Но Азбеля все хорошо знали, никакой хитрости и в помине не было у этого расстроенного заморыша, страдальчески недоуменно смотрели его большие карие глаза.

Илья быстро нашелся.

— Это, Азбель, вам просто кажется. Давайте подумаем вместе, кто может вас гипнотизировать?

— Соседи, — неуверенно выговорил Азбель.

— Ну, нет, — возразил Илья, — ведь кто у вас соседи по нарам? Справа — Соколов. Не может он гипнотизировать, глаза у него голубые, а гипнотизируют только с черными. А слева у вас Истомин, он коми, они о гипнозе и понятия не имеют. Нет, это вы, Абель, просто вообразили. Мы вот что сделаем: каждый день в обед и ужин после раздачи к Федору Константиновичу подойдете, он вам добавку будет давать, я ему скажу. Увидите — никакого гипноза здесь нет, все у вас пройдет.

После этого разговора Илья попросил нашего повара Федора Константиновича Шадричева, бывшего директора ярославской кондитерской фабрики, подкормить беднягу. Вскоре заметно окрепший Азбель на вопрос Ильи ответил, что все хорошо, больше никто его не гипнотизирует.

Однажды Илья, подходя к заводу, попал под проливной дождь. Пришлось прибавить шагу, чтобы добраться до укрытия. Внезапно он увидел сжавшуюся от холода и сырости, насквозь промокшую жалкую фигурку, беспомощно топтавшуюся на месте. Это был Азбель, поставленный здесь на какую-то работу. Невдалеке стоял заброшенный рубленый амбарчик, но чудак почему-то не пытался в нем укрыться.

— Азбель, что вы тут стоите, бегите к амбару, там дождь переждете.

— Не могу, это частная собственность.

— А мы ее нарушим, — отвечал Илья, насильно заталкивая Азбеля в амбар.

Разумеется, этот человек был не совсем здоров психически, и, пожалуй, самым существенным отклонением от нормы была его повышенная, прямо-таки болезненная совесть. Именно она привела Азбеля в лагерь и определила его судьбу.

Позднее душевное заболевание усилилось, Азбель становился все более отрешенным. На беду, его постоянный заступник Илья Любарский был освобожден и покинул Адак. И наступил день, когда прибывшая на лагпункт медицинская комиссия признала Азбеля и еще нескольких человек душевнобольными. Но их отнюдь не освободили, а отправили в какой-то психдом за пределами лагеря. Очевидно, там и окончил свои дни этот кроткий безответный человек.

Аферист и прокурор

Одной из самых легких работ на лагпункте считалось сжигание сучьев на лесоповале. Так случилось, что, угодив в лесозаготовительную бригаду прямо из стационара по совету доктора Неймана, полагавшего, что труд на свежем воздухе поправит мое здоровье, я к сжиганию сучьев приспособился и стал в своем роде специалистом.

Со сжигания сучьев я перешел на заготовку дров, освоился и норму выполнял исправно. Однако в жаркое лето 1939 года лесная инспекция наложила на администрацию лагпункта крупный штраф за неубранные лесосеки. Срочно собрали две бригады сучкожогов, в одной из них меня поставили бригадиром.

Северное лето короткое, лесосеки за несколько лет были захламлены, и я застрял на этой работе на всю зиму. В зимнее время уборка лесосек — работа даже приятная. Разожжешь костер, а дальше только подтаскивай к нему охапки сучьев или вершинки и любуйся ярким пламенем, рвущимся вверх в темное зимнее небо — дня в это время почитай что нет, стоит полярная ночь. Приятно, пристроившись у костра, поджарить насаженный на палочку кусок заранее сбереженного хлеба и съесть его тут же, у костра, теплый и хрустящий. Только надо быть всегда начеку, чтобы случайная искра не попала на стеганный ватный бушлат или на брюки — мигом прожжет, угнездится в вате, и не скоро потушишь.

Труднее сжигать сучья в летнее время: кругом все сухо, прошлогодняя трава сразу загорается, легко может возникнуть пожар. Того и жди — наживешь неприятность, а то и новый срок — навредил, дескать, и доказывай потом, что не нарочно. Летом у костра не посидишь.

В бригады по сжиганию сучьев обычно посылали людей пожилых и слабых, непригодных к более тяжелой работе, сюда же попадали заведомые лодыри, а также штрафники, которых зачастую приводили на развод прямо из штрафного изолятора. Этих, правда, бывало немного.

Однажды зимним утром в мою бригаду из штрафного изолятора, по-нашему «кондея», вохровец привел нового работника. Это был невысокий, довольно хрупкий на вид человек лет под тридцать, с сухошавым лицом интеллигентного склада. До этого никто его на лагпункте не видел, наверное, его только накануне сюда привезли. Мне сразу бросилось в глаза его обмундирование, необычное для лагерника и совершенно неподходящее для лесной работы, особенно на морозе. Незнакомец был одет во все гражданское, причем сшитое с известным шиком, хорошо пригнанное по фигуре. На голове красовалась новая пыжиковая шапка-ушанка. Таких щеголей в лагере я до тех пор не видывал. Всего более смутили меня изящные хромовые сапожки, на морозе в них не поработаешь.

Я тут же стал от него отказываться, ссылаясь на обувь. Однако охранник потребовал, чтобы я его забирал, и, что меня всего больше удивило, незнакомец сам заявил, что в изолятор не вернется, а пойдет работать. Делать было нечего, пришлось быстрым шагом добираться до лесосеки. Ладно, что она была недалеко, да и мороз был несильный.

В лесу я сам разжег костер и предложил новому члену нашей бригады сидеть в тепле и не отходя жечь костер. Для подноски сучьев я прикомандировал к нему Днепрову, работника ахового, его мне тоже навязали.

Григорий Михайлович Днепров был на Адаке по-своему примечательной фигурой. До ареста он работал прокурором Бауманского района Москвы, перед этим побывал в Германии юрисконсультулом нашего торгпредства. Было ему за пятьдесят. Невысокого роста, с красивым лицом, очень аккуратный, по-своему неглупый, Днепров при первом знакомстве производил хорошее впечатление. Однако под респектабельной внешностью таился черствый карьерист, к тому же трус и перестраховщик.

В условиях лагеря довольно быстро раскрывалась истинная сущность человека, и первой, как бы лакмусовой бумажкой, по

моим наблюдениям, неизменно оказывалось отношение к труду, особенно к труду физическому. Страх перед трудом подталкивал людей к различным проявлениям подлости, вплоть до стукачества.

Днепров отнюдь не был прямым подлецом, однако физического труда боялся как черт ладана. Долгое время ему не удавалось хоть как-нибудь пристроиться — осужденных по 58-й статье, как правило, на привилегированные должности не допускали. Такое положение на Адаке сохранялось до появления нового начальника, эстонца Раммо. Именно он начал ставить на эти должности людей из политических, правда, осторожно и с разбором.

Почуввав новые веяния, зашевелились охотники для начальственных постов, и одним из первых объявился Днепров. Не мешкая, он подал на имя начальника лагпункта заявление с просьбой использовать его, бывшего старого члена партии, имеющего большой опыт работы в прокуратуре, в качестве конторского работника или снабженца. Раммо, прочитав это заявление, наложил резолюцию: «Смирнову. Рассмотреть возможность использования». Днепров возликовал, но, как оказалось, преждевременно. Начальник снабжения Смирнов был матерым рецидивистом, умело использовавшим тогдашний бум по перевоспитанию уголовников в своих целях. Занимая должность по снабжению — одну из главных на лагпункте, — он ничем не уронил себя в глазах уголовной братии и ни на йоту не отрекся от законов рецидива.

Получив заявление Днепрову с резолюцией начальника, Смирнов, не колеблясь, начертил на ней: «Бывшим прокурорам в лагере место только на общих работах». Днепров, как говорится, взвыл и бросился к Раммо, тот, хотя и сделал Смирнову внушение, все же навязывать ему Днепрову не стал. Так бывший прокурор остался на общих работах и попал ко мне в бригаду.

Я решил, что они с новичком поладят, как-никак оба люди интеллигентные, подсказал им, что и как делать и оставил их вдвоем у костра. Бригада была большая, надо было всех расставить по местам, кое-кому и помочь, так что на участок к этой паре я попал нескоро. А когда попал, сразу заметил какую-то непонятную перемену в их взаимоотношениях. Уходя, я оставил их мирно копошившимися у костра, казалось, что они мо-

гут отлично сработаться. Но теперь я увидел, что новенький, сидя у костра и подкладывая в него сучья, усиленно подгоняет Днепрва довольно ехидными репликами, а тот с запуганным видом непривычно торопливо подтаскивает к костру охапки сучьев. Такая старательность, совершенно ему несвойственная, меня удивила, но вникать в их взаимоотношения мне было некогда.

Когда рабочий день окончился, я повел бригаду на лагпункт ускоренным шагом — все опасался, как бы этот щеголь ноги не обморозил. Как будто обошлось: пока шли, я все спрашивал его, как ноги, он в ответ озорно улыбался — терпимо.

Вечером ко мне в барак неожиданно заявился один из урок, который раньше со мной не заговаривал. В необычно мягкой манере он сказал, что меня просит зайти в соседний барак Илюшка-Парикмахер. Сперва я не понял, о ком речь, но посланец подсказал: «Он у тебя сегодня работал». Признаться, я подумал, что этот тип зря форсил, наверное, все-таки поморозил ноги, оделся и поспешил в соседний барак. Там, окруженный почтительной компанией из наших лагпунктовских уголовников, сидел на нарах мой щеголь. Он был уже не в сапожках, а в новеньких белых шерстяных носках, такой же элегантный и интеллигентный с виду. Встретил он меня с радушием гостеприимного хозяина, на вопрос, как ноги, с улыбкой ответил, что все в порядке. Тут же он пригласил меня к угощению — на нарах были разложены деликатесы, которых мы в лагере не видали, и тем более не едали.

Завязался разговор, впрочем, это был скорее монолог моего нового знакомого. Выяснилось, что он известный аферист Илья Штейнберг по кличке Илюшка-Парикмахер. С некоторой гордостью он сообщил мне, что приходится родным племянником известному аграрному деятелю Штейнбергу, создателю крупнейшего в Союзе совхоза «Гигант» на Северном Кавказе, к тому времени уже покойному. Попутно объяснилась причина странного поведения Днепрва на лесосеке.

Бывший прокурор, обманутый интеллигентным видом напарника, вздумал поведать ему свои обиды: как несправедливо, что его, пожилого и заслуженного, бывшего прокурора, держат на общих работах. Глупее поступить было трудно. Истый представитель уголовной элиты, Илюшка-Парикмахер сразу дал

понять, кто он и как относится к прокурорам и иже с ними. Запугав Днепрова до полусмерти, он целый день гонял напарника и в хвост и в гриву. Это происшествие с лихвой окупило в глазах Илюшки-Парикмахера неприятные ощущения от ознобленных ног. Довольный, он с веселой усмешкой похвалялся, что хоть один день смог, как он выразился, научить легавого прокурора свободу любить.

Был он по-прежнему подчеркнуто вежлив и обаятелен, сыпал шутками, в разговоре за исключением слова «легавый» ни разу не употребил ничего жаргонного. Наши урки слушали его почти с благоговением, им явно нравилось, как их собрат изъясняется «по-интеллигентному», так что даже прокурор не сумел его раскусить.

Больше ни на какие работы Илюшка-Парикмахер не выходил, да его никто и не тревожил. Ко мне он сохранил искреннее расположение, как он выразился, за человеческое отношение — эти люди подчас очень памятьливы как на хорошее, так и на дурное. Я не решился спросить его: откуда его прозвище — то ли он где-либо в лагере подвизался в роли парикмахера, то ли это было данью его парикмахерской вежливости.

В лагере такие крупные дельцы, как этот Илья, обычно держат фасон, сами никого не обижают. Профессиональный престиж в уголовной среде, а нередко и незаурядное мастерство в различных азартных играх позволяют им получать всяческие возможные в лагере блага не марая рук.

Впрочем, Илюшка-Парикмахер пробыл у нас недолго, вскоре его куда-то отправили. А вот Днепров, к сожалению, остался и постепенно сделал на Адаке карьеру: сперва пролез в дневальные и сумел очаровать начальство, сооружая перед бараками никому не нужные газоны с бордюром из кирпичей. Старание было замечено — его сделали начальником кирпичного завода, где он заслужил ненависть своим занудством.

Связной самого Копейкина

Еще до звонка на подъем каждое утро в нашей 25-й камере Бутырской тюрьмы обычно начиналось с рассказов об увиденных снах. Сны видели почти все – снились лес, поля, речки, но чаще всего почему-то – церковь. Большинство сидевших в камере были люди образованные, убежденные атеисты, многие – члены партии, но эти сны упорно пытались как-то истолковать. Особенно занимал всех вопрос: к чему снится церковь? Наши эрудиты доказывали – к освобождению. Много позже я узнал – к терпению...

Сам я ни разу снов не видел, очевидно, сказала молодость: в камере я был из самых младших. Слушая рассказы наших сновидцев, я грешным делом считал, что большинство снов просто выдуманно, чтобы как-то уйти от тоски и мрачных мыслей. Самые глупые сны видел Родионов, его рассказы всем давно уже надоели до чертиков – одни бабы, сплошная похабщина, все это бестолково, сумбурно и бездарно до омерзения.

Впрочем, много от Родионова никто и не ожидал, все в камере твердо сошлись на том, что он непроходимо глуп. Стоило только посмотреть на его голову, круглую, как бильярдный шар. Эту круглую голову подчеркивали стрижка наголо, небольшие, плотно прижатые к черепу уши, округлые щеки с румянцем. Неопределенного цвета глаза-гляделки при общем бойком выражении казались бессмысленными, как у щенка. Говорил он много и путано, но по-своему примечательно – все части речи, кроме разве союзов, имели матерную основу.

До ареста Родионов работал монтером на заводе. Однажды попал он в пьяную компанию, большинство собутыльников были ему даже незнакомы. В этой пьянке роль его была самая

подчиненная — обычный удел таких личностей в подобной среде: он бегал в ближайший магазин докупать водку.

Про всю эту историю Родионов рассказывал настолько бессвязно, что толком что-либо понять никому из нас так и не удалось. Выходило, что по возвращении из магазина он спьяну наплел какую-то ерунду, какую именно — сам не помнит. В компании оказалась незнакомая ему женщина, «партейная», она-то и донесла на Родионова как на связного троцкистского центра. Женщину эту он костил самыми последними словами и все твердил, что ничего плохого ей не говорил, «только за маркаташки хватал». Но он ведь не знал тогда, что она (далее следовал букет ругательств) «партейная».

Еще занудно твердил он про какого-то Копейкина, мол, баба эта, мать ее растак, показывает, что он, Родионов, от Копейкина связным ходил.

— Я, — бубнил Родионов, — Копейкина этого, гребни его мать, и не знал, не видел его никогда, а она, сука, б... позорная, одно показывает, что я у него, Копейкина, главный... ну не комиссар, а похоже...

— Эмиссар, — догадался кто-то из нас.

— Ну, да, эмиссар, так и следователь говорил, только я Копейкина распотребного знать не знаю!

Многим из сидевших в камере следователи вменяли в вину мифические связи с «врагами народа», так что рассказанное никого не удивляло. У Родионова какой-то там Копейкин, у других — неподходящие знакомые с иными фамилиями — обычная история. Позубоскалили только — какой такой из себя этот Копейкин, не одноногий ли, как гоголевский герой. На это Родионов на полном серьезе с негодованием огрызнулся: никакого, растуды его мать, Копейкина, он, Родионов, не знает и Гоголя... тра-та-та-та-та — тоже.

Кроме Родионова в камере были еще двое, угодивших по пьянке в разряд врагов народа. Дело Родионова казалось сложнее, ему, как-никак, вменяли в вину участие в некоей организации. По сравнению с этим дела Мотина и Кленкина по здешним меркам считались пустяковыми.

Немолодой желчный слесарь Мотин, горький пьяница, уже давно дошел до потребления денатурата, политуры и всякой дряни — на водку денег не хватало. Старожилы камеры

рассказывали, что пришел он сюда истощенным, почерневшим от запоя, с обострением язвы желудка. Тюрьма пошла ему на пользу – Мотин посвежел и побелел. Попался он на том, что в пьяном виде ругательски ругал окопавшихся в правительстве жидов, особенно «главного жида Орджеконидзе». Мрачный и недоверчивый, он с подозрительностью отнесся к разъяснению, что «Орджеконидзе» не «жид», а грузин, и его уже нет в живых. Однажды майор генштаба Фадеев прочел нам интересную лекцию о поэзии Пушкина, приводил на память многие его стихи. Обычно молчаливый Мотин вдруг зашевелился и с волнением спросил:

– За что же меня посадили, ведь сам Пушкин писал «жид»?

Кажется, только это дошло до его сознания из пушкинской поэзии.

Столяр Кленкин был добродушный улыбчивый мужичок лет тридцати пяти. Его вина казалась нам посерьезней: в пьяном виде, стоя на четвереньках в бараке, где он проживал с семьей, Кленкин помянул мать Иосифа Виссарионовича. Посадили...

Скучая от однообразия тюремной жизни, мы старались как-то рассеяться. Вот и возникла идея – устроить показательный суд. Затея всем понравилась. Посоветовались и решили – судим Кленкина. Дело ясное, не групповое, все факты, как говорится, налицо – самый подходящий случай. Избрали судей, прокурора, защитника. Одним из членов суда оказался я, прокурором избрали пожилого солидного Степанова, защитником – майора Фадеева.

Судили по всей форме. Доставленный «под конвоем» Кленкин по наущению «защитника» каялся, говорил о своем уважении и любви к вождю народов, ссылался на опьянение, обещал больше не пить и закончил слезной просьбой о снисхождении. Ту же линию гнул и «защитник». Однако неожиданно увлекшийся ролью «прокурор» Степанов камня на камне не оставил от всех этих доводов. Пользуясь простой, но железной формулой «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», он призвал судей не доверять мнимому раскаянию, покаянные речи Кленкина назвал «крокодиловыми слезами» и в заключение потребовал для него трех лет лагерей.

Мы, судьи, посоветовавшись, дали год условно «за политическое хулиганство», чтобы не расстраивать мужика. Все разошлись, довольные спектаклем, но «защитник» Фадеев, задержав меня за рукав, огорченно шепнул:

— А ведь знаешь, законопатят Кленкина, и даже не на три года. Максим Петрович как гвозди вбил, по логике так и подведут.

По прошествии некоторого времени нашего Родионова вызвали на допрос. Отсутствовал он долго, вернулся в камеру взъерошенный и возбужденный. Оказалось, что возили его на очную ставку с «партийной» доносчицей. Передать рассказанную Родионовым сцену этой очной ставки я, увы, почти бессилен — никакая печать такой словесности не выдержит.

— Она, б..., сука окаянная, одно, ...мать ее... твердит — я, дескать, связной этого Копейкина гребаного, мать его... и топтит меня... Я ей, б... в лицо говорю: «Что ты курва позорная, меня, гадина, топишь, какой-то Копейкин, мать его, я его видеть не видел и знать не знаю». А она, гадюка б... этакая, одно, бесстыжая, твердит: «Ты из магазина с водкой пришел и сам мне это говорил», про Копейкина, значит. Я ей прямо-честно в лицо: «Ни про какого Копейкина я тебе, б..., не говорил, за титьки верно, хватал, и только, за что ты б..., сука, на меня наговариваешь напрасно». Она, мать ее перемать — в рев, кричит следователю: «Он, — я то есть, — меня оскорбляет!» Следователь мне: «Прекратите, Родионов, оскорблять свидетельницу, иначе я вас вместо допроса в камеру отправлю». Я ему: «Как же, гражданин следователь, мне с ней, б..., разговаривать, если она на меня брешет нахально. Никакого Копейкина я не знаю, ни в чем не виноват, признаю, что я ее за титьки хватал, так ведь спьяну, и не знал я тогда, что она партийная. И не стыдно тебе, меня губить, сука, б... бесстыжая, без всякой моей вины!» Баба еще пуще в рев, обидели ее! Следователь ей воду в стакане сует, а со мной так: позвонил, входит попка: «Уведите Родионова». Но я ей, б..., потаскухе, гниде гребаной, все как есть выложил, какая она тварь!

Посмеялись мы над его рассказом, но сам Родионов не смеялся. Сморщив низкий лоб, он напряженно вдумывался:

— Понимаешь, прицепился ко мне следователь, одно и то же долбит: «Признавайся, что ты связной Копейкина!» Что это

за Копейкин такой? Ума не приложу. С первого дня только о нем и допрашивает – сознавайся, и все!

– А ты припомни, – предложил кто-то из нас, – может, у тебя на заводе такой работает?

– Какой там завод, – взвился Родионов, – он, мать его перемать, главный подручный при Троцком, а ты – на заводе!

Тут Фадеева осенило:

– Может, Пятаков?

– Вот-вот, – обрадованно подхватил Родионов, – он самый, мать его... Только я его и в глаза не видел! Все баба эта! Ведь откуда я мог знать, что она, б..., – партийная!

А ведь верно – откуда?..

Оч-чень мало

Не знаю, дар ли это особый или удача – сказать в своей среде не то чтобы все слова (это удел и предназначение гения), но то слово или слова, которые в этой среде уже вызрели, требуют своего выражения. Просятся на язык – и так до того момента, когда кому-то одному это будет дано. И далеко не всегда этот один, высказавший вслух общее для всех, уже давно выстраданное слово, самый умный и прозорливый. Нередко этот дар нисходит на людей простых, наивных, иногда даже в чем-то ущербных – обо всем этом проникновенно говорится в писании.

Человек, о котором я хочу рассказать, появился среди нас, заключенных инвалидного лагпункта Адак, летом тридцать восьмого года. Адак не был обычным лагерным подразделением, каких множество возникало в те годы по всему свету. С самого начала ему была уготована роль сборного пункта для физически и умственно неполноценных людей, которых свозили сюда со всего бескрайнего Воркут-Печорского лагеря. Кого тут только не было: и инвалиды с детства (таких было сравнительно немного), и люди, надорванные непосильным трудом на лесозаготовках или на строительстве Воркутинской железной дороги, искалеченные при обвалах на угольных шахтах Воркуты, и инвалиды Гражданской войны. Немало было и душевнобольных, по-здешнему «чудиков» и «психов».

Народ собрался разный: бывшие члены партии и беспартийные, попадались и анархисты, сидевшие еще с 20-х годов; по роду прошлых занятий – рабочие, интеллигенты, колхозники, военные. Были здесь и беспаспортные бродяги, и люди без определенных занятий, осужденные тройками с формулировками СОЭ и СВЭ – социально-опасный и социально-вредный

элемент. Попадались и профессиональные преступники — «рецидив». Были здесь люди высокообразованные и вовсе необразованные, подчас неграмотные, собранные со всех концов страны, люди всяких наций, таких даже, про которые многие и слыхом не слыхали — уйгуры, дунгане, курды, был ассириец и даже нанаяц с Дальнего Востока. Попадались иностранцы, в большинстве коммунисты — немцы, австрийцы, поляки, болгары, греки.

Большинство работали — заготавливали дрова, возили на себе эти дрова из леса, убирали лесосеки, плели лапти из бересты — все это в порядке самообслуживания. На отшибе от головного лагпункта, в двух километрах выше по течению реки Усы работал кустарный кирпичный заводик. Совсем слабые от работы освобождались и целые дни проводили в огромном перенаселенном бараке, специально отведенном для неработающих, иначе — доходяг или «огоньков». Разный был здесь народ, и прошлые жизни были у всех разные, здесь же судьба у всех одна — лагерь.

Но лагерь каждый воспринимал по-своему. Большинство безучастно покорствовало, многие терзались вопросами: «за что?», «почему?», «как это все могло произойти?».

Более стойкие замыкались в неистребимой ненависти и отрицании породившей лагеря системы, которую они никак не могли признать социализмом. Были, хотя и в небольшом числе, доносчики — «стукачи», «лагерные патриоты» — их, в общем, все знали, ненавидели, презирали, да и боялись — и не зря.

Несмотря на все эти различия, одно чувство владело этими людьми — чувство голода от постоянного недоедания. Кормили плохо и однообразно: жидкая баланда из протухшей квашеной капусты, каша-размазня из крупы с добавлением репы, соленая треска, полуразложившаяся, часто с червями. На таком питании люди постепенно истощались, особенно тяжело приходилось рослым, мощного сложения мужчинам — такие ослабевали и погибали раньше других. От чувства голода были свободны лишь немногие, пристроившиеся поближе к продуктам — работники на кухне и в каптерке.

Однажды в летний день, окончив работу, я брел к себе в барак. Навстречу попался сосед по нарам, не выходявший на работу по болезни.

— А у нас новость — этап прибыл... Маленький, человек семь всего — чудики. Один уж очень забавный: молодой парень, ходит с консервной банкой на веревочке, вместо котелка она у него, и всё эту банку в воздухе крутит — умора!

В однообразной жизни лагпункта в глухомани, у самого Полярного круга, появление новых людей — событие. Впрочем, увидев новичков в обед у кухонной раздатки, мы разочаровались: обычные доходяги, безучастные, истощенные, таких здесь и без них хоть пруд пруди. Пришли они к раздатке все вместе, аттестат им был выдан общий на всех.

Только один из этой группы заметно выделялся — высокий, молодой, хорошо сложенный парень, одетый в обмундирование второго срока, но чистое, ухоженное. Голенастый, в аккуратно завернутых обмотках, с небольшой коротко остриженной головой на длинной шее, он очень напоминал страуса. Особенно подчеркивала это сходство своеобразная посадка носа. Из-под густых темных ресниц открыто глядели ясные серо-голубые глаза, лицо покрывал ровный румянец.

Движения у парня были быстрые, и выглядел он крепким, заметно выделяясь среди вялых, истощенных обитателей Адака.

В руке у него была подвешенная на веревке высокая и узкая консервная банка, граммов этак на восемьсот, ее он энергично вращал по кругу. Как ни беден бывал подчас лагерник, каждый здесь первым делом обзаводился котелком, миской и ложкой, предметами первой необходимости в нехитром лагерном обиходе. Парень с единственной посудиною в виде банки на веревочке, к тому же вращающий ее, казался по здешним понятиям существом крайне легкомысленным, чуть ли не безнравственным.

У раздатки, как обычно, выстроилась порядочная очередь. Каждый, получив половник баланды в котелок и порцию каши в миску, молча отходил в сторону, лишь немногие пытались спорить, если баланда, попавшая в черпак повара, казалась уж совсем жидкой. Наконец дошла очередь и до голенастого парня. Повар плеснул ему в банку баланду и туда же, за неимением миски, шлепнул и черпачок каши.

И тут, не отходя от окошка, парень чистым звонким голосом с легким заиканием огорченно воскликнул: «Оч-чень мало!» Два эти слова настолько точно соответствовали чувствам

каждого из стоявших в очереди, что все как-то встрепенулись. Кто улыбнулся, кто хмыкнул, но за душу задело и понравилось всем без исключения. И уже на следующее утро у раздатки многие, получив в миску крошечный половник жидкой каши, отходили от окошка с возгласом: «Очень мало!» Так и пошло. Самые серьезные потом укоряли остальных — дескать, что вы привязались к слову, повторяете как попугай, да и кто сказал — чудик какой-то. Но их не очень слушались, словцо это прижилось и долгое время оставалось на устах, а к парню пристало как прозвище.

Хотя все на лагпункте обращались друг к другу по фамилии, реже по имени-отчеству, парня этого, Федю Авдиевича, иначе не называли, как «Федя-очень-мало» или даже попросту «Очень-мало». Как я заметил, такое прозвище ему даже нравилось.

За короткое время Федя у нас освоился. Характер у него оказался легкий, незлобивый. Не только внешностью напоминал Федя экзотическую птицу африканской пустыни — и аппетит у него был поистине страусиный. Его сразу же определили в бригаду по заготовке дров. На этой работе обычно трудились попарно, но Федя наотрез отказался с кем-либо объединяться и стал работать в одиночку.

Молодой и сильный, к тому же трудолюбивый, он играючи выполнял свою норму. Как-то очень скоро он пристроился помогать на кухне после основной работы. Там Федя колот и подтаскивал к печи дрова, за что получал дополнительные порции баланды и каши. Вскоре консервная банка была заменена объемистым котелком, появилась и миска. Вся посуда содержалась в безукоризненной чистоте.

В бараке Федя оказался моим соседом по нарам, и вскоре у нас с ним установились наилучшие отношения. Впрочем, и все относились к нему доброжелательно, тем более что в бараке он был самым молодым. Обычно Федя был приветлив и спокоен, если не считать некоторых «пунктиков», на которых он, как говорится, «заводился». Довольно быстро я приобрел его полное доверие и узнал о его жизни до лагеря.

Родился и вырос Федя в небольшом белорусском городке. Отец его, очевидно, обманул и бросил мать, Федю она растила одна. Судя по его рассказам, была она очень честной, по-своему гордой, глубоко верующей. Жили они в нужде, мать зараба-

тивала на жизнь стиркой и уборкой помещений. Когда она, надорванная нуждой и работой, умерла, сыну было всего шестнадцать. Мать имела на него огромное влияние, ее религиозное воспитание оказало решающее воздействие, сформировало характер цельный и нравственно чистый.

Как бы тяжело ему ни приходилось, заветы матери Федя соблюдал неуклонно.

— М-м-ама, — говорил он с характерным легким заиканием, — меня учила: проси, но никогда не воруй. Стыдно в-воровать, а п-просить не стыдно.

Он как-то зарабатывал себе на жизнь, когда не удавалось — просил подавание, но никогда ничего чужого не брал.

И вот такой на редкость честный трудолюбивый и безобидный парень, только за то, что не имел постоянной работы, был брошен на три года в лагеря как социально вредный элемент — СВЭ. Срок был по нашим меркам мизерный, и Федя нисколько им не тяготился. Более того, лагерь оказался для него неожиданной передышкой после неприкаянной жизни без определенно-го угла и куска хлеба.

На инвалидном лагпункте среди интеллигентных людей, каких здесь было немало, он не чувствовал себя униженным, его по-своему любили, а среди наших религиозников, особенно среди женщин, у него нашлись единомышленники и заботливые друзья. Женщины охотно обстирывали его, чинили одежду, Федя в свою очередь тоже всячески им помогал, таскал в барак дрова и воду.

В нашем бараке он жил, в общем, мирно, но случались и конфликты. Федя не терпел матерной брани, а она, как зараза, крепко привилась в лагерной среде. Доброжелательный и миролюбивый, он был твердо убежден, что в нравственном отношении стоит выше любого из нас. Теперь, спустя много лет, я думаю, что в этом он был недалек от истины.

Такое убеждение приводило его к мысли, что он, Федя Авдиевич, не случайно попал в лагерь, а самим Провидением избран нас учить и воспитывать. Однако когда он брался исполнять это свое предназначение, кое-кто пытался давать отпор, иногда не совсем тактично. Но это Федю не останавливало, он твердо стоял на своем, а обиды как верующий христианин старался переносить с кротостью.

Наступили первые теплые деньки, солнце, почти не заходя за горизонт, ярко светило. Снег бурно таял, и сразу же зазеленела трава на расползавшихся проталинах. Мы с Вениамином Флегонтовичем Романовым выбрались из стационара и устроились на толстых плахах, вытасненных с немалыми усилиями из поленницы. В этот день Федя колот дрова для стационара. Сбросив телогрейку, в одной легкой рубашке, он легко расправлялся с самыми суковатыми кряжами. Намахавшись вдосталь, он решил отдохнуть и присел к нам. Как-то очень быстро наш разговор перешел на скверные лагерные нравы и безуспешную Федину борьбу с ними.

Федя твердил, что все люди на Адаке грешны, но не признают этого, исправляться не спешат, его, Федю, слушают плохо, а то и вовсе высмеивают за поучения. Но он от своего долга не отступится, потому что сознает свою миссию — перевоспитывать всех нас.

Мы попробовали его переубедить. Романова, человека исключительно умного, твердого в своих убеждениях и вместе с тем терпимого и тактичного, уважали за порядочность, ясный ум и прежде всего за огромные энциклопедические познания. Уважал его и Федя, но в споре отнюдь не отступал. Забавная получалась дискуссия.

— Подумай, Федя, — спокойно и рассудительно убеждал Романов, — ты, конечно, человек хороший, но почему все-таки ты считаешь себя вправе учить и воспитывать всех, в том числе и людей много старше тебя, с большим жизненным опытом?

— Но ведь здесь все грешат: кто не работает, кто хоть и работает, живет с женщинами... воруют, ругаются... Как же мне их не учить?

— Ну, вот Виктор, — начал доказывать Романов, кивнув на меня, — он ведь работает, не ворует, с женщинами не живет. Чем же ты, Федя, лучше его?

— А вот все же лучше, — с легкой лукавинкой уверенно отвечал Федя, — Виктор, верно, работает, не ворует, с женщинами не живет, но вот матом ругается.

Да, такое бывало, к мату привыкли все, и даже самые смиренные, интеллигентные люди подчас срывались, поддаваясь всеобщему поветрию, если не на мат, то как-нибудь иначе отводя душу.

Потерпев поражение, Вениамин Флегонтович неторопливо и обстоятельно попытался переубедить Федю:

— Ну ладно, положим, здесь ты прав — бывает, ругается Виктор, но вот Нелюбин — он и работает, и с женщинами не живет, и уж конечно не ворует и не ругается, — говорил Романов, а я, довольный, улыбался.

Ход был удачный и, казалось, особо убедительный для Феде: Нелюбин, бывший священник, не старый еще человек, спокойный, культурный, глубоко верующий, пользовался всеобщим уважением. Федя и сам нередко захаживал к нему побеседовать. Но и тут в споре с Романовым Федя по-своему убедительно опроверг его доводы:

— Да, Нелюбин хороший человек, не ругается, не ворует, конечно, но ведь он курит, значит в чем-то я лучше его и могу его учить.

— Ладно, Федя, — спокойно отвечал Романов, — Нелюбин и правда курит, хотя, по-моему, это грех небольшой. Но вот тогда я — и не ворую, и в остальном не грешу, и не курю даже, вдобавок я еще и старше тебя, и в жизни видел и испытал больше. Почему же ты можешь и должен меня перевоспитывать?

— А все-таки я внутренне чувствую, что я лучше даже вас и все равно должен вас учить и воспитывать, — убежденно ответил Федя.

Флегонтыч только улыбнулся и не стал укорять Федю за неподобающую христианину гордыню; тем их спор и закончился.

Другим «пунктиком» Феде было глубокое убеждение, что все на Адаке жирные, а он, Федя, — постный. Это свое постное состояние он ставил себе в великую заслугу. В бараке нам докучали клопы. Тщетно наши санитары морили их какой-то мерзко пахнущей жидкостью «клопомором» — всегда какая-то часть клопов выживала, и количество их быстро восстанавливалось. По ночам мы нередко пробуждались от укусов, которые жгли, как крапива, а по утрам, не выспавшись, проклинали зловредных насекомых на все лады.

Тут-то и выступал Федя.

— А я так спал хорошо, — безапелляционно заявлял он, — меня ни один клоп не кусает, а все потому, что вы жирные, а я постный, вы грешные, а я безгрешный. Вот станете жить пра-

ведно, не воровать, не ругаться, не развратничать — они и вас кусать не станут.

Секрет был прост — наработавшись в лесу и на кухне и плотно поужинав, Федя все ночи спал крепким молодым сном, и никакие клопы не в силах были ему помешать. И смеялись над ним, и подшучивали — все было бесполезно, чудака упорно стоял на своем.

Лишь один раз видел я Федю разгневанным, разъяренным до крайности. Один из обитателей барака, человек тупой и недобрый, в ответ на обычные Федины поучения попрекнул его незаконным рождением, а мать назвал гулящей. Обычно ровный в обращении, Федя густо покраснел, рванулся к месту, где у дневального хранился топор, и мгновенно схватил его. С трудом удалось успокоить парня, больше всего подействовало единокорное осуждение обидчика всеми, кто был в бараке.

Срок Феде близился к концу, и он заволновался. Почти все мы мечтали об освобождении, считали месяцы, дни — но только не Федя. На воле у него не было ни близких людей, ни крыши над головой, а здесь, на Адаке, все относились к нему хорошо, никто его не гнал, не преследовал. У него был угол в бараке и обеспеченный кусок хлеба, и о завтрашнем дне думать не приходилось.

— И ч-что я б-буду делать на воле, — тревожился Федя, — оп-пять жить негде, и б-будут меня гнать. А здесь я живу чисто, р-раб-бота нетрудная, люди хор-рошие, к-кушать хоть и оч-чень мало (тут Федя лукаво улыбался) — а все же к-каждый день дают...

И не один он так думал. Чудесный старик дядя Костя Иванов, старинный москвич, певун и мечтатель, на воле механик-виртуоз и голубятник, чемпион Москвы по сизым турманам, почти слово в слово повторял рассуждения Феде. И его, уже старого и слабосильного, воля страшила: в Москву его, конечно, не пустят, а в чужом городе одинокому старику пришлось бы труднее, чем в лагере. Для ослабевших одиноких людей лагерь с его раз навсегда установленным распорядком подчас казался менее страшным, чем жизнь на воле — в «Большом лагере», как у нас выражались.

Федя освободился летом. Мы простились с ним на берегу Усы, где его ждала шняга, чтобы отвезти на пристань в Адзью.

Больше о его судьбе я ничего не знаю, вскоре началась война, и если даже он кому из нас и написал, письма не дошли – права переписки нас лишили. Вспоминаю Федю всегда с тревогой за его дальнейшую судьбу в суровых условиях военных лет – с оружием в руках ввиду религиозных убеждений представить себе его не могу, а отказ от оружия в те годы мог для него иметь самые тяжелые последствия.

Так и остался в моей памяти: долговязый, с небольшим узелком в руке, растерянно уходящий по трапу перед отбытием в неведомое будущее.

Мой друг Сапсай

Господи, какими же наивными мы были тогда, летом тридцать седьмого года! В душной, битком набитой пересыльной камере Бутырской тюрьмы, уже пережившие страшное потрясение после приговоров Особого совещания, все чуть ли не мечтали попасть в лагерь. Там, дескать, будем работать, добиваться отмены приговоров, зарабатывать зачеты... Любой труд казался легче, чем сидение в опостылевших камерах.

Нас не страшил труд, все мы в предыдущей жизни трудились, и неплохо. Но никто из нас и помыслить не мог, что труд этот может быть непосильным, по 12–14 часов в день, на морозе или под дождем, без выходных дней, без постелей, без бани. Труд вечно голодных людей, поедаемых комарами, гнусом, нательными насекомыми, которые порой просто загрызали нас. К тому же вечный страх перед доносами и новым сроком. Что касается зачетов, то нам, политическим, они не полагались — сиди от звонка до звонка.

И еще не последнее в этом круге мучений — постоянное издевательство уголовников, хищных, по-своему хорошо организованных, натравливаемых лагерным начальством. Там, где уголовники оказывались в большинстве, они буквально терроризировали политических, там же, где их было поменьше, пако-стили исподтишка, воровали все что могли.

Никак не мог я тогда предположить, что именно из этой среды у меня появится близкий человек. Если бы мне это попытались предсказать, я саму такую возможность отверг бы с возмущением.

Однако жизнь сложнее и неожиданнее, чем нам порою кажется, — такой человек встретился на моем пути, и был он

отнодь не случайной фигурой в среде преступного мира, но настоящим рецидивистом, смелым и дерзким, вовсе не стыдящимся своих дел.

В отличие от центрального лагпункта на кирпичном заводе не было зоны, а из охраны проживал лишь немолодой стрелок Янгаев, человек спокойный и терпимый. Нас он нисколько не притеснял, справедливо полагая, что никуда мы отсюда не денемся. Работа на заводе была потяжелее, чем в самом Адаке, но спокойная обстановка, а главное, отсутствие зоны делали пребывание здесь более привлекательным.

Однако после освобождения Ильи Любарского новый начальник завода не смог отделаться от уголовников; неожиданно к нам прислали троих, и были это не какие-то рядовые «сынки», а настоящие рецидивисты. Ясно, что прибытие их мы встретили настороженно. Поселили их в нашем верхнем бараке. Держались они вместе, подчеркнуто отделяясь от нас, впрочем, вели себя спокойно, никого не задевали. Работали все трое на лесоповале отдельной группой.

Были они все разные, но по-своему примечательные. Старший по возрасту, Михаил Семенников, по кличке Карзубый, то есть шербатый, был сухощавый, немногословный человек лет под сорок, по типу напоминавший цыгана. Самый младший, Федя, совсем еще молодой парнишка, сильно картавил. Бросалась в глаза его искалеченная левая рука, кисть была отрублена наискось, сохранились лишь два пальца, большой и указательный. Позднее я узнал, что руку порубил он сам в лагере на Соловках.

Заметно выделялся третий из этой компании, которого на поверках выкликали как Сапсая-Сидорова. Коренастый, среднего роста, коротко остриженный, он казался дерзким и энергичным, с начальством держался смело, даже вызывающе. Было ему лет под тридцать. Грубоватые черты лица с крупными чувственными губами и яркие, слегка навывкате карие глаза не делали его физиономию отталкивающей, однако было в его облике нечто агрессивно-напряженное, какая-то каинова печать, по которой искушенные лагерники безошибочно определяют рецидивистов.

В отличие от большинства встреченных мною уголовников, со взглядом бегающим и одновременно наглым, Сапсай всегда

смотрел прямо в глаза, в его облике не было ничего низменного, отталкивающего, но печать все же была.

С ним, как и со всей их компанией, я не сталкивался, словом не перемолвился. Так прошло недели две или три. Убедившись, что новые обитатели барака стараются нас не задевать и ведут себя мирно, я утратил к ним всякий интерес.

После отбоя почти все укладывались спать. Дневальный умерял свет фонарей «летучая мышь», повешенных в противоположных концах барака. Вскоре в бараке становилось совсем тихо. Слышны были только дыхание спящих, иногда чей-то храп да тихие разговоры немногих присевших у стола. Затем затихали и эти разговоры — надо было отоспаться перед следующим рабочим днем.

Только теперь я доставал припрятанные в изголовье дощечки дранки, или, как ее у нас называли, финстружки и, вооружившись карандашом, принимался сочинять стихи. До Адака я успел побывать и на стройке Воркутинской железной дороги, и на лесозаготовках в районе Печоры, позднее, заболев туберкулезом легких, лежал в стационаре Ыджит-Кырта. И на трассе дороги, и на лесоповале условия были такими тяжелыми, что на какую-либо умственную деятельность не хватало ни времени, ни сил физических и духовных. От непосильного труда и постоянного недоедания люди рано или поздно доходили до полного отупения.

Теперь у меня появилась возможность как-то осмыслить пережитое за два тяжелых года.

По молодости самой доступной формой казались мне стихи — мне хотелось в них выразить одолевавшие меня мысли и сомнения. Несовершенство своих писаний я болезненно переживал и никому, даже самым близким мне людям, не показывал.

Без конца чиркал я и переделывал — все было не то. Чувствовал я глубоко и серьезно, а на бумаге, вернее на дощечках, выходило примитивно, порой сентиментально. Ничего политического в моих строчках не было, да и знал я, что за любое мало-мальски подозрительное слово неминуемо грозит новый срок. Но политика еще до лагеря представлялась мне занятием малоинтересным, уделом людей жестоких, не всегда честных, либо пройдох, либо ограниченных фанатиков.

Все свои стихи я позднее уничтожил и выбросил из головы, уразумев твердо, что не все рифмованное — поэзия. Но тогда, в бараке, я не мог не писать — потребность была властная.

Осторожность в лагере нужна всегда, и по временам я зорко вглядывался в полутьму барака. Уже не в первый раз я замечал, что в эти часы не один я бодрствую. В противоположном углу на верхних нарах что-то делает, возится коренастый урка Сапсай. Тишину нарушали лишь вздохи спящих, да временами во сне начинал что-то бормотать мой сосед коми (по-здешнему «комик») Никита Истомина. Вслушиваясь в его сонный бред, я улыбался: он оживленно говорил на своем родном языке, перемежая речь российским матом, — видно, так сильнее получается.

Строчки мои все не ладятся, ломаю голову, стараясь сделать их более складными, и внезапно чувствую, что чья-то рука осторожно касается моей ступни. Вздвогнув, я посмотрел вниз — у моих нар в одном нижнем белье стоял Сапсай. Он был босиком, поэтому-то я и не расслышал его шагов.

«Сейчас шмон начнется, если что надо, давай, спрячу. У меня искать не станут, статья не та», — прошептал он. Шмоны, то есть обыски, были нередкими, искали, разумеется, свидетельства крамолы.

Передо мной стоял человек, с которым я и парой слов не перемолвился. К этому времени я уже прошел хорошую лагерную выучку, знал, следовательно, что доверяться незнакомому человеку, тем более уголовнику, неразумно и опасно. Но так спокойно, с таким чувством собственного достоинства была предложена мне эта помощь, что безотчетно, без всяких колебаний я сунул ему сложенные в стопку дощечки. Мгновенно они исчезли за поясом его кальсон. Так же неслышно Сапсай прошел в свой конец барака, забрался на нары и затих. Странно, но я не стал долго размышлять о случившемся и почти сразу заснул.

Однако поспать не пришлось. Среди ночи меня разбудил шум — Сапсай оказался хорошо осведомленным. Двое стрелков, пришедших с лагпункта — худошавый, с рысьим взглядом коми Хозяинов и вздорный, чуть с придурью Степан Холкин, — рылись в нашем скарбе. Тут же был и наш стрелок Янгаев. Как всегда, он был спокоен, усердия не проявлял, но те двое стара-

лись изо всех сил. Разумеется, ничего они не нашли, но спать не пришлось почти до утра.

После подъема мой доброжелатель осторожно вернул мне дощечки, прибавив: «Если что, прячь у меня, нипочем не найдут». Так завязалось это знакомство.

Вскоре Сапсай появился как-то вечером в кочегарке при сушильном сарае, где я работал истопником. «Что ты тогда писал?» – спросил он. «Стихи пробовал писать». – «Я так и думал. Я ведь тоже пишу. Послушай, получается ли?» И он по памяти прочел мне очень недурные стихи. Мне они показались много лучше моих. Конечно, были в них огрехи, доступные и моему неискушенному слуху, но написаны они были вполне грамотно, живым образным языком. Но главное, что в них привлекало, – выпиравшая горячая ненависть к лагерным порядкам и настоящее чувство юмора.

С этого вечера мы стали встречаться почти ежедневно в кочегарке, куда мой новый знакомый приходил сушить промокшие на лесной работе одежду и обувь. Постепенно мы сближались, с Сапсаем мне всегда было интересно. Больше всего привлекали в нем энергия, решительность и яркая, неподдельная самобытность.

Особенно бросалась в глаза его почти безоглядная смелость. Даже самые смелые из нас в обстановке постоянных доносов и страха перед новым сроком держались осторожно, постоянно были под гнетом подстерегающей опасности. Сапсаю, конечно, в этом отношении было легче; как уголовник он был вне подозрений в политической злобредности. Он это отлично сознавал и никогда не осуждал политических за осторожность.

Постепенно все наши привыкли к Сапсаю, никого он не обижал, и его независимое и твердое поведение было оценено даже самыми подозрительными из нас. Впрочем, дружил он только со мною, по-своему ко мне привязался и был вполне откровенен.

Хотя по отношению ко мне он вел себя как старший и более опытный, заботился и опекал, но никогда не поучал и не старался напрямую оказывать влияние. Никогда и ни в чем ни он, ни я не стремились навязать друг другу свое мнение.

С детства я не терпел людей, склонных поучать и направлять. Сапсай, как я сразу же понял, этого тоже не жаловал,

поэтому мы с ним легко сошлись. Между такими разными людьми, какими мы были, только такая свобода общения может сохранить дружбу, и она, эта дружба, у нас была.

При первом обстоятельном разговоре Сапсай мне объяснил, что никакой он не Сапсай и вовсе не Алексей, как числился по формуляру, а Николай Николаевич Сидоров. Впрочем, случалось ему проживать и под другими фамилиями. На лагпункте все обращались к нему, употребляя «формулярное» имя – Алексей, настоящее имя, возможно, я один и знал.

Итак, был он Николай Сидоров и вырос в семье вполне добропорядочных коренных москвичей. Отец до революции был строительным подрядчиком, позднее работал прорабом. Мать вела домашнее хозяйство. В семье рос еще один сын, года на полтора младше. «Семья, – рассказывал мне Сапсай, – была обычная, трудовая, и брат у меня тихий. А я вот вырос в семье уродом, оторва был среди огольцов. Все тянуло на необычное, скучно казалось жить, как все кругом живут... Отец все на работе, мать у меня хорошая, добрая, но я ее не больно слушался, все по улицам шмонял, потом со шпаной связался... Так оно и пошло-поехало...»

Он стал профессиональным грабителем, а полем своей деятельности избрал южные приморские курорты. Действовал Сапсай изобретательно – приобрел хороший фотоаппарат, научился прилично фотографировать и каждое лето на весь курортный сезон выезжал на юг. По его словам, на заработок курортного фотографа можно было прожить безбедно, отдыхающие охотно снимались, желая увековечить себя на отдыхе. Однако фотографирование было, как выражался Сапсай, «так, для понта». Шатаясь с аппаратом по черноморскому побережью, он, не вызывая подозрений, высматривал, где можно ограбить курортников или местных жителей, и, сориентировавшись, шел на дело. Иногда он орудовал и в поездах, но делал это редко, считая, что в поезде скорее можно попасться.

Сперва Сапсай занимался этим промыслом, разъезжая по курортам в одиночку. Убежденный индивидуалист, он всегда считал, что в таких делах напарник ему ни к чему. Награбленное он тут же, на месте сбывал верным людям.

В одном доме с его родителями жила девушка, с которой он сошелся. Она стала ездить с ним по курортам и, хотя участия

в грабежах не принимала, знала все. По окончании курортного сезона Сапсай и его подруга каждый год возвращались в Москву на всю зиму и жили у родителей. «Заработанного» им хватало до нового курортного сезона. Свои «зимние каникулы» Сапсай использовал для занятия рисунком и живописью в частных студиях Рерберга и Мигонджана. «Но в таких делах всему конец бывает, — философствовал Сапсай. — Накрыли меня, с поличным взяли, шесть лет дали и в Свирский лагерь, на лесоповал. Ты говоришь, трудно здесь. Это что, там бы побывал; здесь прямо как у тещи в гостях, норму инвалидную сделал и кум королю. А там норма не здешняя, полная, на работу ведут под дудоргой, с овчарками, шаг вправо, шаг влево — считается попыткой к побегу. И порядок тот еще: пока норму не дашь, в барак не ведут, вкалывай хоть до утра в любой мороз. Понял я, что так долго не выдержу, и решил — бежать надо».

Это был первый побег Сапсая. Бежал он в одиночку, зимой. В конце рабочего дня он укрылся в яме, сообщники завалили его ветками, и, когда конвоиры повели бригаду в лагерь, Сапсай выбрался из укрытия и стал уходить. Началась метель, и, по его словам, розыскные собаки не учуяли следа, даже близко не подошли. Сапсаю удалось уйти от погони и скрыться в лесу, однако в пути он сильно обморозил ноги. После долгих мытарств он вышел к железной дороге, добрался до избушки путевого обходчика, который приютил его и скрывал у себя, пока младший брат, военный инженер, не вывез его в Москву.

После обморожения ноги долго не заживали, мать лечила его домашними средствами. Сапсай рассчитывал подлечиться и к весне уехать на юг, но получилось все иначе. Его подруга без него под давлением родственников, только теперь уразумевших, что скрывалось за поездками на курорты, успела выйти замуж. У родителей ее мужа под Москвой был дачный участок; вся семья там трудилась, заставляли работать и новую невестку. Но девица уже привыкла к привольной жизни на курортах и отвыкать не собиралась. Сапсай скрывался у родителей. С обмороженных ног сошла кожа, обнаженные участки гноились.

К родителям приходили справляться из угрозыска, но они отвечали, что сведений о сыне не имеют. Однажды подруга Сапсая явилась к родителям и, не спрашивая, вбежала в комнату, где он скрывался: «Я так и чувствовала, что ты здесь.

Соскучилась, сил нет». Она хотела вновь сойтись, ноотрез отказалась возвратиться к мужу и стала ночевать у своих родителей.

Кончилось тем, что муж, догадавшись, в чем дело, сообщил в уголовный розыск. Сапсая арестовали, судили за побег, добавили два года и отправили в лагерь, уже на север. Оттуда он снова бежал, добрался до Москвы и укрылся у родителей. По его словам, муж его подружки снова выследил его, они случайно столкнулись во дворе, и тут Сапсай, озлобленный первым доносом и ожидая нового, нанес в стычке ему ножевую рану, оказавшуюся смертельной. Он снова был пойман и с добавкой срока возвращен в лагерь. И снова бежал, на этот раз летом. Ему удалось уйти на несколько сот километров, однако его поймали. Очередная попытка бежать оказалась неудачной; он собрался бежать вдвоем с Карзубым, но побег тут же предотвратила охрана, причем Михаил был легко ранен.

В побегах Сапсай нажил варикозное расширение вен. По этой причине он и пошел на Адак, с такими ногами рассчитывать на успешный побег не приходилось.

Конечно, возникает вопрос: правдивы ли были эти рассказы Сапсая о себе? Не столь уж наивным я был, чтобы не задать его самому себе. Натура у него была художественная, фантазией Бог не обидел — мог и присочинить. И все же я думаю, что в основе его рассказов были действительные события. Последний побег и ранение Карзубого точно имели место — мне это сообщили люди осведомленные. Еще больше убедили меня прочитанные Сапсаем стихи — диалог между ним и его подругой после гибели мужа. По словам Алексея, такой разговор действительно состоялся. Она не верила, что муж погиб в случайной потасовке, как утверждал при встрече с ней Сапсай, ноотрез отрицавший свою причастность к убийству. Я не помню самих стихов, но душевное состояние этой пары, напряженное взаимное недоверие было передано в них с такой силой, что просто придумать это было бы под силу лишь большому таланту. Вероятнее предположить, что в основе лежали реальные события.

От всех встречающихся в лагере уголовников Сапсая отличало умение трудиться упорно и целеустремленно. Обычно уголовники к такому труду питают непреодолимое отвращение.

Не таков был Сапсай. Попав на Воркуту, он пристроился техником в зубопротезный кабинет и быстро освоил эту специ-

альность. Не теряя времени, он обзавелся набором инструментов, в мастерской стащил стэнс – слепочную массу и занялся изготовлением коронок. Материалом для них служила листовая латунь, обработанная раствором сулемы. Клиентура нашлась среди вольнонаемного персонала, благо Сапсай дорого не запрашивал, а «золотые» коронки многим, особенно коми, казались красивыми. За эти художества Сапсай был изгнан из зубопротезного кабинета, но инструменты, стэнс и латунь сумел сохранить.

Прибыв на Адак, он быстро освоился и нашел богатые возможности заработать своим мастерством. Вблизи Адака, на реке Усе, обосновались на зимнее время пароходчики. Они-то, в особенности их жены, стали заказчиками. Оплата была денежная и натуральная – оленина, соленая треска, консервы, махорка. Именно эти коронки обрабатывал Сапсай, когда я впервые заметил его в нашем бараке.

Другим его промыслом была охота на белых куропаток с помощью волосяных петель. И таким делом, слишком для них хлопотным, уголовники не занимались – требовалось терпение, а его как раз у них не хватало. Сапсай был удачливым охотником, я также не без успеха ловил глупых птиц, ставя петли с приманкой из березовых веток с почками. К этому времени мы с Сапсаем так сдружились, что стали кормиться вместе. Свежее мясо куропаток не только было приятным пополнением однообразного рациона, но и спасало от цинги.

Лишних куропаток Сапсай выменивал на махорку – курил он много, – а также и на хлеб, когда его недоставало. Петли мы ставили каждый на своем участке, объезжали их после работы на самодельных широких лыжах. Невдалеке от нас стояли петли наших соседей – коми из деревни Адак. В этой части Коми деревни маленькие, обычно три-четыре двора, расположены они по берегам рек, километрах в 30 одна от другой. Хотя коми – коренные жители этих богатых дичью и рыбой мест, добытки они неважные: петли ставят небрежно, рыбу ловят только на переметы, хотя самая добычливая здесь снасть – удочки, забрасываемые на быстрых перекатах и в верховьях небольших быстротекущих речек.

Народ они бедный, но очень честный и чужие петли никогда не тронут. Мы тоже уважали их охотничьи участки,

проезжая мимо, никогда не хищничали. Но вот однажды знакомый коми, старик Данила, пожаловался, что кто-то обирает его петли. Он дал понять, что подозревает Сапсая — его петли стояли по соседству. Сапсай сказал, что петли не трогал, но Данила ему не поверил, обещал пожаловаться начальству. Дело оборачивалось скверно — в случае жалобы нам попросту запретили бы охотиться. Сапсай стал выслеживать вора. После долгого сидения в засаде он захватил на месте нашего же зэка, молодого курда Шагин-Оглы. Его шакальи повадки не были для нас новостью.

Разозленный Сапсай жестоко избил воришку, изломал его лыжи и с отнятыми куропатками пригнал в деревню к коми. После этого наши соседи коми прониклись к Сапсаю большим уважением и всегда приветливо его встречали.

Сперва нас сблизило общее увлечение стихами, а уж потом оказалось, что во многом наши взгляды сходны. Стихи давались Сапсаю легко. Память у него была отличная, и кроме своих он нередко читал наизусть стихи известных поэтов, иногда и стихи неизвестных мне, безымянных авторов. Блатной поэзии он чуждался, во всяком случае, я от него таких стихов не слышал, хотя в лагере они бытовали, правда, всегда в песенной форме. Иные из этих блатных песен были очень выразительны и самобытны как по тексту, так и по мелодии.

Раз уж я коснулся поэзии в местах заключения, необходимо сказать о поэзии политических заключенных. Она неминуемо должна была возникнуть среди массы людей, затронутых репрессиями, слишком велики и страшны были испытанные потрясения. Даже голод, изнурительный и отупляющий труд, а главное — свирепый режим и система доносов не в состоянии были начисто истребить в людях естественное стремление выразить свои мысли и чувства.

Мне не довелось лично встретить кого-либо из лагерных стихотворцев, но в нашей среде передавались в устном виде и с большими предосторожностями воркутинские песни. Приписывались они поэту Аграновскому*, деятельному участнику воркутинской голодовки, расстрелянному вместе

* Фамилия указана неточно. Автор этой песни Лев Драновский, содержался на Воркуте на кирпичном заводе, расстрелян 1 марта 1938.

с другими на Воркуте. Этих песен было несколько, все очень выразительные, но самой любимой была Воркутинская, которую приведу по памяти:

За Полярным кругом,
В стороне глухой,
Черные как уголь
Ночи над землей.

Волчий голос ветра
Не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета
В эту мглу и жуть!

Что-то роковое
Спряталось во мгле,
Тяжело с тоскою
Жить наедине.

Мне так часто снится
Светлое крыльцо,
Черные ресницы,
Милое лицо.

Мнится, одиноко
Дома ты не спишь,
Обо мне, далеко,
Думаешь, грустишь...

Не грусти, не мучься
И не плачь любя.
Если будет скучно,
Вспоминай меня.

За Полярным кругом
Счастья, друг мой, нет.
Злой полярной вьюгой
Замело мой след.

Других песен Аграновского моя память не сохранила. Помню только две строчки из его песни «Старик дневальный» — о старике заключенном, коротающем в раздумье бессонную ночь в бараке у топки печи:

Кто-то топчет сапогами
Наши чувства и мечты.

Каждый понимал, о ком тут речь. Запомнились и другие стихи, посвященные ему же — «отцу, учителю и другу, светлому гению человечества» и пр., и пр.

На Адаке, кроме нас с Алексеем, стихами никто не грешил. Обычно мы сходились в кочегарке при сушильном сарае, где я дежурил с вечера до утра.

Много о чем переговаривали мы за долгие вечера под треск смолистых дров. Сапсай был интересным собеседником. За свою жизнь на воле и в лагерях он успел немало повидать и испытать, но больше всего привлекало меня своеобразие его суждений, всегда определенных и самостоятельных.

В лагере нам постоянно твердили, что мы здесь не просто срок отбываем, но нас, дескать, перевоспитывают трудом. Была даже должность воспитателя, ее занимали заключенные-бытовики, но не из рецидива; в большинстве их подбирали из осужденных за должностные преступления. Серенькие, безличные, они справедливо расценивали эту свою работу как синекуру, избавляющую от тяжелого физического труда. Уньло талдычили они обычную тягомотину о пользе честного труда и лагерной дисциплины. Всерьез их никто не воспринимал, а самоперевоспитание народ наш высмеивал, подчас довольно удачно.

Сапсай справедливо считал все разговоры о перевоспитании сплошным лицемерием. «Знаешь, — рассказывал он мне, — когда я еще на Воркуте был, там всю нас, рецидивистов, перевоспитать старались, из кожи лезли. Даже кружок литературный для нас устроили и там о перевоспитании проповедовали. А чтобы мы лучше усвоили, задали сочинение на эту тему написать. Подумал я, сел и за пару вечеров написал. Принес на кружок, прочел вслух. Воспитатель наш так и взвился — неправильно, дескать, мыслишь, отрицаешь, не признаешь перевоспитание. А написал я такое. Вроде, понимаешь, сидели в лагере двое, перевоспитывали их, вот как нас. Один перевоспитался, ну, вернее сказать, приспособился, понял выгоду, стал вести себя примерно, так что начальство на него нахвалиться не могло. Другой как был урка, так и остался. Кончился у них срок. Одного выпустили с документом, что он хороший, другого — под ж... коленкой выставили, думали, скоро все равно назад вернется.

Но на воле получилось у них по-разному. Примерный, который перевоспитался, в такие переделки попал, что на работу

его нигде не берут, жить негде, отовсюду гонят. Тыркался он, тыркался и кончил тем, что снова в воры подался — кусать-то надо! Попался, и посадили по новой. А второй попал на воле в такую обстановку, что воровать ему было невыгодно, он и не стал, и зажил нормально... Все от условий зависит, — заключал Сапсай. — Выгодно не воровать — будешь жить честно, невыгодно — заворуешь, если выхода нет. В натуре так! Прочли воспитатели это и ну меня прорабатывать. Послушал я, послал их всех подальше и ходить на этот кружок не стал».

Свой принцип выгоды как основного двигателя в поведении человека Сапсай постоянно отстаивал.

Был он жаден до новых впечатлений, очень любознателен и восприимчив, в любом случае, в любом положении умел уловить существенное, характерное, с тем чтобы осмыслить и по возможности применить в жизни. Кем он только не был на воле и в лагере: и скотником, о чем он рассказывал с большим юмором, и фотографом, и зубным техником, и на шахте успел поработать.

Поражали быстрота и сила его реакции. Как-то вечером, сидя в кочегарке, мы разговорились о людях, стремящихся перестроить жизнь, о религии, о революции. Я рассказал Сапсаю о книге Анатоля Франса «Боги жаждут». Ее я прочел незадолго до ареста. Еще тогда меня поразила мысль, заложенная в основу романа: революционные идеалы — та же религия, такая же фанатичная, как старые верования, но еще более бесчеловечная, поскольку еще не упилась кровью. И гибель главного героя, честного, слепо верующего в революцию фанатика, — закономерное очищение от жестокости и фанатизма во имя жизни, продолжающейся во всей своей полноте.

Пройдя жестокую тюремную выучку, после всех пережитых потрясений я еще больше склонялся к идеям Франса. К тому же лучшие из тех участников революции, которые повстречались мне в тюрьме и в лагере, не скрывали своей горечи и разочарования после разгрома 30-х годов.

Мы с Сапсаем рассуждали о том, как тяжело и несправедливо складывается судьба отдельного рядового человека в эпохи великих потрясений. Обидно было сознавать, что мы лишь жертвы, не лучше рабов, соорудивших пирамиды во славу фараонов. Я прочел свои стихи, навеянные этими мыслями.

Сапсай слушал внимательно, молчал. Потом вдруг заторопился и ушел в барак раньше обычного. На следующий вечер он в кочегарку не пришел. Зато через день Алексей появился снова.

— Знаешь, — сказал он мне, усаживаясь на скамейку у топки, — я все думал о книге, что ты мне пересказал. Думал, ворочал в башке все это и вот написал. Сейчас прочту, это к тебе, ну, в общем, тебе посвящается. — Он вытащил из-за пазухи телогрейки дощечки и начал читать:

Осенний день, по небу бродят тучи
И стаи птиц уносятся на юг.
Я этот стих писал на всякий случай,
Чтоб ты прочел, товарищ мой и друг.
Прошли года, мы сделались покорней,
Познали грусть нехоженных дорог;
Пусть взгляды наши изменились в корне,
Но каждый что-то вынес и сберег.
И то, что нам диктует Провиденье,
Сидящее на троне иль в Кремле,
Пройдет как сон, как страшное виденье,
И, растворясь, исчезнет на земле.
Из наших мук возникнет вновь Ученье,
Прольется кровь в растоптанную грязь,
Пройдет свой круг ошибок и свершений
И вновь исчезнет видоизменясь.

Концовку стихов уже не помню, но смысл был такой: что бы ни происходило, как бы ни было тяжело, жизнь вечна, прекрасна, она продолжается... «Цветут цветы и шепчут о любви».

Не одно и не два стихотворения Сапсая выслушал я в вечерние часы, когда мы с ним сидели вдвоем у топки, как бы поднявшись мысленно над гнетущим однообразием лагерных будней.

Стихи эти по тематике и настроению неизменно возникали из напряженного осмысления нашей лагерной жизни, да и не только лагерной. Иногда попадали нам в руки газеты с набившими оскомину призывами к всеобщей бдительности и беспощадной борьбе с врагами народа. Тут же печатались указы за подписями Калинина и Горкина. Однажды Сапсай про-

чел мне свою стихотворную пародию на указ с заклинаниями о бдительности (у нас в это слово после буквы «б» вставляли «з»). Запомнилась мне лишь одна концовка:

К врагам народа
Пребудьте зорки.
Калинин. Горкин.

Зато целиком сохранилось в моей памяти его стихотворение «На смерть коня Донбасса», посвященное чрезвычайному происшествию в жизни кирпичного завода: пал темно-рыжий мерин Донбасс. Причиной его гибели, как показало вскрытие, было прободение желудка от плохо пропаренного веточного корма.

Гибель лошади подчас беспокоила лагерное начальство, да и нас, грешных, много больше, чем смерть человека. Человек — он умирал, и все, а вот гибель лошади могли запросто подвести под статью о вредительстве. Тогда затевалось следствие, отыскивали виновного (начальника из зеков, возчика либо конюха), и дело могло кончиться новым сроком, в лучшем случае — карцером.

В это время начальником кирпичного завода был Григорий Михайлович Днепров. До лагеря он работал прокурором Бауманского района Москвы. Эгоистичный и трусливый, Днепров, дорвавшись до начальственной должности, сумел озлобить всех занудством и мелочными придирками. В кирпичном производстве он ничего не смыслил, зато ретиво взялся за дисциплину. Большую часть дня он простаивал на самом возвышенном месте, зорко высматривая, кто чем занят, и учинял потом разносы. На своем сторожевом посту Днепров стоял, широко расставив кривые ноги, за что получил прозвище Кронциркуль.

Постоянно стараясь выслужиться, Днепров всячески притеснял таких же, как он, заключенных. Последнее, что он придумал, было запрещение использовать лошадей для подвозки дров и воды в бараки, возмущившее всех на заводе.

Истый рецидивист, Сапсай ненавидел Днепрора как бывшего прокурора и вдобавок презирал как подхалима и перестраховщика. Все на заводе гадали, как и на ком отзовется гибель

коня. Днепров явно приуныл — могли наказать и его. О таком исходе, не скрываясь, мечтали многие.

Вечером в кочегарку Сапсай пришел в приподнятом настроении с написанным стихотворением «На смерть коня Донбасса». Вскоре оно стало известно всем на заводе.

На берегу пустынных вод
Стоял завод кирпичный.
Народ в заводе — как народ,
Измучен был отлично.

Умел сносить он все без слов,
Боялся дел запретных.
И был начальник там Днепров,
Фигура из приметных.

И был там конь... Он сох и сох —
Знать, корма было мало.
И думал он, пока не сдох,
Что труд есть дело славы,

Что жить на свете — ничего,
Хвалил и кнут, и палку.
И так текло, пока его
Не вывезли на свалку.

Днепрова мигом пот прошиб,
Возвел он очи в гору.
Недаром в прошлом этот тип
Был где-то прокурором.

Он ходит, голову склоня,
И грусти есть причина —
Он увидел в конце коня
Конец блатного чина.

Чтоб оттянуть чуть-чуть свой крах,
Назло всему народу
Мудрец придумал на людях
Возить дрова и воду.

Он вспомнил прошлые лета —
Мысль бродит у героя
Над применением хомута
Особого покроя.

Судить людей я лютый враг,
Но злые мучат мысли.
К тому ж я слышал, что в Адак
Как выродок он прислан.

От этих дел добра не жди,
Одна грызет забота —
Глядишь, и выдвинут в вожди
Большова, идиота.

Без пояснений здесь не обойтись. Нам без конца твердили, что в лагере нас всех изучают. На Адак свозили активированных по болезни, неполноценных людей. По домыслу Сапсая, Днепров попал сюда «как выродок». Упоминаемый в концовке Большов был бригадир, духовный двойник Днепра и возможный кандидат на его пост. Впрочем, наши чаяния не сбылись — коня зарыли, а Днепров удержался на своем месте.

Независимый и резкий, Сапсай, естественно, не пользовался расположением начальства. Ядовитые выпады подчас доводили Алексея до штрафного изолятора, но это его не смущало и не останавливало. Однажды заключенные пожаловались начальнику лагпункта Манину на плохое питание. Манин, крупный рыхлый мужчина, благодушно улыбаясь, ответил: «Еще что? Питание хорошее, с него скоро за бабами бегать станете». Случившийся тут же Сапсай мгновенно отрезал: «Да, конечно, чтобы у них баланду и кашу отнимать».

К весне у меня обострился процесс в легких. Поднялась температура, одолевал мучительный кашель, но я старался держаться на ногах и к врачам не шел. Моим лечением занялся Сапсай. Однажды после работы он подал мне угощение — суп с мясом. Мясо было нежирное и довольно вкусное, таким в лагере нас не кормили. Когда я с ним расправился, Сапсай спросил: «Угадай, чье это мясо?» — «Оленина, — отвечал я, — что, за коронки дали?» — «Гав-гав, — с довольным видом ухмыльнулся Сапсай. — Щенок. Ездил со шлягой в Адзэву, там законстролил. Ешь, это тебе полезно. У меня еще на завтра осталось».

Щенячье мясо, однако, не помогло. Пришлось ложиться в стационар. Было там очень тоскливо, поэтому я обрадовался, когда Сапсай пробрался ко мне с гостинцами — сахаром и конфетами. «Давно бы к тебе пришел, да вот не получилось: меня

комендант по дороге перехватил, придрался, гад, зачем я в стационар иду. Я его послал подальше. А он на меня рапорт Манину подал. Тот меня вызвал и давай песочить: кому продукты не сешь, где взял? Я отвечаю, что к тебе иду, а конфеты на махорку выменял. Начальник тут еще пуще завелся: что это, говорит, у тебя за дружба с 58-й статьей, что у вас общего? Тут меня заело, я ему — мое дело, с кем хочу, с тем вожусь, я в лагере норму даю, и лады, больше нечего меня воспитывать. И конфеты не ворованные, на заработанную махорку сменял. Я не ворую и морду не наел, как некоторые. Он меня — в кондей. Только хрен ему, будет еще указывать, с кем водиться».

Вскоре началась война. Режим даже на отдаленном инвалидном лагунке резко ужесточился. Отменили переписку с родными, участились проверки, внезапные обыски по ночам. Немногочисленные доносчики подняли голову и стали кляузничать, их часто вызывали к оперуполномоченному; по их указке несколько человек попали под следствие. О ходе военных действий мы ничего толком не знали, пользовались неясными слухами. Ходили разговоры о том, что немцы захватили большие территории. Многие, в том числе и я, опасались за родных, которые могли оказаться в опасности. Хотя большинство из нас были слабыми, больными людьми, многие — инвалидами, нашлось бы немало желающих уйти в армию на защиту страны. Однако нас, политических, не брали.

Неугомонный Сапсай рассуждал: «Лучше уж на фронт, чем здесь заживо гнить. Мы, рецидив, для войны самые подходящие люди. Нам только скажи: вот крепость, берите ее, а там все ваше, — горы своротим, а возьмем!» Зная его решительность и смелость, думаю, что, попади Сапсай в армию, он мог бы проявить эти свои качества в полной мере. Но и его не брали.

Вскоре из нашей среды стали собирать этап на одну изстроек; отбирали тех, кто был физически покрепче. Среди отобранных оказался и Сапсай. Уже в который раз я расставался с близким мне человеком — обычное дело в лагерной жизни. Больше о Сапсае я ничего не знаю.

И вот теперь, через много лет, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, что этот рецидивист, человек без систематического образования, без специальности, среди многих встре-

ченных в лагере незаурядных людей был одним из наиболее ярких и самобытных. Но даром пропали в лагере его способности, осталась без достойного применения его кипучая энергия.

И сколько еще таких сгинуло без следа...

Братья-иностранцы

В начале тридцатых годов я учился в Москве на рабфаке имени Свердлова. Помещался рабфак в одном из переулков, выходящих на улицу Кропоткина, которую москвичи по старой памяти продолжали называть Пречистенкой. Рабфак этот был одним из первых, созданных в стране для обучения рабочей молодежи, многие преподаватели работали здесь со дня основания, среди них были замечательные люди, увлеченные своим делом.

Большинство учащихся совмещали учебу с работой, здесь были рабочие, техники-практики, кое-кто из служащих. Среди рабфаковцев было немало людей семейных, не у всех была достаточная подготовка, но учились старательно, с большой охотой. Я был одним из самых младших. Наша группа считалась самой лучшей на рабфаке. В общем, хвалили нас не зря: была хорошая взаимопомощь, сильные помогали слабым, те, в свою очередь, трудились изо всех сил, стараясь усвоить учебный материал.

Однако в 1933 году произошло событие, отодвинувшее нас на второй план, – на рабфаке была создана группа шуцбундовцев. Так назывались политэмигранты из Австрии, участники вооруженного восстания рабочих; после его подавления многие шуцбундовцы бежали из страны и оказались у нас в Союзе. Это были молодые парни, крепкие, энергичные, жизнерадостные.

За учение они взялись с большой охотой и вскоре по успехам намного превзошли нас. Обучались шуцбундовцы на родном языке, одновременно изучали русский. С ними работали наши преподаватели, они нередко ставили австрийцев нам в пример, всячески подчеркивая их старание и успехи. Может, именно

поэтому мы не стремились общаться с ними, а наши девушки только хихикали, глядя на «австрияков», одетых в непривычные для нас шорты и забавные шляпы, украшенные петушиными перьями.

Ни мы, ни эти веселые симпатичные ребята не подозревали тогда, что спустя три-четыре года начнутся массовые репрессии и многие из нас, а они — все поголовно — окажутся в лагерях, как самые опасные преступники. Шуцбундовцы были первыми иностранцами, с которыми мы столкнулись чуть поближе. Зато в 37-м году и позднее в лагерях я на них насмотрелся предостаточно.

Обидно и мучительно было нам без всякой вины переносить все тяготы диких, нелепых обвинений и страшной лагерной жизни. Мы попадали в лагеря в шоковом состоянии, для иных оно продлевалось на долгие годы. И все же мы были в своей стране, среди своих, таких же, как мы, многим в лагеря и тюрьмы шли передачи, письма, изредка посылки от родных людей.

Как же тяжело, стократ тяжелее нашего, и морально и физически приходилось иностранцам, в большинстве — членам компартий, попавшим в такую переделку в стране обетованной, куда они стремились, как верующие мусульмане в священную Мекку. Им, не знающим ни языка, ни обычаев и нравов, напроць оторванным от родины, лишенным какой-либо помощи от родных, ошеломленным и разочарованным, пришлось нелегко, и далеко не все сумели приспособиться и выжить. Первым иностранцем, которого я встретил в тюрьме, был поляк, член ЦК польской компартии Ендржиховский. К нам, в камеру внутренней тюрьмы на Лубянке, его привели ночью прямо после ареста. Щуплый, сутулый, с совершенно лысой головой, он казался очень больным человеком. Так оно и было — перед арестом у него случился тяжелый приступ заболевания почек, отбитых на допросах в польской охранке. Как и все только что арестованные, Ендржиховский был растерян и одновременно вполне убежден, что произошло какое-то досадное недоразумение, все в ближайшее время разъяснится и его, конечно, отпустят.

Мы в камере успели посидеть по-разному, но достаточно, чтобы усвоить одно: здесь никто не стремится разобраться и установить истину. Самый живой и энергичный из нас,

военврач I ранга Николай Александрович Трофимук, тренер Чкалова, Байдукова и Белякова, провозился с Ендржиховским до утра — приступ усилился, боли были нестерпимые.

Утром к больному вызвали врача. Пришел неразговорчивый, крайне осторожный субъект, наскоро осмотрел, дал какое-то лекарство, но легче больному не стало. Николай Александрович старался облегчить его страдания, ставил импровизированные компрессы — единственное, что было здесь. Одновременно, зная, что Ендржиховского в ближайшее время неминуемо заберут на допрос, он деликатно, но настойчиво старался его к этому подготовить и внушить, что необходима крайняя осторожность. Ендржиховский никак не хотел понять, что его болезненным состоянием следователь постарается воспользоваться, чтобы сломить его волю и заставить подписать все, что на него навесят. Ничего за собою он не знал и в ответ на предостережения с грустной улыбкой отвечал:

— Доктор, вы есть политический циник.

Опасения Николая Александровича подтвердились: уже вечером Ендржиховского увели на допрос и продержали всю ночь. Только на рассвете возвратился он в камеру, совершенно разбитый, и тут же в изнеможении повалился на кровать. Перед тем как уснуть, он прошептал, обращаясь к Трофимуку:

— Извините, доктор, вы есть правый.

Первую половину дня мы старались двигаться бесшумно и говорили шепотом — надо было дать человеку отоспаться. Только к вечеру он ожил, даже попытался через силу улыбаться. Однако ночью у него снова начался припадок, его срочно увели, и в камеру он не возвратился. Больше ничего я об Ендржиховском не знаю, вряд ли этот хилый, тяжелобольной человек смог выжить в тяжелых лагерных условиях.

Таким же хилым и, пожалуй, еще менее жизнеспособным показался мне второй встреченный в тюрьме иностранец, немецкий коммунист Фриц Айхенвальд. Если Ендржиховский как-никак славянин, хоть и с акцентом, но все же изъяснялся по-русски, то Фриц, худой, темноволосый, с глубоко запавшими черными глазами, едва понимал нас. Правда, в камере на 25 человек в Бутырской тюрьме он быстро пополнял свой словарный запас. Немало способствовал обогащению его лексикона и следователь.

Однажды, вернувшись в камеру после очередного допроса, Фриц чуть ли не с порога обратился к нам за разъяснением:

– Мой следователь сказал мне: «Ты есть фашистская б...!»
Фашистская – это понимаю. А что есть б...?

Ему объяснили, и Фриц огорчился – диким казалось ему, еврею-коммунисту, получить такое прозвание в стране победившего социализма, куда он попал, спасаясь от фашизма.

Фриц страдал каким-то хроническим заболеванием желудка, совершенно не мог есть наш ржаной хлеб. Тюремный врач был вынужден выписывать ему белый хлеб, но в лагере, куда Фриц, несомненно, попал, о таких льготах нечего было и думать – это был человек обреченный. К тому же, если в тюрьме действовала взаимопомощь и таким как Фриц, не получавшим помощь от родных, выделялась вполне приличная доля из приобретенных в тюремном ларьке продуктов (это называлось «комбед»), то в лагере это исключалось – там все жили впроголодь и помогать было просто не из чего.

И Фриц, и Ендржиховский повстречались мне в следственных камерах, где кроме них иностранцев не было. Правда, ходили слухи о массовых арестах членов братских компартий, но в это как-то не верилось. Однако постепенно эти слухи подтверждались, такие сведения привозили те, кого из Бутырок возили для допросов на Лубянку. Там в «собачниках» уже попадалось немало иностранцев, их привозили на допросы в основном их Лефортовской тюрьмы. Однажды, прослушав такой рассказ, кто-то из наших наивно спросил:

– Как же на это реагирует Коминтерн?

И мгновенно получил ответ:

– Коминтерн? Собрался на очередной конгресс в Лефортове.

Зато в пересыльных камерах Бутырки среди осужденных Особым совещанием оказалось немало иностранцев, все по формулировке ПШД (подозрение в шпионской деятельности). Почти все они коммунисты: немцы, поляки, болгары, югославы, чехи; были здесь и социал-демократы – австрийские шуцбундовцы. Запомнились трое молодых немецких коммунистов. Очень дружные, они на наших вечерах самодеятельности слаженно исполняли песню немецких концлагерей «Болотные солдаты»:

Wir sind die Moorsoldaten
Und gehen mit den Spaten
Ins Moor, ins Moor.

(Мы болотные солдаты.
Идем, несем лопаты
В болота, в болота.)

Пели они, постепенно заглушая тембр, как бы утопая в болоте, получалось очень выразительно. Эту песню я потом не раз вспоминал в лагере, в топких болотах республики Коми.

Бросался в глаза бледнолицый невысокого роста человек, одетый в полосатую робу – форму гитлеровских концлагерей, немецкий коммунист Иозеф Бергер. Теребя отросшую в тюрьме реденькую бородку, Бергер, поблескивая холодными голубыми глазами, иронизировал над превратностями судьбы, приведшей его из гитлеровской тюрьмы в советскую, социалистическую; свою униформу он носил с гордостью, демонстративно.

Среди нас был красивый молодой австриец, шуцбундовец Алоиз Кройзинбруннер. Русоволосый, с правильными чертами лица, он напоминал мне древнеримскую скульптуру – портретную голову красавца-юноши Антиноя, любимца императора Адриана. Алоиз сохранил австрийское гражданство, он устоял перед нажимом следователя, который упорно добивался от него заявления о переходе в советское гражданство, обещая за это освобождение. Он был убежден, что его как австрийского подданного рано или поздно обменяют, и не переставал на то надеяться.

Однажды в умывальной, когда мы стояли в очереди, чтобы окатиться до пояса холодной водой и хоть ненадолго освежиться, Алоиз на ломаном русском языке в очередной раз заговорил на эту тему. В ответ маленький, весь заросший черной шерстью крепыш-югослав, энергично растиравший грудь и спину мохнатым полотенцем, на таком же ломаном языке возразил:

– Дурак, кто же это согласится вместо тебя сюда (то есть в тюрьму) ехать.

Дружно держалась небольшая группа болгар, вожакom в ней был уже немолодой сухощавый Бокарджиев. Однажды вечером кто-то из болгар предложил послушать его рассказ о легендарном побеге группы коммунистов из центральной

тюрьмы Софии. Все охотно согласилось. Рассказ о побеге через всю Болгарию, переходе сквозь кордоны, расставленные на пути беглецов, и наконец через границу, о всех трудностях и лишениях, выпавших на их долю, был очень интересен. Много позднее, уже в лагере, от болгар я узнал, что душой и руководителем этого побега был сам Бокарджиев, тогда в Бутырках он об этом умолчал.

Близким моим другом в лагере стал член польской компартии Володя Щастный (Щентсны). В отличие от других иностранцев он свободно говорил по-русски, так как вырос в Питере, где десятилетним мальчуганом зарабатывал на пропитание, сбывая на улицах иллюстрированные похабные книжонки про Распутина и царицу: «Купите книжку про Распутина Гришку, про царя Николашку и жену его Сашку!»

Позднее семья его оказалась в Польше, там подросток Володя стал коммунистом и принял деятельное участие в борьбе белорусов, каковым он себя считал, против пилсудчины. Не раз он по заданию партии нелегально переходил советско-польскую границу, снова возвращался в Польшу, сидел там в тюрьмах, был нещадно бит на допросах в польской охранке, нажил туберкулез легких в тяжелой форме. Так продолжалось, пока в один несчастный день его не посадили — тогда эта участь постигла большинство польских коммунистов, оказавшихся в Советском Союзе.

В лагере Володя ругательски ругал себя за всю свою революционную эпопею, твердил, что он поляк, а национал-белорусские увлечения объявлял заблуждением, сплошной дурью. В польских тюрьмах его зверски избивали, здоровье было вконец подорвано. Володя был невероятно худым, задыхался, надрывно кашлял; его черные, влажные как у оленя глаза во время таких приступов выглядели страдальческими. Но по натуре он был веселый, заводной, иногда язвительный, большой любитель всяких шуток и розыгрышей.

По профессии Володя был скульптором, вместе с ним мы организовали при кирпичном заводе мастерскую по изготовлению декоративной керамики и игрушек. Вокруг себя мы собрали людей с художественными наклонностями, и дело пошло неплохо. Весной сорок первого года у Володи окончился срок, и с началом навигации он отбыл с лагпункта. По уговору Володя

должен был сообщить о себе, но вскоре началась война, нас лишили права переписки, и больше ничего я о нем не знаю.

Среди людей, которых мы с Володей привлекли в мастерскую, были двое иностранцев – немка Зюзанна Леонгардт и старик-австриец Франц Баумбергер. Вообще немцев на лагпункте было немало, но из них иностранцев только трое: Зюзанна, Баумбергер и бывший редактор коммунистической газеты «Роте Фане»* Пауль Франкен. Остальные были советские немцы, предки которых переселились в Россию при Екатерине II и Александре I в конце XVIII и в начале XIX века.

Немцы иностранные смотрели на них несколько свысока, хотя и относились неплохо. Дело в том, что советские немцы в течение почти двух столетий сохранили первоначальные диалекты своих предков с добавлением некоторый русицизмов, современный немецкий язык они понимали с трудом. На этой почве порой случались забавные недоразумения. Однажды Пауль Франкен беседовал на немецком языке с евреем Давыдовым. Случившийся рядом приволжский немец Кнауэспросил: «Вы на еврейском говорите, что ли?» Поволжские немцы и в свою немецкую речь порой вставляли забавные комбинации – гибриды из русских и немецких слов. Я слышал однажды, как кто-то из них спросил своего земляка, маленького старичка по фамилии Лир: «Карл Иванович, хабен зи дас Брот геполучайт?»

Наши поволжские немцы были людьми малообразованными, серенькими, зато все иностранные оказались незаурядными личностями. Это и понятно – каждый из них в свое время еще на родине определил свой жизненный путь, решительно отказавшись от привычного обывательского существования. Этот путь привел их в Россию, которая представлялась страной, где осуществляются лучшие идеалы человечества. И не их вина в том, что эти иллюзии обернулись лагерем.

Зюзанна Леонгардт, жена известного немецкого писателя Рудольфа Леонгардта, коммунистка, была, как почти все наши иностранцы, осуждена Особым совещанием на пять лет по формулировке ПШД – подозрение в шпионской деятельности. В эту формулировку стоит вдуматься: только подозрение – и пять лет лагерей, а то и больше.

* «Роте Фане» («Die Rote Fahne» – «Красное знамя») – немецкая коммунистическая газета, основанная К. Либкнехтом и Р. Люксембург.

С мужем Зюзанна давно разошлась, ее сын, названный Володей в память Ленина воспитывался в Москве в семье Карла Либкнехта. Вдова Либкнехта регулярно присылала Зюзанне письма и посылки, следовательно, ни в какой шпионаж не верила.

На родине Зюзанна получила хорошее гуманитарное образование, имела ученую степень бакалавра искусств. Очень болезненная, страдавшая многими хворями, она, тем не менее, была известна на лагпункте своими романтическими историями. Была она хрупкая, невзрачная, всегда стриженная под мальчика, с округлым лицом, которое оживляли зеленоватые кошачьи глаза. И было в Зюзанне нечто, превращавшее увлеченных ею мужчин либо в неистовых ревнивцев, либо в покорных рабов. Это создавало ей не лучшую репутацию, среди женщин близких у нее не было, большинство мужчин ее тоже не одобряли.

Но Зюзанна ставила себя и свои пристрастия выше всего, в разговорах с нами своей особой заслугой считала проповедь сексуальной свободы, которую она и какая-то ее единомышленница вели у себя на родине, словом и делом показывая женщинам новый путь. В остальном она была человеком порядочным, неглупым, трудолюбивым и организованным, с тонким художественным вкусом.

Австриец Баумбергер был среди нас одним из самых старых, ему было лет шестьдесят, не менее. Уже то, что в таком возрасте этот высокий сухошавый старик с оружием в руках выступил в рядах шутцбундовцев против австрийских фашистов — свидетельство серьезности и твердости его убеждений. По профессии Карл Францевич был токарем высокой квалификации. На Адаке он, естественно, по специальности работать не мог. В керамической мастерской и он, и Зюзанна оказались очень полезными людьми. Не имея в прошлом никакого опыта, Баумбергер научился изящно и чисто лепить ручки для ваз и крепить их к отформованному на гончарном круге корпусу. Зюзанна красиво и изобретательно расписывала вазы по чернолаковому фону. Сам Баумбергер свои и Зюзанны успехи в новом для них деле объяснял системой образования, принятой у них на родине.

Ко мне Баумбергер относился дружелюбно, быть может потому, что я, хоть и коряво, беседовал с ним на родном

языке. Русским он владел плохо, разговаривал обычно лишь с Зюзанной, к ней он был очень внимателен. Однажды из-за своего джентльменского поведения Баумбергер попал в забавную историю.

Работали мы небольшой группой, человек восемь, в отведенном под мастерскую уголке огромного сушильного сарая, заполненного стеллажами с кирпичом-сырцом. В противоположном торце сарая размещались топки, огонь в них поддерживался круглосуточно, тепло по подпольным калориферам распространялось по всему помещению. Кирпичная выстилка над топками всегда была горячей, сюда после работы в лесу люди приходили погреться, просушить мокрую одежду и обувь. Из нашего угла за стеллажами увидеть их было невозможно, но голоса их до нас доносились.

И вот однажды во второй половине дня мы, сидя за рабочими столами, невольно стали слушателями необычного концерта. Мужской хор исполнял песню, слова были нерусские. Пели куплеты, сопровождая их совершенно немислимым аккомпанементом в виде неприличных звуков, очень громких. Баумбергер посуровел, его густые брови сдвинулись, и резким движением старик поднялся с места.

— Дас зинд грузинен! — возмущенно проговорил он.

Но я уже успел опознать среди певцов-виртуозов голос приволжского немца Вильгельма Кнауца.

— Найн, дас зинд дойчер (нет, это немцы), — лукаво бросил я.

— Унмоглик! (невозможно), — возмутился старик и решительно зашагал к поющим.

Мы внимательно вслушивались, ожидая перепалки. Но ее не услышали, хотя пение и аккомпанемент прекратились. Слышалась лишь тихая спокойная речь.

Спустя некоторое время Баумбергер вернулся. Его лицо казалось спокойным, даже умиленным.

— Франц Карлович, зинд дас грузинен? (грузины ли это?) — спросил я с ехидцей.

В ответ он покачал головой:

— Знаете, это старинная песня, ее поют у нас в горах, в Тироле. Но Боже мой, что они здесь из нее сделали!

После заключения с Германией договора о ненападении Баумбергер как германский гражданин был освобожден. Зная

его, уверен, что, несмотря на пережитое в лагере, он ни на какое сближение с нацистами не пошел.

Из иностранцев, кроме Щастного, ближе всех я был с Паулем Франкеном. Не то что я с ним дружил, но отношения были хорошие и мы часто беседовали. Это был спокойный основательный человек лет сорока, с крупной лобастой головой. Уроженец знаменитого города металлургов Золингена и сам рабочий-металлург, Пауль вырос в необычной семье: отец и мать были глухонемые. Совсем молодым он вступил в коммунистическую партию, много работал над своим образованием, стал журналистом, а позднее — редактором газеты «Роте Фане» — органа германской компартии. После прихода Гитлера к власти Пауль с женой, еврейкой по происхождению, эмигрировал в Советский Союз. Жена его тоже была арестована и попала в лагерь, известий о ней Пауль не имел, и это его очень печалило.

В начале сорок первого были освобождены те, кто отбыл свой пятилетний срок, среди них были и различные начальники из заключенных. На кирпичном заводе получилось так, что на их места были назначены немцы: старательные и работящие, они были на хорошем счету у начальства. Мы добродушно посмеивались над «арийским руководством» завода: начальник завода — немец-меннонит Берг, главный мастер — немец Крамм, бригадиром был назначен Пауль, кладовщицей — Зюзанна. И вот неожиданно для нас — война. На лагпункт нагрянули стрелки. В этот же день, впервые за все время существования завода нас вывели на работу под конвоем. Так случилось, что о начале войны первым узнал от стрелков Берг. Донельзя расстроенный, он шепотом сообщил мне эту новость на разводе: новость была ошеломляющей.

Пауль переживал известие о нападении Гитлера, пожалуй, острее, чем любой из нас — он единственный из нас по своему опыту представлял себе, что такое фашизм.

— Поверь, — говорил он мне, — что я ненавижу фашизм и Гитлера, это страшная сила, жестокая и бесчеловечная. И я, и моя жена не раз выступали против фашизма по советскому радио. Если они до нас доберутся, нас ожидают пытки и мучительная смерть. А всех вас — страшные жестокости, это звериная идеология, они никого не пощадят.

Пауль опасался, что немцы одолеют нас за счет большей организованности и фанатизма. Расстроен он был, пожалуй, больше, чем мы, хотя и мы были в смятении — у многих родные оказались в зоне военных действий, а позже мы с тревогой и болью узнавали об оккупации все новых и новых территорий.

Через несколько дней после начала войны всех немцев отделили от нас и вскоре куда-то увезли. Больше ничего не знаю об их дальнейшей судьбе, но навсегда я сохранил добрую память о них — все они были хорошими товарищами в совместно пережитых нелегких испытаниях, выпавших на нашу долю.

Освобождение

(Из малого лагеря – в большой)

Сорок первый год на инвалидном лагпункте Адак заключенные встречали с надеждой: близился к концу пятилетний срок у осужденных Особым совещанием в тридцать шестом году; тогда этот срок был самым ходовым, и именно эти люди составляли здесь подавляющее большинство.

Нелегко дались эти годы, многие навечно легли в неласковую северную землю – кто на стройке железной дороги, кто на шахтах Воркуты, кто на бесчисленных лесзаговских лагпунктах. Да и здесь, на Адаке, на обширном кладбище рядом с зоной, именуемом в просторечии «на горке», в неухоженных могилах покоилось немало умерших от непосильной работы и постоянного недоедания: туберкулезники, пеллагрики и прочие-прочие...

Лагерь многому научил, по крайней мере, тех, кто способен был научиться. Суровая была эта наука, приходилось отбрасывать многие иллюзии, которые на воле вколачивала в наши головы мощная пропагандистская машина. Здесь, в лагере, в наше сознание прочно вошло понятие о Стране Советов как о большом лагере, и само словосочетание «Большой лагерь» поминалось здесь куда чаще, чем официальное «Советский Союз». Почти все понимали, что и после лагеря человек, отбывший срок по 58-й статье, неминуемо окажется в положении неугодного и вечно подозреваемого, что в родные места, особенно в большие города, жить не пустят... и все же...

На воле, какая она там ни есть, все же не будет опостылевшей зоны с поверками, разводом, выводом на работу строим под конвоем, ночными шмонами и прочими прелестями лагерной

жизни. А главное, там нас ждали родные, близкие люди, которые все эти годы жили той же надеждой, что и мы.

Зимой, а особенно в первые теплые дни сорок первого года, понемногу, а потом все больше стали вызывать на освобождение из «набора» тридцать шестого года. Казалось, что и мне, взятому в ночь с первого на второе апреля, остается еще немного ждать.

Почти три года я провел на Адаке, как-то обжился здесь, с моей категорией инвалидности мне не грозила опасность попасть на этап, из дома регулярно, хоть и не часто (задерживала цензура) приходили письма, иногда и посылки. А ведь сколько раз за эти годы я бывал на краю гибели! Обошлось... Надо было набраться сил и терпения и ждать. Осталось немного...

Все надежды рухнули ранним утром 22 июня. На кирпичный завод, где мы за все эти годы не знали подконвойной работы, а охрану составлял один-единственный стрелок, внезапно нагрянула целая команда вохры. Нас выгнали из бараков, заставили построиться, началась поименная проверка. Сразу бросилась в глаза необычная замкнутость стрелков. В обычной обстановке они здесь, на Адаке, вели себя спокойно и, за исключением узколицего коми Хозяинова, ни к кому не придирались.

Ясно было, что произошло нечто необычайное. «В побег, что ли, кто ушел с головного лагпункта?» — это была первая мелькнувшая в голове мысль. За четыре с лишним года, с тех пор как был создан лагпункт Адак, побегов здесь не бывало. Да и кто из инвалидов-доходяг решился бы на побег за много тысяч километров от центральной России, через необъятные леса и болота этой гиблой «комической республики», как здесь именовали Коми АССР?

Недолго длилось мое недоумение. Оказавшийся рядом со мной в строю начальник завода немец-меннонит Берг, бледный, растерянный, утративший свою обычную невозмутимость, шепнул на ухо: «Война... С Германией...» Я остолбенел... Ну и ну! Как обухом по голове... Было чему удивляться!

Из доходивших до нас газет можно было заключить, что именно с Германией отношения у нас самые что ни на есть наилучшие. В статьях центральной прессы проглядывало нескрываемое удовлетворение успехами гитлеровской армии в войне с западными державами. Доходили слухи об эшелонах

с продовольствием, непрерывно идущих от нас в Германию. Отблагодарили...

С началом войны режим на лагпункте резко ужесточился. Особенно тяжелым он был в первые месяцы. Зачитали приказ — отменялось освобождение по окончании срока для осужденных по политическим статьям. Заодно лишили нас права переписки, правда, через полгода разрешили получать письма и раз в месяц писать по письму. Без вестей от родных было невероятно тяжело, особенно тем, у кого они оказались в зоне тяжелых боев, а затем в оккупации. До нас доходили сведения о жестоких бомбовых ударах германской авиации, об оставленных городах; многие терзались, не зная, живы ли их близкие или погибли.

Начальство отнюдь не стремилось информировать заключенных о ходе военных действий, сведения поступали отрывочные и не всегда достоверные. Постепенно нам удалось установить некую закономерность: когда положение на фронтах становилось особенно тяжелым, наше начальство как бы поджимало хвосты и подчас шло на некоторые послабления, правда незначительные, но чуть только поступали известия об успехах, действительных или мнимых, снова начиналось завинчивание гаек.

В этой обстановке оживились, подняли головы немногочисленные у нас, но весьма опасные стукачи. Их на лагпункте знали наперечет, в этом отношении информация всегда была на уровне. Бывало, везут откуда-то этап с пополнением, а его уже предвеляет извещение: едет к вам на Адак такой-то, сволочь, стукач, остерегайтесь. И стереглись, сколько было возможно.

Вот эти-то люди после начала войны оказались особенно нужными: то и дело кого-нибудь из этой братии вызывали на головной лагпункт к оперуполномоченному. Тот шагал, провожаемый ненавидящими взглядами, и недаром: обычно уже в ближайшую ночь кого-то забирали и назад он уже не возвращался — сажали в штрафной изолятор и вскоре увозили на Воркуту.

Страшные это были ночи. Внезапно со скрипом отворялась дверь, в барак входили вохровцы, их сопровождал комендант с фонарем. И тут, наверное, у каждого из нас возникало омерзительное чувство, унижительное, безысходное: не за мною ли? Называлась фамилия, и затем следовал окрик: «С вещами!»

Человек собирался растерянно, обреченно, при общем гробовом молчании, дверь за ним затворялась... И до рассвета лишь немногие могли заснуть.

Среди зимы обострился процесс в легких, и меня в очередной раз положили в стационар, там пришлось проваляться до мая. После выписки я надеялся вернуться на кирпичный завод — так обычно бывало. Однако на этот раз меня оставили на головном лагпункте, правда, поначалу на работу не посылали.

Остаться в зоне я не хотел: на заводе были все мои друзья, там не было зоны, которая любому заключенному особенно ненавистна. Поэтому я стал добиваться возвращения на завод. В УРЧ (учетно-распределительная часть) сперва отмалчивались, затем на очередном разводе нарядчик зачитал, что я направляюсь в здешнюю бригаду. И тут я уперся: «Пойду на любую работу в заводе, а здесь выходить не стану».

Начиная эту тяжбу, я понимал, что рискую нарваться на серьезные неприятности вплоть до обвинения в саботаже. Прошли те времена, когда на заводе заправляли мои друзья, сперва Илья Любарский, затем Вениамин Флегонтович Романов — они-то обязательно меня бы отсюда вытащили. Теперешний начальник Днепров относился ко мне неплохо, но не тот это был человек, чтобы за кого-то хлопотать. Приходилось надеяться только на себя. Шансы у меня все же были: от работы я не отказывался, даже просился на более тяжелую.

И все же, когда утром 22 мая сорок второго года, через час после очередного отказа выйти на работу с бригадой посыльный вызвал меня в спецчасть, я невольно сник: доигрался, не иначе, под следствие попаду. В ожидании самого плохого я медленно побрел к избушке, где эта спецчасть помещалась. Там я не бывал ни разу, но знал определенно, что за хорошим туда в теперешнее время не вызывают. И был совершенно ошарашен, когда перед мной на стол легла небольшая бумажонка — постановление об освобождении по окончании срока; на ней мне следовало расписаться.

Мой срок окончился почти два месяца назад, но это казалось несущественным. На лагпункте были десятки, сотни людей, у которых срок закончился много раньше — ведь с начала войны не только никого из пятьдесят восьмой не освобождали,

но и уже освобожденных возвращали в лагерь. Моих близких друзей, Лебедева и Латова, освобожденных перед началом войны, вернули прямо с дороги. Как активированные инвалиды, они снова попали на Адак. Считалось, что хоть в этом им повезло.

Скоро выяснилось, что кроме меня освобождаются еще пять человек. Известие быстро облетело лагпункт и вызвало всеобщее волнение. Все мы здесь смирились с мыслью, что до окончания войны об освобождении нечего и думать. Теперь не верилось, что такое возможно. Дошло до того, что один очень хороший и давно меня знавший человек вполне серьезно принялся допытываться: действительно ли у меня пятьдесят восьмая статья, а не бытовая. Настроение у всех поднялось: значит, начали освобождать. А я по приобретенной в лагере привычке попытался додуматься: почему именно эти люди?

Освободались кроме меня агроном Вася Николаенко, молодой уйгур Юсуп Тохтаахунов, усатый кавказец, которого все на лагпункте звали Хасбулатом, хромой инженер Динерман и хрупкая интеллигентная женщина по фамилии Эйсмонт. Ее и Хасбулата я почти не знал. Ну, с Николаенко более или менее ясно: агроном с Украины, первоначально осужден на 25 лет «за умышленное заражение зерна долгоносиком», позднее, как и все такие «вредители», переквалифицирован с новой формулировкой «за халатность» и сокращением срока до пяти лет — стало быть, теперь бытовик. Юсуп и Динерман — оба инвалиды с тяжелым повреждением позвоночника, Динерман к тому же и хромой; однако среди окончивших срок здесь было немало еще более тяжелых инвалидов, к примеру, полностью ослепший Келлер — их освобождать не спешили.

И, наконец, я сам — ну, туберкулез, правда, тяжелый, но таких здесь хватало. Однако предположение все же у меня возникло. Когда началась наша дружба с Гитлером, многим, особенно таким как Днепров, побывавший в свое время юрисконсультком торгпредства в Германии, это пришлось по вкусу, иные даже преувеличенно восторгались. Этих восторгов я отнюдь не разделял. Тот факт, что советский вариант фашизма лобызался с немецким, представлялся мне событием хоть и вполне логичным, но безрадостным. Разумеется, напрямую это высказать я не мог, но однажды не удержался и сказал, правда, в узком кругу, что фашизм есть фашизм и от Гитлера хорошего ждать нечего.

Возможно, кто-то донес о такой крамоле, особого значения ей не придали, но в формуляр занесли. В дальнейшем, при новом повороте событий, такое могло послужить мне на пользу. Впрочем, повторяю, это только предположение, не более.

Слегка оправившись от пережитого шока, я переговорил с другими освобожденными. Как и я, все они стремились как можно скорее выбраться их лагеря. Решили просить начальника лагпункта сразу же отпустить нас в Кожву, в управление лагеря, где надлежало оформить и получить на руки документы. Сложность заключалась в том, что наше освобождение пришлось на время перед началом ледохода.

Вся связь заброшенного приполярного лагпункта с внешним миром возможна была только по реке Усе: летом на пароходе, а в долгое зимнее время — по льду, на грузовых автомашинах. В конце мая Уса все еще была скована льдом, до ледохода оставалось ждать не менее двух недель, до начала навигации — еще больше, да и пароходы лишь изредка приставали на Адаке: пассажиров здесь, на лагпункте, не было.

Мы просили начальника лагпункта отправить нас машиной до Усть-Усы, а оттуда надеялись по Печоре добраться до Кожвы. Однако начальник, бывший армейский комдив, за какую-то провинность угодивший на север, отказал наотрез: «Лед на реке сейчас тонкий, ненадежный, не раз уже машины с людьми и грузом проваливались и уходили под лед. Я такой риск себе позволить не могу, пока вы в лагере, я за вас в ответе. Оставайтесь, ждите начала навигации, с первым приставшим на Адаке пароходом отправитесь в Кожву. А пока живите, на работу ходить не будете, довольствием обеспечим по полной норме».

Оставалось только согласиться. Сперва нас оставили на своих местах в бараках, на работу не посылали, и я целыми днями слонялся по зоне, как неприкаемый. От безделья мне, «вольному гражданину», безвыходное пребывание в зоне казалось еще более тягостным. Больше всего хотелось оказаться на кирпичном заводе среди друзей, но об этом мечтать не приходилось. И еще было какое-то тягостное чувство стыда, что ли, перед теми, кто оставался здесь.

С нетерпением ожидал я начала ледохода, каждую ночь по несколько раз выходил из барака, вслушивался: не трещит ли лед; здесь, в зоне, река была скрыта за ограждением. Было тихо,

ни малейшего звука... Я возвращался в барак, забирался на нары и думал, думал, иногда не засыпая до утра. А думать приходилось основательно.

Первые полгода после войны я не получал известий от родных — действовал запрет на переписку. Чернигов, где жила наша семья, был в руках немцев, и можно было предполагать самое худшее. Велико было мое облегчение, когда из первого выданного мне письма я узнал, что все мои родные, кроме двоюродного брата (он был на фронте) живы, эвакуировались, добрались до Горького и нашли там приют у моего дяди, инженера автозавода. Я сознавал, что туда меня не пустят, следовательно, предстоит забираться неведомо куда и на какое-то время отказаться от мысли жить вместе с матерью; этой надеждой и она, и я жили все эти годы.

Долгожданный ледоход наступил как-то сразу и в эту весну был, а может быть, показался мне необычайно бурным. В прошлые годы на кирпичном заводе, где не было зоны, в ледоход мы все выбирались на берег и, не отрывая глаз, глядели на реку. Но на головном лагпункте река была скрыта от глаз сплошным частоколом, и нам, «вольным гражданам», приходилось каждый раз выпрашивать на проходной разрешение на выход из зоны.

Вопреки ожиданиям, после нас, во всяком случае вплоть до нашего отъезда никого здесь не освобождали.

Как только прошел лед, нас перевели на кирпичный завод — только там могли приставать пароходы. Из освобожденных только мы с Юсупом были заводскими. Переезд на завод меня обрадовал: последние дни на Адаке проведу среди друзей. Однако начальство мыслило по-иному: нам отвели отдельное помещение и запретили общаться с заключенными. Это было первое ошутимое следствие нашего нового статуса «вольных граждан». Правда, оказавшись на заводе, я и кое-кто из остальных этот запрет сразу стали нарушать. По вечерам я пробирался в барак к своим и оставался там почти до отбоя. Разумеется, наш стрелок Янгаев знал про эти вылазки, но, прожив с нами бок о бок почти три года, закрывал глаза. Спокойный и немногословный, он никогда не использовал нам во вред свою немалую власть.

Уже началась навигация, но первые пароходы, несмотря на сигналы коменданта и стрелка, к нашей пристани не пово-

рачивали. Несложный скарб и документы были при нас, приходилось набираться терпения и ждать.

Наконец в ясный солнечный день, когда мы уже утомились от долгого стояния на берегу, проходивший по Усе пароход начал разворачиваться к нашему берегу. Мы бросились в барак за вещами, попрощались с теми, кто оставался, и по наспех спущенному трапу поднялись на пароход, но не все шестеро. Незадолго до этого неожиданно объявили, что задерживается Динерман, как всегда, не объясняя причины. Это был мерзкий удар ниже пояса — поманили человека свободой и вдруг такое. До сих пор остаюсь в неведении — в чем тут было дело и как сложилась дальнейшая его судьба.

Тот путь, который в тридцать восьмом году я проделал полуживым доходягой под конвоем, предстоял мне в обратном направлении на положении вольного, с билетом на руках. Все мы до позднего вечера, не покидая палубы, глядели на поросшие лесом берега Усы. Был июнь — самое красивое здесь время белых ночей; наверное, впервые мы в полной мере ощутили своеобразное очарование этих мест. Дышалось легко, на реке не было комаров и гнуса, так докучавших в летнее время все эти годы... Мы почти не говорили, лишь изредка обменивались короткими замечаниями, каждый думал о своем.

Сейчас совершенно не могу вспомнить, как добирались до Кожвы, зато в памяти отчетливо сохранился солнечный день и первое, что увидел в Кожве: зона, добротнo огороженная частокoлом, стрелки на свежесрубленных вышках... Все тот же сон... и при входе через проходную я весь внутренне сжался, как будто и не расписывался на бумажонке об освобождении.

Вахтенный стрелок просмотрел наши документы, мы вошли в зону... и тут я попал в объятия моего давнего знакомого, адакского старожилa Самуила Мучника.

— А я тебя здесь давно поджидаяю! — были его первые слова.

Москвич, прошедший до Адака шахты Воркуты, искалеченный при обвале породы и оставшийся хромым, Самуил работал на Адаке в бухгалтерии; оттуда его как отличного работника перевели в Кожву, в бухгалтерию главного управления лагеря. Я как-то позабыл, что он в Кожве, а Самуил, работая в бухгалтерии, узнал о предстоящем освобождении много раньше,

чем я сам, ведь через них проходили все расчетные документы. Самуил был бодрым, оживленным, его смуглое лицо с пышной шапкой седеющих волос светилось энергией и умом. Он тут же потащил меня в барак для управленцев, где жил, и принялся угощать, попутно объясняя, где и как мне оформлять документы.

Разумеется, я был рад этой неожиданной встрече с человеком много старше и опытнее меня с ясным умом, удивительно доброжелательным. Я поделился с ним своими раздумьями и попросил совета: как быть с выбором места жительства.

Так сложилась моя жизнь до лагеря, что кроме Москвы, где я родился и учился в институте, и Чернигова, где прошло мое детство, я больше нигде не бывал, да и все мои родные, за исключением дяди, инженера Горьковского автозавода, жили только в этих двух городах. Теперь Чернигов оказался у немцев, а Москва и Горький для таких как я были местами запретными. Остальные города и веси необъятной страны казались такими же неизведанными, как Луна или Марс. В ближайшие дни мне предстояло сделать выбор, тут же оформить документы и выезжать на место. Самуил согласился со мною, что в такое время разумнее забраться куда-нибудь поглуше. В крупных городах, если даже разрешат проживать, опасность гораздо больше — под боком у гебешников трудно уберечься от их бдительности, того и гляди заметут по новой.

Почему-то еще на Адаке мне запала в голову мысль — забиться куда-нибудь на Алтай. Больше никаких других вариантов в запасе не было. Я был готов обосноваться в любом месте, лишь бы забрать к себе маму, так много пережившую за все эти годы, и жить с ней и для нее. О какой-либо иной личной жизни, тем более о продолжении образования, я и думать не хотел, настолько измотали меня лагерные годы. Вместе с тем я твердо верил, что после испытанного не побоюсь любой работы и смогу обеспечить себя и маму, благо требования к жизни у нас самые скромные.

— Вот что я могу тебе предложить, — сказал Самуил. — Мой брат, инженер-химик, сейчас эвакуирован со своим заводом в Татарию, в поселок Бондюга, там большое химическое производство. Если уж тебя не пустят на Алтай или еще куда ты попросишься, назови Бондюгу, там, во всяком случае, будет человек, который тебя поддержит и поможет в устройстве

на новом месте. Я дам тебе письмо к нему, и что будет в его силах, он сделает.

С таким планом действий я и отправился на собеседование в спецчасть.

Разговор с принимавшим нас поодиночке гебевским чином прошел по единому сценарию: называешь желаемый город — отказ, предлагаешь следующий — то же, сам начальничек ничего не предлагает: называй, дескать, следующий, а мы посмотрим. Хотя все мы, зная правила игры, называли городки, удаленные от крупных центров, оказалось, что и они для УГБ неприемлемы. Мне в Бийск оказалось нельзя, больше ничего в запасе не было, назвал Бондюгу и получил добро. Когда все мы прошли собеседование, оказалось, что всем определили жить-проживать в приволжских городах, вот и мне поблизости, в Прикамье.

Еще до собеседования в спецчасти у меня неожиданно появилась новая возможность устроиться. Васе Николаенко предложили остаться здесь, в Кожве, заведующим складом управления лагеря. Его родные места (уж не припомню, Херсонщина или Николаевщина) были захвачены немцами, известий о семье он не имел. Ехать ему было некуда, условия предлагались хорошие, и Вася решил согласиться. Теперь он предложил нам с Юсупом остаться работать вместе с ним и горячо убеждал согласиться: «Оставайтесь, я уже о вас договорился, будем вместе жить, как братья, здесь таким, как мы, сейчас спокойнее и безопасней, мало ли как и к чему там могут прицепиться. Обживешься, потом и мать к себе заберешь».

Я ни на минуту не сомневался в искренности этого великодушного, и в общем разумного, предложения. Здесь сказались та братская взаимопомощь, та бескорыстная поддержка, чем лагерная жизнь при всех ее тяготах на несколько порядков превосходила так называемую вольную. В этом мне предстояло убедиться в скором времени уже в армии.

На заброшенном отдаленном лагпункте, каким был Адак, мы совершенно не представляли себе, насколько изменилась к худшему жизнь страны в военное время. Однако в Кожве, как-никак управленческом лагпункте при железной дороге, осведомленность была намного точнее. Здесь я впервые услышал о тяжелом положении с продовольствием, о вшивости, о разгуле преступности, об эшелонах с ранеными, непрерывным пото-

ком поступающих с фронтов. В глубинке лагерного края дыхание войны еще не сказывалось в полной мере. Уровень жизни вольного населения существенно не изменился, да и лагерники при ужесточении режима пока еще получали такое же довольствие, что и до войны. Во всяком случае, так было на Адаке и в Коже.

Но никакие соблазны спокойной и более или менее обеспеченной жизни не могли меня остановить. Я никогда не решил бы обречь мою мать на жизнь вдали от всей нашей семьи рядом с зоной. Все эти годы я только и жил надеждой вырваться с Севера и отрясти весь лагерный прах от ног своих. Решимость ехать в Россию осталась неизменной. Я от души поблагодарил Васю и пошел на собеседование. Юсуп решил остаться.

Оформление документов оказалось несложным, мне выдали справку об освобождении и еще какие-то документы, с ними я обязан был отмечаться в спецкомендатурах как в конечном пункте назначения, так и на пересадках. На складе я получил сухой паек на пять дней и аттестат. Продукты были хорошие: консервы в банках, сахар, масло, крупы. Случайно в каптерке оказался вохровец. Глядя, как я укладываю в свой рюкзак все это добро, он сказал:

— Забирай и еще, если можешь, здесь прикупи. Я только вернулся из отпуска, там, в России, ничего такого не достать, голодно. Оставался бы лучше на Севере.

Но я уже всем своим существом был нацелен на отъезд. Хоть и не надолго, но к своим, к маме, а там будь что будет... После лагеря ничто меня не страшило.

В Россию я ехал по той самой железной дороге, которую мне довелось строить в начале моего лагерного пути почти пять лет назад. Под мерное постукивание колес вагона я вглядывался в необъятные леса, среди которых пролегла трасса. Освещенные солнцем, они казались сказочно красивыми. Небольшие полустанки, мимо которых мы проезжали, выглядели благоустроенными. Если бы я не знал (причем не понаслышке, а по собственному горькому опыту) страшную историю этой стройки, где в нечеловеческих условиях были угроблены тысячи людей, железная дорога, по которой в короткое время предстояло добираться к родным, могла показаться великим благом. Но в пути, проезжая станции с памятными именами Ухта, Княж-

Погост, Тобысь, я вспоминал тот ад, какой прошел в этих местах. Обидным и чудовищно несправедливым казалось мне неминуемое в будущем забвение тех жертв, которые были принесены здесь во имя «светлого будущего». Добравшись до Котласа, я осознал, что страна военного времени, представшая предо мной, совершенно иная, чем та, долагерная, оставшаяся в моей памяти. Прежде всего бросалась в глаза обстановка на станциях: грязь, свалки, подчас даже драки при посадках в вагоны, озлобленные, растерянные люди, множество раненых, на костылях или с руками, притянутыми бинтами к туловищу, иные с повязками, сквозь которые проступала кровь.

Поразила и непривычная для меня торговля с рук махоркой, хлебом и карточками на хлеб и, конечно, цены. Ведь тридцать седьмой год, когда я попал в заключение, был, особенно в Москве, внешне благополучным, тогда страна, казалось, начинала оправляться от развала, вызванного коллективизацией. Теперь контраст был разительный.

Неуютным, грязным показался мне и Горький, особенно Канавино — привокзальный район. Город мне был незнаком, предстояло отыскать в нем родных. Из последнего полученного письма я знал, что мой дядя, в военное время назначенный начальником эвакогоспиталя, также оказался в Горьком, куда еще в начале войны была эвакуирована вся наша семья; пока они на автозаводе, но ожидают переезда в квартиру при госпитале. Мне предстояло отыскать их адрес в справочном бюро, это казалось делом несложным. Из-за усвоенного за годы лагерной жизни чувства постоянной неуверенности в завтрашнем дне я не сообщил родным о своем освобождении, решил не искушать судьбу — сам объявлюсь и все.

Сперва я пошел отметить в спецкомендатуре, она оказалась рядом с вокзалом, затем отыскал киоск справочного бюро и запросил адрес дяди — военного врача. Его не нашли, пришлось запросить адрес второго дяди, постоянного жителя Горького. Он нашелся: Автозавод, Соцгород, Бусыгинский квартал, и я сразу двинулся туда.

В то время пространство между Канавином и Автозаводом оставалось почти незастроенным и, глядя в окно трамвайного вагона, я видел унылую, почти без зелени равнину, лишь кое-где — невзрачные дома.

Добравшись до Соцгорода, я, постоянно спрашивая встречных, оказался наконец в Бусыгинском квартале. Озелененный, застроенный добротными многоэтажными домами, этот район заметно отличался от непритязательной застройки Канавина.

И вот я у дверей квартиры, адрес ее обозначен на полученном в Горсправке листке. Не без робости я нажал кнопку звонка. Дверь открыл мальчуган лет восьми — как я понял, самый младший из моих двоюродных братьев и единственный из них, кто меня не знал. Теперь, чистенький, светловолосый, в аккуратной пижамке, он испуганно глядел на незнакомого дядю в темной, изрядно поношенной одежде и линялых грязно-серых обмотках, небритого и неумытого, с мешком в руках.

Не успел я представиться, как за ним в прихожую выглянула тетя, его мать, и сразу узнала меня:

— Витя... ты освободился?

Первый мой вопрос был — где мама?

— У себя, они в городе живут, сейчас буду туда звонить, ведь надо ее подготовить... и тебя тоже, ведь не должна она видеть тебя в этой одежде... Сейчас приготовлю тебе пижаму и ванну, пока будешь мыться, позвоню туда.

Через некоторое время, уже после ванны, переодетый в дядину пижаму, несколько короткую и слишком просторную для меня, я блаженно сидел за столом, отвечал на бесчисленные вопросы тети Жени, а рядом, не отрывая от меня глаз, стоял Алик. Пока я был в ванной, вся моя лагерная одежда куда-то исчезла, и больше я ее не видел — недаром тетя с момента моего появления в квартире смотрела на нее с нескрываемым ужасом. Исчез бесследно и короткий овчинный полушубок, каким-то чудом дошедший до меня в одной из посылок. Его я таскал с собой года три с лишним, он служил мне и одеждой и постелью. Как я понял, его постигла участь прочей моей одежды.

Из того, что я привез с собою с Севера, сохранились две присланные мамой книги («Искусство Палеха» Бакушинского и «История фаянса» Габе) и мешочек с открытками и письмами, которые мама посылала мне на Север. И письма и книги я храню и посейчас; «Искусство Палеха» — в обертке из изношенной лагерной гимнастерки, своеобразный лагерный супер — все это я сберег в своих скитаниях.

Зазвонил телефон: маму уже успели подготовить, я услышал ее срывающийся от волнения голос. После нее со мною говорили те из родных, кто в это время оказался дома, они спешили поздравить меня, сказать слова приветя. Сейчас, сказали мне, уже известили дядю, и все они выезжают за мной на машине. Как хорошо мне было в эти незабываемые минуты!

Вскоре они приехали — дядя, заменивший мне отца, в непривычной военной форме с погонами, как всегда энергичный, доброжелательный, мои тетки, младший двоюродный брат, которого я помнил добродушным мальчуганом, теперь студент атлетического сложения и мама, от волнения не находящая слов. Она за эти годы заметно постарела, но общее радостное оживление скрыло тогда от всех нас ее неизлечимую болезнь — никто не мог предположить, что ей оставалось всего два года жизни.

Не было с нами в эти счастливые минуты моей бабушки, она умерла уже в Горьком, не перенеся разгрома и разорения, постигших нашу семью с начала войны. Не дождалась ни меня, ни самого любимого из внуков, моего двоюродного брата — он был на фронте, писем не было, его считали погибшим. Позднее, уже зимою, от него пришло письмо, где в иносказательной форме (напрямую запрещалось военной цензурой) он дал понять, что воюет под Сталинградом.

Семья наша была разорена, навсегда лишилась родного очага, «Большого дома», как мы все его называли. Туда при любой возможности съезжались к своей матери, моей бабушке, сыновья, мои дяди из Москвы и Горького; в этом доме мой дядя, врач, второй сын в семье, своей неукротимой энергией и деятельной добротой создал, казалось бы, нерушимую крепость, объединявшую всех нас, — все порушила война.

Но такая это была минута, что не хотелось вспоминать пережитое за годы разлуки — все мы чувствовали себя счастливыми, хотя сознавали, что ненадолго — мне предстояло отметить в комендатуре и в кратчайший срок отбыть на место назначения в Бондюгу. Меня окружала всеобщая любовь, забота, которой я был лишен все эти годы; так тяжело было отрываться от близких, родных и тащиться неведомо куда.

С тех пор прошло более полувека, мне было суждено пережить всех, кто в те дни радовался моему освобождению: ушло из жизни старшее поколение нашей семьи, чудесные люди,

отзывчивые, добрые; я бесконечно благодарен им за то, что они были в моей нелегкой жизни самым светлым и чистым, не стало и двоих моих двоюродных братьев: один был сбит насмерть лихачом-шофером, второй, тот, что восьмилетним изумленно глядел на меня в Соцгороде, умер от болезни сердца сравнительно рано.

Только два дня довелось мне пробыть среди родных. Когда я уезжал, на мне была новая одежда, а в багаж было уложено белье и продукты, какие удалось собрать. Увы, большую часть этого, по военному времени бесценного, груза уже в следующую ночь у меня украли на вокзале в Канаше. Ожидая поезда, утомленный, я не выдержал и задремал, вот и поплатился.

Я ехал в Бондюгу с одним желанием — обосноваться, найти работу, при первой возможности забрать к себе маму, жить вместе, хоть как-нибудь искупить свою невольную вину перед нею. Ничего из этого не сбылось, все получилось совсем по-иному.

В Бондюге меня дружески встретил брат Самуила, но в поселке я не остался. Работать здесь можно было только на химзаводе, но с моими легкими это было невозможно, даже на улицах поселка воздух был отравлен, я сразу начал надрывно кашлять. Выход подсказала случайная встреча в комендатуре, куда пришлось пойти регистрироваться. Там я разговорился с молодым украинцем; после тяжелого ранения он был признан полным инвалидом, родные места были захвачены немцами, поэтому он осел в селе Икское Устье, что на Каме. Жилось ему там неплохо, и он советовал проситься туда. Я так и сделал, в комендатуре не возражали и выписали документ на жительство. На рыночной площади я отыскал подводу из Икского Устья и по проселочной дороге добрался до места.

Икское Устье — старинное село на высоком правом берегу Камы при впадении в нее реки Ик. Население — русское, в Татарии, в сельской местности такое повелось с давних времен: селения чисто русские чередуются с чисто татарскими. Приняли меня хорошо, поселили в семье бригадира рыболовецкой бригады, в ней я сразу почувствовал себя своим. Люди здесь оказались хорошими, колхоз был крепкий, и жил народ по меркам военного времени неплохо. Всем работающим выписывали продукты: пшено, иногда и мясо. Я определился в сеноуборочную бригаду. Труд на чистом воздухе и неплохое питание

(в бригаду дважды в день привозили горячий обед и ужин) пошли мне на пользу, давно уже я не чувствовал себя так хорошо. А главное, работа здесь была не подневольная, люди трудились охотно, не жалея сил. В бригаде были женщины, старики, особенно много было молодых ребят допризывного возраста, некоторым вскоре предстояло уходить в армию. Почти все взрослые мужчины были на фронте, уже приходили похоронки, но все же здесь война еще не отразилась на повседневной жизни так разрушительно, как в городах. Не было здесь того озлобления и одичания, которые сразу бросились в глаза, как только я оказался в центре России.

Вскоре по совету моего хозяина я перешел в рыболовецкую бригаду. Рыбачили в ней старики и те немногие мужчины, кого по состоянию здоровья не взяли на фронт. Правда, их часто вызывали в район на очередное переосвидетельствование, где кое-кого признавали годным к строевой службе, как это дважды случалось с моим хозяином: его, тяжелобольного, в районе объявляли годным к строевой, а из воинской части возвращали. Вскоре, устав от этой дерготни, он перешел на работу бакенщиком, на бронь, освобождавшую от армии.

Рыбачили мы на Каме, улов сдавали в счет обязательных поставок государству. Работа эта, хоть и тяжелая, позволяла мне вносить весомую лепту в радушно приютившую меня семью. Целый день, с раннего утра до наступления темноты мы проводили на Каме: заводили огромный невод и затем, надрываясь, всей бригадой тащили на берег, выбирали трепещущую рыбу – лещей, язей, шук, иногда попадались судаки. После первой тони помощник бригадира принимался готовить на всю бригаду уху из отборной рыбы, а мы, разобрав невод, заводили его снова.

Когда попевала уха, вся бригада собиралась к котлу, доставали собранные дома припасы: соль, хлеб, лук и, расположившись на песке, принимались за трапезу. Вкуснее этой ухи, дымящейся, крепкой, настоящей рыбацкой, без какой-либо приправы, мне ни до ни после есть не приходилось. Отдохнув, заводили невод снова и снова до позднего вечера, последнюю тоню, по обычаю «на счастье» – для себя, этот улов делили поровну. В темноте, измокший донельзя, утомленный, я при-

ходил домой и сдавал хозяйке, тете Паше, улов — мой вклад в семью.

Я был доволен, появилась уверенность, что своим трудом смогу прокормить себя и маму. Еще до наступления холодов я собирался забрать ее к себе — после всего пережитого мы не мыслили жить в разлуке. Как хорошо, что я не успел этого сделать!

Неожиданно пришла повестка: меня вызывали в район на медицинскую комиссию. В лагере в течение четырех лет я неоднократно проходил переосвидетельствование, и неизменно комиссия подтверждала инвалидность. Помимо заработанного в лагере туберкулеза легких у меня с детских лет была деформирована стопа левой ноги. Поэтому на комиссию я ехал, уверенный в том, что пройду очередной осмотр и к вечеру вернусь обратно.

Но в это время из-за огромных потерь на фронтах военкоматы получили указание забирать всех, кто хоть как-нибудь может быть использован в армии. На местах, особенно в сельских районах, задавались плановые цифры мобилизации, за невыполнение военкомам грозило снятие с должности и немедленная отправка на фронт. Немудрено, что они давили на медиков и нередко добивались своего — годными к строевой признавались больные туберкулезом в активной форме, инвалиды с пороком сердца, язвенники, эпилептики. На комиссии, почти не осматривая, меня признали годным, на сборы дали два дня. Все мои планы рушились. Немедленно я отправил телеграмму, сообщил, что уезжаю в армию. Тепло простился с приютившей меня семьей, провожали меня, как родного, в дорогу тетя Паша напекла мне шанег с начинкой из рыбы, целый ворох снеди был заботливо уложен в мой рюкзак. Уезжал я с тяжелым сердцем.

Из Бондюги команду новобранцев пароходом отправили в Казань, вез нас немолодой лейтенант. Ехали мы в качестве палубных пассажиров, народ подобрался хворый, кроме хронических больных были и раненые фронтовики, признанные после госпиталя негодными; в районе их снова замели — выполняли план. Много было немолодых колхозников на пределе призывного возраста, в моих глазах это были старики. Настроение

у всех было подавленное, одно чувствовали — везут на убой... и все.

Пароход был забит пассажирами до отказа, особенно тесно было на верхней палубе, где грудились ленинградцы-блокадники. До этой поездки мне не доводилось вплотную сталкиваться с людьми, жизнь которых война поломала столь круто и безжалостно. Моим близким, хотя и потерявшим родной дом и все что в нем было, все же в какой-то степени повезло. Им чудом удалось выбраться из Чернигова чуть ли не с последним железнодорожным составом, избежать обстрела. Живыми и невредимыми они — три немолодые женщины с двумя глубокими старухами и тремя детьми — добрались до Горького, где нашли приют у родных людей.

Ленинградцы — почти все это были женщины с маленькими детьми — вынесли все тяготы блокады, многие потеряли близких, умиравших у них на глазах голодной смертью. Наконец их вывезли, и теперь они следовали в сельские районы Татарии, где предстояло жить в эвакуации. Они были истощены, растеряны; мужчины из этих семей с начала войны ушли на фронт, и об их судьбе ничего не было известно. Немногие захваченные с собою вещи составляли все их достояние.

До встречи с этими людьми мне казалось, что в лагере я прошел все степени голодания, — теперь я понял, что ошибался. Изможденные женщины с неестественно тихими полуживыми детишками, многие из которых лежали на разостланных пальто или одеялах, неспособные даже приподняться, показались мне много страшнее, чем все виденное в лагерьном стационаре.

Поразило меня то, что все они беспрерывно что-то готовили или ели. На пароходную кухню их не допускали, там просто невозможно было готовить на такую ораву, однако в кипятке не отказывали. И вот в этом кипятке люди запаривали купленную или выменянную на пристанях картошку, укутывали тряпьем и, обычно недоваренную, тут же съедали. Рядом со мной на палубе расположилась хрупкая молодая женщина с ребенком лет трех или чуть меньше, со сморщенным стариковским личиком. Она не успевала кормить ребенка, тот ел и ел не переставая.

На севере я, прежде не отличавшийся чрезмерным аппетитом, превратился в заправского едока, но этот малыш на моих глазах поглощал столько, что такое мне не под силу было одо-

леть. И он был не один такой, все, особенно дети, никак не могли остановиться. Я осторожно заметил матери, что так кормить ребенка бесполезно, да и опасно.

— Знаю, — отвечала она, — но теперь уже не так страшно, вначале, когда нас только вывезли, многие сразу с голоду наедались и погибали. Ведь понимаю, что не надо бы ему давать, а отказать не в силах. Он только начинал ходить, когда мы попали в блокаду, а потом от истощения даже на ножки становиться не стал, вот и сейчас не ходит.

Глядя, как на пристанях ленинградцы толпой бросаются менять остатки своего скарба на картошку по кабальному курсу, я стал убеждать эту неглупую интеллигентную женщину повременить, приберечь вещи, без которых, особенно в зимнее время, на новом месте будет очень трудно. Она соглашалась со мной, но не уверен, смогла ли удержаться и хоть что-то сохранить.

Вот так мы плыли по Каме, затем по Волге. Сухого пайка мне хватало, денег для покупок на пристанях просто не было, поэтому на берег я не сходил, предпочитая наблюдать с палубы за обычной суетой — пассажиры при остановках спешили что-нибудь купить на берегу.

Однажды, после того как прозвучал звонок, призывающий пассажиров с пристани на пароход, среди поднимавшихся по трапу мелькнула знакомая голова с залысинами. Сначала я подумал, что ошибся, — в свое время я видел этого человека в лагерной телогрейке, чаще — в белом медицинском халате, теперь он был в военной форме с офицерскими погонами. Человек мелькнул и скрылся среди каютных пассажиров. Я не был твердо уверен, что это именно он, Александр Алексеевич Нейман, главный врач управления лагерей в Усть-Усе, а позднее — главный врач на лагпункте Адак. Если бы не он, давно, еще в тридцать восьмом году, лежать бы мне «на горке». Освободился он еще в сороковом году, и с тех пор я ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Не верилось, что человека, отсидевшего по пятьдесят восьмой статье, допустили до офицерского звания.

Однако зрительная память у меня всегда была отличная, ей я доверял, поэтому решил окончательно убедиться. К каютам нас, палубных пассажиров, и близко не подпускали, оставалось караулить на пристанях. Уже на подходе к следующей пристани я выбрал удобное место на палубе, откуда был хороший

обзор, и стал вглядываться. Да, я и впрямь не ошибся, это был Александр Алексеевич, он спускался по трапу на берег. Тотчас я сбегал по трапу и встретил доктора, возвращавшегося на пароход с какой-то покупкой.

Радостной была наша встреча. Александр Алексеевич всегда относился ко мне с исключительным вниманием и заботой, мне же в свое время посчастливилось хоть немного отблагодарить доктора, доставив близкому ему человеку, медсестре Татьяне Николаевне Ерофеевой, передачу из Усть-Усы — деньги и кое-какие продукты.

От Александра Алексеевича я узнал, что после освобождения они с Татьяной Николаевной обосновались в Овинищах, районном центре Калининской области, не так давно родился ребенок. С начала войны его мобилизовали, теперь он военврач третьего ранга, возвращается из командировки. Доктор увел меня к себе в каюту, и до Казани мы все время провели вместе. С ним я поделился своими тревогами: я беспокоился за маму, как она перенесет эту новую беду. Александр Алексеевич посоветовал написать родным письмо, и хотя ему было не совсем по пути, решил заехать с моим посланием в Горький, предупредить и возможно успокоить мою мать. Я опасался, что письмо, отправленное из Икского Устья, пропадет и мама, не дожидаясь, может туда отправиться.

Впоследствии я узнал, что доктор побывал в моей семье и передал письмо родным. Там еще по моим рассказам знали, что значил этот человек в моей лагерной жизни, и приняли радушно, всем он очень понравился. С моим дядей, теперь тоже военным врачом, у них нашлось много общего, его уговорили чуть задержаться в Горьком. Александр Алексеевич много чего рассказал обо мне и о нашей последней встрече на пароходе, третьей по счету. Первая была в Усть-Усе, вторая — на Адаке.

Нашу команду лейтенант довез до Казани. Город показался мне еще более запущенным и грязным, чем Горький. Поразили меня здесь мальчишки, продающие на улицах питьевую воду, такого я нигде не встречал. Впрочем, в городе мне быть почти не довелось, нас сразу же загнали на сборный пункт, где поначалу держали всех мобилизованных. Это заведение ничем не отличалось от лагеря: так же спали на дощатых нарах, такая же проходная с дежурным вахтером, выход в город — только на работы.

Здесь снова была медкомиссия, врачи были много более объективными, чем в Бондюге, осматривали внимательно. Меня признали нестроевым, но от армии не освободили — не то было время.

Сначала невозможно было выбраться в город, но затем, оглядевшись, я все же ухитрился выпросить увольнительную; она понадобилась, чтобы отыскать семью Евгения Ивановича Короткого, высланную в Казань из Москвы. Евгений Иванович — черниговец, мой земляк, в молодости — друг одного из моих дядей, до ареста был заместителем директора Института Маркса-Энгельса-Ленина. Тихий, совершенно седой, инвалид по болезни сердца, он работал на Адаке экономистом. Среди адресов, которые я взял с собой при освобождении, был и адрес этой семьи; я не мог не использовать случай передать привет его жене и сыну.

Не без труда я отыскал их в убогой комнатухе, почти без мебели. Жили они трудно; и мать, и сын работали на военном заводе, оба, особенно шестнадцатилетний парнишка, выглядели крайне истощенными. Я передал им привет от мужа и отца. Евгений Иванович, во всяком случае, в бытность мою на Адаке, жил много лучше, чем они «на воле». Работа в конторе для него была вполне посильная, жил он не в общем бараке, а в домишке для конторских, и я, не кривя душой, мог своими вестями принести хоть какое-то успокоение в эту разоренную семью. Не знаю, что стало с ними, уберегла ли судьба сына Евгения Ивановича от фронта.

Из Казани меня направили в воинскую часть, стоявшую в глубинке Марийской АССР, оттуда позднее перевели в Йошкар-Олу на обслуживание гаража. Осенью сорок второго года по счастливой случайности я в составе воинской команды попал в Горький.

Как негодный к строевой службе, но годный к физическому труду (такова была формулировка моей статьи в перечне болезней), я подлежал отправке на одно из горьковских предприятий, но по ходатайству дяди меня направили на работу в эвакогоспиталь в качестве санитаря. Жить пришлось при госпитале на казарменном положении, но в свободные часы по увольнительной я имел возможность отлучаться и проводил это время в семье, с мамой.

Работа в госпитале, особенно в те дни и ночи, когда прибывали эшелоны с ранеными, была нелегкой. Тяжело было видеть этих искалеченных ребят, было не по себе от сознания, что я не на фронте, а в тылу, в относительной безопасности – летом срок второго года в течение нескольких недель Горький по ночам регулярно бомбили немецкие самолеты. Эти ночи я проводил на крыше госпитального здания, там был наш пост на случай попадания зажигательной бомбы. От сброшенных немцами осветительных ракет становилось светло почти как днем. То и дело на нашу крышу падали осколки зенитных снарядов – ими обстреливали вражеские самолеты батареи ПВО. Иногда в скрещении лучей света, направленный с земли, попадал немецкий самолет, эдакая метавшаяся в небе мошка, но тут же ускользал.

Сидя на крыше, мы ждали, не появятся ли наши самолеты, но напрасно, они обычно встречали немцев на подлете к городу. Мой напарник, веселый и бесстрашный сержант Васька Минин, парень лет двадцати из Архангельской области, во время налетов лежал у конька крыши, не обращая внимания на падавшие рядом осколки: проверял, по его выражению, теорию вероятности. Я же хотел испытать самого себя и, лежа рядом, радовался, что не испытываю страха. В двадцать с небольшим это еще могло успокаивать.

Ближе к рассвету бомбежка заканчивалась. Сирены, в двенадцать ночи призывавшие нас на пост, теперь звучали на отбой. Мы спускались с крыши и расходились – хоть пару часов поспать.

В армии, а потом в госпитале, я постоянно чувствовал себя отчужденным от всех, с кем приходилось сталкиваться, и не переставал чуть ли не с ностальгией вспоминать наше небольшое, но крепкое духом сообщество на Адаке. Здесь, «на воле», меня, пожалуй, сильнее, чем в свое время в лагере, угнетало чувство страха, постоянное недоверие к людям. Больно вспоминать – север, лагерь настолько изменили меня, так отдалили от всеобщего натужно-оптимистического восприятия жизни, вдолбленного официальной пропагандой, что мне с родными, да и им со мною, было нелегко. Когда отошла первая, чистая радость после избавления от лагерей, от встречи с близкими, тяжким грузом на мои отношения

с мамой легло совершенно разное восприятие действительности, сложившейся обстановки.

Из лагеря я вышел с ясным пониманием того, что Сталин и весь его режим преступны, бесчеловечны и, по сути, ничем от фашизма не отличаются. Ничего, кроме ненависти, к этому строю я не испытывал. В лагере слово «патриот» с добавлением «лагерный» было самым что ни на есть унижительным, а наименование СССР расшифровывалось (разумеется с величайшей конспирацией) как Смерть Сталина Спасет Россию. В глазах моих родных Сталин прежде всего был человеком, возглавившим борьбу с фашизмом, чуть ли не гением — так тогда думали очень многие. Мои двоюродные брат и сестра были на фронте. Мама, испуганная моей мрачной ненавистью, очевидно, страшась за меня, робко пыталась меня переубедить; думаю, прежде всего, она по-своему хотела меня охранить.

Сейчас мне больно вспоминать, как я в ответ взрывался, не щадя ее: «Неужели я там, в лагере, для того мучился, чтобы после всего пережитого, здесь, в своей семье, такое слышать!» Еще ее огорчало мое нежелание продолжить, более того, даже помыслить о продолжении образования, о личной жизни. Но здесь она, обычно тихая, не умевшая и не желавшая навязывать кому бы то ни было свою волю, была непреклонна, настойчиво уговаривала, убеждала добиваться восстановления в институте. Только благодаря ей я позднее решил продолжить образование.

В сорок третьем году вышло постановление вернуть из армии бывших студентов на третий курс и старше. Мой московский дядя обратился с ходатайством о моем возвращении в институт. Вопреки моей уверенности, что это дело несбыточное, я получил вызов и не без колебаний поехал в Москву.

Начиналась новая полоса в моей жизни, но я признавал, что та, прежняя, лагерная, из памяти не уйдет, и не все в ней я буду вспоминать с ужасом, иное и с благодарностью. Возможно, без этого поворота в моей жизни я превратился бы в одного из миллионов людей с «вывернутыми наизнанку мозгами» по определению моего лагерного друга Ивана Ивановича Лебедева — людей искренне чтивших «отца, учителя и друга», «светлого гения человечества». За все в этой

жизни приходится платить, заплатил и я — и не самую большую цену, впрочем, и не малую...

P.S. Эта повесть была бы неполной, если не упомянуть о тех, кто после моего возвращения в институт своей дружбой и вниманием помог мне залечить душевные травмы, нанесенные лагерем, прежде всего, неуверенность в себе и чувство глубокого одиночества. Это мои новые товарищи по институту и многие из преподавателей. Мне посчастливилось попасть в группу, которая первые годы войны провела в эвакуации в Ташкенте. Почти все они были младше меня лет на пять-шесть, в эвакуации жили тяжело, часто впроголодь. Каждый пятый был из семьи репрессированных. Среди них я постепенно оттаял, почувствовал себя своим и обрел друзей на всю оставшуюся жизнь. Им, как и друзьям по лагерю, я обязан многим чем живу.

Айсор Шлиман

Никогда не думал, что доведется жить в городе Иваново, и пока туда не попал, знал о нем очень мало, вернее почти ничего не знал. От школьных лет в памяти остались отрывочные сведения: Иваново-Вознесенск... текстильный край... забастовки ткачей... первый совет рабочих депутатов... Все, пожалуй... Еще и название какое-то несуразное: город, и вдруг Иваново – что-то захолустное слышалось в этом словосочетании. В Иваново меня не тянуло. Но в те годы, о которых мой рассказ, человек неожиданно-негаданно, помимо собственной воли мог запросто очутиться не то что в Иваново, как-никак совсем недалеко от Москвы, а хоть на краю света.

Что можно угодить и подальше Иванова, я уже испытал, отбыв более пяти лет в лагерях Коми АССР, «комической республики», как мы ее называли. Там я постепенно добрался до самого Полярного круга. В войну меня освободили, служил в армии в нестроевых частях, затем санитаром и медстатистиком в эвакогоспитале. В сорок третьем году меня восстановили в институте. После защиты диплома я получил назначение в Кишинев и считал, что все тяжелое осталось позади. Плохо же я знал отца народов и его присных. Обо мне вспомнили... Шел девятьсот сорок восьмой год...

И вот я в Иваново. На руках серенькая бумажка без корочек – временный, сроком на три месяца, паспорт, в него «вмазана» пометка со статьей 39-й, что означает без права проживания почти во всех крупных городах и во многих мелких тоже. Прежний, постоянный, выданный еще в Москве, отобрал в Кишиневе оперуполномоченный с выразительной фамилией Ищук. Он же предписал под угрозой ареста в 24 часа покинуть Кишинев. Все наши вещи брошены у знакомых – в такой

спешке их не увезешь. Жена после всех мытарств у перепуганных, шепчущихся за нашей спиной родственников — в Кирове, у своей матери. В октябре должен родиться ребенок. Все мои небольшие сбережения почти полностью истрачены на переезды и на бесплодную поездку в Москву в надежде добиться отмены высылки. Все оставшиеся деньги оставлены на жизнь жене. Знаю, что в Кирове ей ох как тяжело приходится в таком положении.

А я в Иванове. На руках — мизерная сумма, сто послевоенных рублей, знакомых в городе нет. О работе в здешнем Горпроекте я договорился, а вот жилье надо искать в частном секторе. В общем, голый человек на голой земле. Голова раскалывается от невеселых мыслей...

Девятьсот сорок восьмой год — високосный, значит, несчастливый. Впрочем, тридцать седьмой, когда все это началось, — отнюдь не високосный. В голове колотятся строки Некрасова: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Нет, неправ был поэт: и хуже не было, и подлей — тоже. Впрочем, к черту поверья, стихи и все такое прочее, единственное что остается — работать, стиснув зубы, как можно скорее стать здесь на ноги, перевезти семью и добиваться в Москве пересмотра. Пока же там глухо, в приемной на Лубянке никаких жалоб не принимают, пока не пропишусь. Надо осмотреться и прежде всего снять квартиру, вернее комнату.

Город показался мне на редкость несуразным, такого мне еще видеть не приходилось. Все города, в которых я бывал до сей поры, стояли на реках, кроме разве Кишинева, но там город украшали парки, чудесные фруктовые сады.

Здесь же, в Иванове, только грязная речушка Талка, куда сливаются сточные воды от многочисленных текстильных фабрик. В центре по главной, очень длинной улице — разумеется, это проспект Сталина — многоэтажные жилые дома; некоторые из них, построенные в двадцатые годы в духе конструктивизма, необычны по форме, и названия у них соответственные — дом-утюг, дом-подкова. Здесь так и говорят: «Живу в утюге», и все понимают, о чем речь. На этой же улице, чуть в стороне — здание театра, по объему под стать Большому театру в Москве, но какое-то нелепое, со всех сторон окруженное пристроями и лестничными сходами. Позднее мне довелось узнать,

что слышимость в зрительном зале была никудышная и все акустические ухищрения ничего не исправили.

Была на проспекте и грандиозная фабрика-кухня на 120 тысяч блюд, ее варочный зал с огромными котлами пустовал со дня окончания постройки. Это здание-монстр возникло как дань революционным утопиям начала двадцатых годов — воплощенная в кирпич и бетон мечта новых Угрюм-Бурчевых о полном обобществлении быта с отменой домашней готовки и прочих пережитков «проклятого прошлого». Тут же попадались сравнительно скромные, но добротные особняки текстильных фабрикантов.

В последние годы появились и еще продолжали строиться многоэтажные жилые дома, украшенные лепными деталями в стиле, который позднее, при Хрущеве, будет предан анафеме за излишества. Невдалеке от центра возник строгий ансамбль высших учебных заведений по проекту академика архитектуры Фомина. Таков был центр города. А по обе стороны проспекта раскинулась рядовая застройка — улочки, застроенные рублеными деревянными домами сельского типа с участками, обнесенными заборами, на всех этих улицах — выкопанные под картофель грядки.

Среди этой застройки и в центре и на окраинах — фабричные здания, старые и новые. Обширные территории заполнили выросшие подобно грибам-поганкам бесчисленные землянки и хибары, построенные бежавшим из колхозов людом — подлинные «шанхай» без благоустройства и каких-либо удобств.

Неприветливым и неухоженным показался мне город с первого взгляда, еще больше усилилось это впечатление, когда пришлось бродить по окраинным улочкам в поисках квартиры. С самого начала мне было ясно, что рассчитывать можно только на частные дома. Но и здесь снять квартиру было непросто. С семьей, особенно с грудным ребенком, хозяева старались не связываться. Унизительно было ходить по улицам, стучаться в наглухо запертые калитки и спрашивать, получая отказ за отказом. И все это — не один день.

Обходя дом за домом, я столкнулся еще с одной особенностью Иванова, города преимущественно женского труда. Во многих домах жили одинокие, еще совсем нестарые женщины: одних бросили мужья, найдя подруг помоложе, у других

мужья отбывали сроки за хищение социалистической собственности — сажали, и надолго, за любую мелочь: отрез ткани, кусок кожи.

После долгих поисков мне, наконец, удалось найти пристанище на одной из окраинных улочек, 3-й Взлетной, в районе аэропорта. Хозяйка, тетя Настя, забитая нуждою пожилая женщина жила в доме одна: муж давно умер; два старших сына, участники войны, один из них — инвалид на костылях, отбывали срок по 12 лет за участие в групповом хищении кож с обувной фабрики; младший служил в армии. Мне она сдала большую светлую комнату, почти без мебели. На первых порах пришлось спать на полу: чтобы обзавестись кроватью, надо было дожидаться полочки. Свои надежды я возлагал на сдельную работу, решил трудиться днем и вечером, прихватывая и выходные, чтобы скорее перевезти из Кирова жену и ребенка. А пока приходилось жить в постоянной тревоге — как ей там?

На работе в Горпроекте я освоился быстро. Большинство проектировщиков работали сдельно, поэтому многие оставались в конторе по вечерам. Те, кто жил поблизости, сразу после окончания рабочего дня уходили домой пообедать, а затем возвращались и трудились допоздна; их здесь именовали третьей смена. Вторую составляли такие как я, кто жил далеко: эти оставались работать, не уходя домой на обед, вернее на ужин. Совместная вечерняя работа сближала людей; со мной, новичком, старые работники, опытные сдельщики делились секретами и маленькими хитростями при оформлении нарядов — от этого в немалой степени зависел заработок. Сама работа здесь была куда менее интересной, чем в Кишиневе, как-никак столице республики.

Моя квартира была далеко от места работы, да и делать там было нечего, так что я оставался «вкалывать» и домой (если можно называть это домом) уходил поздно вечером, когда улицы казались совсем пустынными. Добравшись до своей 3-й Взлетной, я сразу же укладывался спать. Усталость валила с ног, питался я одним хлебом с чаем да оладьями в ближайшей столовке, на большее денег не хватало. Подсчитывая свои таявшие ресурсы, я с ужасом убеждался, что с ними при всей экономии дотянуть до полочки не удастся.

Ежедневно я ходил на почту, сначала писем не было, а когда они стали приходить, легче не стало. У родных жене было нелегко, и она еще тяжелее, чем я, переживала неопределенность нашего положения. Чувствовал я себя очень одиноким. Правда, на работе люди относились ко мне неплохо, но у них была своя жизнь, свои заботы, у меня — свои, им неведомые и непонятные. Город оставался для меня чужим; таким никому не нужным изгоем я еще никогда себя не чувствовал. Даже в лагере рядом со мною были близкие люди, надежные друзья, здесь же, в Иванове, я был один как перст. Случившееся со мной пришло, придавило, я замкнулся в себе до того, что сторонился всех и каждого.

В обеденный перерыв я спешил в ближайшую столовую, там съедал неизменную порцию оладий, затем, не торопясь, возвращался на работу, стараясь подавить постоянное чувство голода. Горпроект помещался на третьем этаже нелепого унылого здания, именовавшегося Домом Советов. Узкое и длинное, оно выходило торцом на небольшую площадь, замыкавшую проспект.

Еще в первые дни знакомства с городом я заметил на углу проспекта приткнувшуюся к жилому дому палатку чистильщика обуви с развешенными на щитке-витрине разноцветными шнурками. Палатка была открытого типа, и сидела в ней на низеньком стуле немолодая черноглазая женщина. О том, чтобы начистить мою изрядно запущенную обувь, я, разумеется, не помышлял — не до того было, и я равнодушно проходил мимо.

Но вот однажды по дороге в столовую, случайно взглянул и замер — на месте женщины сидел мужчина, его я узнал сразу, вернее не его, а руки. Он в это время усердно начищал ботинки клиента, руки со щеткой так и ходили, они-то и бросились мне в глаза — кисти рук с неестественно розовой кожей, испещренной грубыми рубцами, и с длинными пальцами, на которых утолщенные черного цвета ногти казались когтями хищной птицы.

На Дальнем Севере, у Полярного круга, не раз вечерами я глядел, как этими руками искусно сплетал из конского волоса петли для ловли куропаток мой напарник по работе и сосед по

нарам Шлиман Бит-Павло. И всякую иную работу умело и ловко делали эти страшные изуродованные руки.

Я поднял глаза — последнее время я бродил уставившись в землю, — да, на углу в палатке и впрямь сидел он, Шлиман. Обрадованный, смотрел я на его безбородое лицо, тоже в светлых рубцах, с длинным, чуть горбатым носом и странными, как бы обгрызенными мочками ушей — следами пожара, о котором Шлиман не раз мне рассказывал.

Да, это был Шлиман с инвалидного пункта Адак, первый лагерник оттуда, встреченный на воле. И как только я мог позабыть, что он из Иванова, ведь я не раз под его диктовку писал туда письма! Когда в сорок втором году меня неожиданно освободили, Шлиман оставался в заключении — статья ПШД (подозрение в шпионской деятельности) в годы войны лишала всякой надежды на освобождение.

Но вот он здесь, рядом, в двух шагах от меня, поглощенный работой. Значит, отныне я не один, здесь Шлиман, один из тех, с кем я делил все тяготы лагерной жизни, не то что близкий друг, но человек надежный, твердый, глубоко порядочный. Я замер на месте и ждал.

Наконец клиент, расплатившись за работу, отошел. Только теперь я двинулся к палатке. «Здравствуйте, Шлиман!» Он обернулся ко мне, и знакомая мягкая улыбка осветила его лицо: «Виктор Яковлевич!» Боже мой, я ведь совсем забыл, что там, на Адаке, только он, Шлиман, ко мне неизменно обращался по имени-отчеству, поэтому я, тоже единственный там, к нему обращался так же. И вот здесь, в Иванове, я назвал его просто по имени и тут же смутился, зная его своеобразную щепетильность в таких вопросах.

Но стесняться мне не пришлось, так неподдельно, не меньше моего обрадовался Шлиман нашей встрече. В нескольких словах я объяснил ему, как попал в Иваново. Шлиман в свою очередь рассказал, что после освобождения вернулся домой, живет на соседней улице в собственном доме, с ним жена, невестка (жена младшего брата, погибшего в лагере) и трое его детей, племянники Шлимана. «Вечером ждем вас к себе. Обязательно приходите. Это совсем рядом». Мы расстались, я поспешил в столовую, оттуда — на работу. Как будто все как

и вчера, но настроение было совсем иное: я, наконец, не один, рядом Шлиман.

С ним мы много месяцев подряд проработали в паре, рука об руку, на вывозке дров из леса. Эта работа, по смыслу лошадиная, там, на Севере, считалась одной из лучших: в лесу, на воздухе, подальше от начальства. Дрова возили из-за Усы по заснеженной зимней дороге на санях с длинным дышлом. Дышло имело на конце поперечину, на нее возчики наваливались грудью, когда приходилось тащить сани в подъем или сдвигать с места после остановок в пути. Многое зависело от ухода за полозьями, их мы сперва покрывали жидким коровьим навозом, затем в несколько приемов поливали на морозе теплой водой, пока не получался плотный слой наледи. Подготовленные таким способом сани, даже нагруженные до отказа, скользили легко.

На такой вот работе я и попал в одну упряжку с Шлиманом. До этого мы с ним почти не общались. Сперва он работал в паре с моим близким другом Иваном Ивановичем Лебедевым. Были они совсем разные – невысокий, подвижный Иван Иванович, общительный, любитель шуток и розыгрышей, отличный рассказчик и высокий сухощавый Шлиман, сдержанный, молчаливый, почти всегда печальный. Однако уживались они неплохо, хотя Лебедев подчас и подшучивал над патриархальными взглядами напарника. Оба были людьми стойкими, порядочными, за это уважали друг друга. У Лебедева было несколько близких друзей, среди них и я; Шлиман всегда держался особняком, хотя ни с кем не ссорился.

Случилось так, что Ивану Ивановичу пришлось сменить работу: разболелась перебитая в Гражданскую войну рука. Не помню, как уж это получилось, но меня определили на его место. Так я оказался в паре с Шлиманом – его до той поры я, как и все прочие, знали по фамилии Битпавлов. Не скажу, что новый напарник мне понравился: он был лет на двадцать старше меня, казался суровым и необщительным, настораживала его необычная внешность. Но с первого дня мы легко поладили.

В лагере я не раз замечал, что лучше всего сближает людей постоянная работа вдвоем на природе, особенно зимой в лесу,

когда тишина и суровая красота северного леса вносят в душу мир и успокоение. Так получилось у нас с Шлиманом. Он был много сильнее меня, к тому же превосходил сноровкой, однако никогда не давал мне повода это почувствовать. Вообще этот малообразованный, почти неграмотный человек оказался удивительно чутким и деликатным, к тому же с большим чувством собственного достоинства; это было природное, чему ни в каких университетах не выучишься, как говорится, от Бога.

Постепенно сдержанный Шлиман потянулся ко мне, стал раскрываться, делиться своими мыслями и переживаниями. Дружбы, какая у меня сложилась с Иваном Ивановичем, да и не с ним одним, у нас не получилось, слишком мы были разные, но взаимное расположение, а потом и полное доверие нас сблизило, в лагере это многого стоило, особенно для такого недоверчивого, много потерпевшего в жизни человека, каким оказался мой напарник.

Как я уже сказал, называли его у нас на русский манер Битпавлов, ему это очевидно не нравилось, и уже в первый день совместной работы он поправил меня, разъяснил, что по-настоящему он Бит-Павло, что означает сын Павло — от имени его деда. Я принимал его за кавказца, но оказалось, что он айсор, ассириец, а его имя Шлиман — ассирийская форма имени Соломон.

На лекциях по истории искусства и архитектуры в Московском архитектурном институте, еще раньше в Музее изящных искусств на Волхонке я узнал об одной из величайших культур древности — ассиро-вавилонской. Суровые воины, беспощадные завоеватели, предки Шлимана в Междуречье, в долине между Тигром и Евфратом создали могучее государство с процветающими городами, в центре которых высились величественные дворцы царей и уступчатые храмы — башни — зиккураты. Свои сооружения ассирийцы украшали высеченными из камня рельефами с изображениями керубинов — могучих крылатых зверей с человеческим лицом.

Все это было свежо в моей памяти, но до встречи с Шлиманом я был убежден, что ассирийцы еще в глубокой древности исчезли с лица земли подобно древним египтянам, финикийцам, хеттам и другим некогда великим народам Древнего мира. И вот один из их потомков в таком же ватнике,

как на мне, в северном лесу тянет сани с дровами — живой ассириец, не ископаемое.

От Шлимана я узнал, что некогда свирепые завоеватели, гроза соседних народов, ассирийцы, по-современному айсоры, ныне — немногочисленный мирный народ, а их исконные земли вошли в состав Турецкой империи. Еще в древние времена айсоры приняли христианство, и это определило трагическую судьбу народа.

Турки, всегда нетерпимые к иноверцам, одновременно с истреблением армян учинили беспощадную резню и среди айсоров. Многие из них погибли, уцелевшие бежали в соседний Иран. Как-то раз, когда мы с Шлиманом ставили петли на куропаток в высоких густых лозняках на берегу Усы, он вспомнил, как мальчиком лет четырнадцати спасался в таких же зарослях, убегая от разъяренных убийц, как потом он и его братья вместе с родителями, поминутно ожидая нового нападения турок, добирались до границы с Ираном. Здесь их приняли, но в полунищей стране работы для чужаков не нашлось. Еще до революции вместе с уцелевшими от резни соплеменниками семья Шлимана перебралась в Россию. После долгих скитаний его родители попали в Иваново, там и осели, оставаясь подданными Ирана. Это подданство, чисто формальное, позднее их и сгубило.

Так получилось, что в России почти все айсоры занялись ремеслом чистильщиков обуви. И здесь, на чужой стороне, они сохранили свой патриархальный уклад жизни с безусловным подчинением старшим в роде. Ассирийские семьи были большие, дружные, браки заключались только со своими. Такой же была семья Бит-Павло. Впрочем, эту фамилию носил один Шлиман, младший брат с семьей были Осиповы, по отцу Осипу.

До ареста Шлиман и его братья с женами жили единой семьей в собственном доме, держали в городе по патенту несколько палаток. У Шлимана и старшего брата детей не было, у младшего их было трое — два мальчика и девочка, их все братья считали своими; таков был обычай народа. По словам Шлимана, жили они в достатке, хотя патент обходился недешево. Основной доход приносила отнюдь не чистка обуви, а продажа гуталина и шнурков, да еще заливка галош. Шнурки и гуталин они

закупали у кустарей-изготовителей в Москве, их товар был лучше, чем в магазинах, покупатели брали его нарасхват.

Как мне объяснил Шлиман, зарабатывали они неплохо, много больше, чем инженеры или рабочие высокой квалификации. Попутно он посвятил меня в нехитрые, в общем, способы, которыми пользовались, чтобы скрыть от фининспекторов свои истинные доходы.

Так они дожили до 1936 года, когда благополучию семьи пришел конец – всех братьев посадили по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Что могли разведывать эти малограмотные люди в городе, где не было ни одного оборонного предприятия!

Незадолго до их ареста семью постигла беда: воспламенился резиновый клей для заливки галош, который разогревался на электроплитке в большой жестяной банке. Огонь перекинулся на деревянный пол и стены дома, пришлось спасать детишек, из них младшему не было и года. Шлиман успел схватить и выбросить за окно банку с горящим клеем, но его самого охватило пламя, когда он вместе с братьями спасал детей.

Дом отстояли подоспевшие пожарники, Шлиман сильно обгорел, лицо было настолько обожжено, что от ушей сохранились только хрящи, пострадали и руки, некоторые пальцы так и остались скрюченными – сгорели сухожилия. Он попал в больницу, там долго лечился, а едва только выписался, его арестовали.

На допросах следователи добивались от него признаний, не стесняясь способами. Когда Шлиман вспоминал о пережитом на допросах, лицо его, обычно спокойное, каменело.

– Они, – говорил он каким-то неестественно сдавленным голосом, – они били меня по этим рукам! – тут он резким движением бросал на стол обе руки, страшные, все в рубцах, со скрюченными пальцами. – Но я ничего не подписал, они все добивались, чтобы я в шпионаже признался и еще, чтобы отказался от иранского подданства. Я все вытерпел, хоть и понимал, что для Ирана я чужой и защищать меня эта страна не будет. Но я знал еще, что следователь одного хочет – погубить меня, и ни одному его слову не верил.

С братьями почему-то поступили по-разному: старшего выслали в Иран, младших решением Особого совещания осудили к лагерям по статье ПШД – подозрение в шпионаже, одно

подозрение, не более! Как инвалид Шлиман попал на Адак. На севере в лагерях каких только народов не было: киргизы, греки, дунгане, курды, был даже гиляк с Дальнего Востока. Но айсоров, кроме Шлимана, на Адаке не было; его младший брат попал куда-то в Сибирь, там и погиб. На Адаке Шлиман чувствовал себя очень одиноким. Он постоянно терзался неизвестностью о судьбе брата, переживая за семью в Иванове, где две женщины, его жена и невестка, трудились не покладая рук, чтобы прокормить себя и троих ребятишек, да еще ухитряясь, отрывая от себя последнее, поддерживать мужей продуктовыми посылками.

Как и я, Шлиман с нетерпением ожидал вестей из дома, и когда они приходили, мы с ним делились новостями и жили этими письмами. Со мною Шлиман был откровенен как ни с кем другим, уж не знаю, чем я заслужил его доверие. Был он человеком своеобразным, со сложным, далеко не легким характером. Особенно болезненно переживал Шлиман последствия пожара, так изменившего его внешность, и нередко повторял: «Вы не знаете, каким я был красивым! Ведь сейчас я урод». Уродом я его никак не считал, но и красавцем не мог себе представить. Признаться, я тогда на Адаке ему не поверил и объяснял его слова болезненным чувством обиды за изменившие его лицо следы ожогов: напрочь погибли брови и ресницы, почти не росла борода.

И только потом, много позднее, уже в Иванове, женщина, знавшая его смолodu, с восхищением вспоминала, каким красавцем был Шлиман до этого несчастья.

Это был человек весьма консервативный, убежденный поклонник и защитник своего ассирийского домостроя, и не однажды в беседах со мною он с жаром восхвалял обычаи своего народа.

— Старших, — говорил он, — надо всегда почитать и слушаться. У нас, айсоров, слово старшего — закон. И это очень хорошо. Вот я не сразу это понял. Когда родители решили женить меня на теперешней моей жене, я был совсем молодым и стал с ними спорить. Считал, что она некрасивая и поэтому мне не пара. Но они, хоть я и очень упирался, не стали меня слушать, поставили на своем — и что же? Лучше Марии на свете не найдешь... Моих отца и матери давно нет в живых, а я не раз все это

вспоминаю и думаю: спасибо им, что тогда так решили и меня, глупого человека, не послушали.

Однажды, получив очередное письмо из дому, Шлиман не на шутку рассердился. С возмущением он показал мне вложенную в конверт фотографию молодой пары: длиннолицая темноволосая девушка и рядом с нею парень, положивший руку ей на плечо.

— Вы только посмотрите, какая надпись: «Дядя Шлиман, это я с моим ухажером», — негодовал обычно сдержанный Шлиман. — Как она посмела мне, старшему, который ей всегда вторым отцом был, послать фото с такой надписью!

И сколько я ни доказывал ему, что ничего плохого, тем более безнравственного, не вижу ни в самой фотографии, ни в подписи, Шлиман остался непреклонным. Подозреваю, что в ответном письме он жестоко отчитал бедную девушку, — когда я познакомился со всей семьей, Лёля, племянница Шлимана, все еще была не замужем.

Еще в одном вопросе Шлиман был предубежденным: он считал, что все низкорослые люди обязательно подлецы. Сколько бы я с ним ни спорил, приводя многочисленные примеры, он упорно стоял на своем. Думаю, что его следователь был малого роста. Таков был Шлиман, стойкий, честный, преданный семьянин и надежный товарищ, но упрямый до фанатизма, особенно когда речь шла о дорогом ему укладе жизни.

Вечером после работы я без труда отыскал его дом, деревянный, обшитый тесом, с огородом и небольшим садом, огражденным высоким глухим забором. Дом стоял на тихой улице недалеко от центрального проспекта. Обстановка была самая простая, но было уютно и очень чисто. «Некрасивая» жена Шлимана, Мария, оказалась крепко сбитой круглолицей женщиной, румяной, с огромными черными глазами, удивительно душевной и приветливой. Тут же была невысокая тщедушная молчаливая невестка Шлимана и ее дети. Их отец, младший брат Шлимана, умер в лагере. Племянники Шлимана, черноглазые и черноволосые, выглядели болезненными и печальными, у старшего, Миши, на шее заметны были рубцы от заболевания желёз. Видно, нележки были их детские годы. Я сразу почувствовал, что Шлимана в этой семье любят и уважают.

Мне были неподдельно рады, и впервые за последнее время я как бы оттаял в кругу этой дружной семьи. Все здесь показалось уютным, домашним, от чего я за последние месяцы неприкаянной жизни успел отвыкнуть. Меня наперебой угощали кушаньями домашнего приготовления, здесь были и блюда ассирийской кухни. Все это было удивительно вкусно.

Сидя за обеденным столом, мы с Шлиманом вспоминали наше житье на Адаке, охоту на куропаток с петлями. Я рассказал о своей жизни после лагеря, Шлиман — о событиях на лагпункте после моего освобождения, о судьбе наших общих знакомых. Некоторые из них умерли, о многих он ничего не знал. Особенно меня огорчило известие о смерти Димитрия Алексеевича Норакидзе. Еще при мне его поразила страшная болезнь — рак кожи, нижнее веко одного глаза было разъедено до кровавой, постоянно мокнувшей язвы, по лицу постепенно красной паутиной расползались пораженные раком сосуды.

Не знаю в состоянии ли медицина лечить такие болезни; наш лекпом пытался остановить распространение рака примочками из сернистого источника, который мы здесь нашли, но это не помогало. Норакидзе, человек богатырского сложения, уже немолодой, стойкий и благородный, понимал, что болезнь неизлечима, но не терял самообладания. Не знаю, кем он работал до ареста.

В отличие от многих своих земляков, людей неплохих, но склонных гордиться тем, что их кацо стал царем всея Руси, Димитрий Алексеевич, всегда немногословный и скрытный, наедине со мною отзывался о «вожде народов» с ненавистью, даже отказывал ему в принадлежности к грузинской нации: «Какой он грузин, он сволочь, осетин, грубый, некультурный, подлый!»

Многое вспоминали мы с Шлиманом, рядом сидели его близкие, хорошие, доброжелательные люди, обстановка была домашняя, мирная, однако всех нас не покидало подспудное ощущение подстерегающей опасности. И здесь в Иванове, не-режимном городе, было беспокойно. Хотя Шлиман и его семья жили обособленно, и до них доходили известия о начавшейся новой волне преследований: кого-то взяли, кого-то вызывали, допрашивали. Над этой дружной семьей, только соединившейся после долгих лет тяжелых испытаний, потерявшей одного из

кормильцев, снова нависла угроза; случившееся со мной показывало воочию, что это отнюдь не пустые страхи. Надо было ожидать любой беды, опасаться всех и каждого.

Шлиман рассказал мне, что рядом, через дом от него живет молодой человек, сын его давнишних соседей, только что определившийся на работу в органы. Фамилия его для меня была не новой, он перешел из Горпроекта незадолго до моего поступления и иногда туда заглядывал. Позднее один из наших сотрудников, его приятель, познакомил меня с этим новоиспеченным эмгешником, улыбчивым молодым парнем. На работу в МГБ он определился по своей строительной специальности из-за немалых льгот и преимуществ, возможно, специальных агентурных дел он и не касался. Но для нас с Шлиманом любой человек «оттуда» был опасен.

Поэтому Шлиман, хотя и знал его еще мальчуганом и жил с его родителями, как с добрыми соседями, все же считал, что нам лучше встречаться поздно вечером, не попадаясь на глаза «опасному соседу». Опасался он не за себя, а за меня: не дай бог до моей работы дойдут сведения о нехорошем знакомстве — как-никак ПШД. Так мы в дальнейшем и поступали.

Ежедневно я проходил мимо его палатки, мы обменивались улыбками, не вступая в разговор. Лишь изредка по вечерам, когда уже стемнело, я, оглядываясь по сторонам, осторожно пробирался по затихшей улице к дому Шлимана и отводил душу в кругу его семьи среди людей, которые, это я хорошо почувствовал, ко мне привязались и прониклись моими заботами. Зная, что комната у тети Насти меня не устраивает, деятельная Мария попыталась мне помочь и направила меня к знакомым айсорам, которые согласились сдать мне комнату.

С главой этой семьи Колей, невысоким человеком лет тридцати, я еще раньше познакомился у Шлимана. Этот Коля единственный из здешних айсоров не занимался чисткой обуви, а работал в танцевальном ансамбле при каком-то клубе. Хореографическое искусство отнюдь не почиталось в среде айсоров, Коля жил много беднее, чем его сородичи, которые относились к нему хорошо, но с оттенком презрительной жалости. Однако они по мере сил помогали: семья у него была большая, черноглазая миниатюрная жена катала коляску с двумя малютками-близнецами, рядом топталась еще пара близнят

лет двух, не больше, все четыре — девочки. Я осмотрел предложенную мне комнатку, очень маленькую, но теплую и в центре города, мысленно представил себе жизнь в тесноте с пятью детишками в квартире и не решился. Пришлось пока остаться у тети Насти, не оставляя попыток найти что-то лучшее.

По-прежнему я много работал, не остановила даже мучительная болезнь: ночуя на холодном полу (под моей комнатой, оказалось, было подполье), я застудил поясницу. Меня так скрючило, что передвигаться можно было только в согбенном состоянии, боль подчас была такая, что трудно было удержаться и не стонать. Ничем я не лечился, несколько дней терпел и был вознагражден: как-то незаметно болезнь прошла и больше никогда не возвращалась.

Наконец я дожид до аванса, стало чуть легче. На работе я постепенно освоился, относились ко мне хорошо. Ежедневно я бегал на почту и вскоре получил от жены письмо, которое хоть частично сняло тревогу — родилась дочь. «Имеем дочь с голубыми глазами», — читал я, и все мои помыслы были с ними.

Жена писала, что ждет меня как можно скорее, чтобы вместе ехать в Иваново; хотя она и не высказывалась впрямую, но между строк читалось, что ей там нелегко, тяготит неопределенность нашего положения. Я был безмерно рад рождению дочери и предстоящей встрече, но одновременно боялся везти крошечного ребенка в холодную пору в мое жилье с холодным полом. Надо было срочно перебираться на другую квартиру.

И тут мне неожиданно повезло. Очевидно, обстоятельства, которые привели меня в Иваново, не остались тайной для сотрудников Горпроекта. Однажды меня остановила в коридоре немолодая строгая женщина, наш главный бухгалтер. С нею я, в сущности, не был знаком, только здоровался при встречах.

— Я слышала, что вы ищете квартиру. Удалось ли найти?

Я ответил, что снял комнату, но она меня не устраивает, и очень хотелось бы найти что-либо более подходящее.

— Тогда вот что: моя знакомая собирается сдать на год отдельный дом. Муж у нее отбыл срок по 58-й статье, в Иваново его не отпускают, и она решила ехать к нему в Ухту. Сходите к ней, может и договоритесь.

Отдельный дом! О таком я и мечтать не мог! Сразу же после работы я поспешил по указанному адресу. Улица называлась

2-я Полетная и была много ближе к центру, чем моя 3-я Взлетная. Добираясь до места, я размышлял о том, сколь бедна фантазия у отцов города и приближенных к ним чиновников в части наименований, и ожидал увидеть такую же захолустную улицу. Неожиданно она оказалась очень уютной, с добротными, заботливо ухоженными деревянными домиками, у каждого дома на участке — плодовые деревья. «Мой» дом был обнесен глухим забором, рядом с калиткой я увидел кнопку электрического звонка и не без робости нажал на нее. Спустя некоторое время за забором послышались быстрые шаги, и калитку отворила хозяйка. Я представился, она пригласила пройти в дом. Проходя по тропинке мимо грядок, я успел оглядеть участок с рядами плодовых деревьев и ягодником у забора. По сравнению с огороженным кое-как участком у дома тети Насти, где кроме картофеля не росло ни деревца, ни кустика, этот сад показался мне райским местом. Вслед за хозяйкой я прошел в дом. Здесь мне тоже все понравилось, особенно хороши были рубленые стены, неокрашенные, с древесиной глубокого коричневого тона.

Хозяйка дома, еще не старая женщина, энергичная, несколько резкая, с яркими карими глазами, в молодости, очевидно, была очень хороша собою. Чувствовалась в ней нервная напряженность и одновременно прямота, открытость. Она сразу мне понравилась, и получилось так, что с первых слов мы заговорили откровенно. Это и понятно — было сходство в наших судьбах, одна и та же жестокая бездушная сила изломала наши жизни и продолжала душить. В свое время и я прошел через Ухту, куда ей предстояло ехать, но там не задержался: погнали пешим этапом на Печору.

Евдокия Павловна была коренная жительница Иванова из состоятельной семьи. Совсем молодой она вышла замуж за военнопленного венгра, оставшегося в России и сражавшегося за советскую власть. По окончании Гражданской войны он стал бухгалтером. Муж был человеком спокойным, заботливым, трудолюбивым. Постепенно они стали на ноги, построили этот дом, растили единственного сына. Как и для большинства людей, попавших в водоворот репрессий, гроза над этой семьей разразилась нежданно-негаданно: мужа арестовали, осудили решением Особого совещания. Евдокия Павловна осталась с сыном, растила его одна, по мере сил помогала мужу день-

гами и посылками и ждала его домой, надеясь, что по окончании срока ему разрешат вернуться в Иваново — ведь город был нерезжимный.

Война все поломала. С первых дней сына взяли в армию. Вскоре на него пришла похоронка, и она осталась одна в смятении и горе: переписка с лагерями была прекращена. Долгое время она не знала, что с мужем, затем стало известно, что срок заключения продлен до особого распоряжения. Слушая Евдокию Павловну, я представлял, каково ей было бессонными ночами в опустевшем доме терзаться, сознавая, что никогда уже не вернется сюда ее сын и неизвестно, вернется ли муж.

Такое никому не проходит даром, и эта умная волевая женщина была человеком надломленным; дом, в котором прошли мучительные годы одиночества, она оберегала исступленно, словно он был родным живым существом. Для нее все было связано с этим домом, где прошли годы ее счастья, где делал первые шаги ее сын, и только надежда, что рано или поздно они с мужем возвратятся сюда, давала ей силы жить дальше.

От Евдокии Павловны я узнал, что строгая женщина, наш главный бухгалтер, не случайно послала к ней именно меня: оказалось, и она была из потерпевших от репрессий, ее муж тоже попал в лагеря и оттуда не вернулся — пришло извещение о смерти. Без лишних слов и объяснений проявлялись в эти тяжелые глухие годы сочувствие и взаимная поддержка людей, над которыми вплотную нависла зловещая тень совиных крыл «великого вождя, учителя, друга». По слову Блока: «...и не было ни дня, ни ночи, а только тень совиных крыл...».

После того как мы поговорили о нашем невеселом прошлом, Евдокия Павловна со свойственной ей прямоотой перешла к деловой стороне нашей встречи. Только тут я уверовал, что смогу жить самостоятельно, а не в положении снимающего угол у хозяев.

Условия, которые она мне поставила твердо и определенно, были вполне приемлемы и, не побоюсь сказать, великодушны: мне предоставлялся в пользование весь дом, за исключением комнаты, в которой хозяйка предполагала сложить свои вещи. Кроме того, она оставляла мне свою кухонную мебель, я получал право пользоваться половиной сада и огорода; вторую половину хозяйка оставляла своему брату. Он в будущем должен

был получать с меня оплату и присматривать, чтобы мое хозяйствование не вредило сохранности дома. За все это я обязывался выплачивать по 250 рублей в месяц, всего на 50 рублей больше, чем здесь принято было платить за одну комнату. Договор Евдокия Павловна предполагала заключить сроком на один год, оформив его официально. При этом она дала понять, что если ее обстоятельства не изменятся и я буду хозяйствовать хорошо, договор может быть продлен.

Такие условия я принял как дар судьбы и согласился без колебаний. Единственное осложнение возникло с покупкой дров на зиму: хозяйка настаивала, чтобы я еще до ее отъезда в Ухту завез шесть кубометров дров, обязательно березовых — запас на всю зиму. В этом она была непреклонна: «Хочу уехать уверенная, что дом не пострадает от плохого отопления». Я никак не предполагал жить в холоде с грудным ребенком, но вся беда была в отсутствии денег — ведь нужно было закупить целую машину!

Пришлось, не таясь, объяснить это хозяйке — до получки оставалось ждать долго, а она торопилась с отъездом. Тогда Евдокия Павловна спросила, нет ли у меня в городе знакомых, у кого можно занять деньги, она же обещала свести меня с шофером, у которого обычно покупает отличные дрова.

В городе у меня был лишь один знакомый — Шлиман, но я не знал, найдется ли у него необходимая сумма. Я ответил Евдокии Павловне, что попытаюсь занять деньги у айсора, с которым мы были вместе на севере. К моему удивлению оказалось, что она хорошо знает не только Шлимана, но всю его семью, до постройки этого дома они были соседями. «Если бы вы знали, каким красивым был он до этого пожара!» — восклицала она.

И хотя с первых слов нашего разговора установилось полное доверие, теперь, когда нашлись еще и общие знакомые, люди одной с нами судьбы, мы, только сегодня встретившиеся по сугубо деловому вопросу, осознали себя частью цепочки, где можно быть уверенным в подлинном понимании и сочувствии: строгая женщина-главбух, Евдокия Павловна, я, наконец, айсор Шлиман.

Расставались мы так, будто были давними знакомыми. Договорились, что я во что бы то ни стало раздобуду деньги,

а Евдокия Павловна закажет дрова, обсудили и все, что касалось договора. Не откладывая, я поспешил к Шлиману. Он обрадовался моей удаче, тепло отозвался об Евдокии Павловне и ее муже и охотно согласился выручить меня деньгами.

Через несколько дней я уже разгружал машину и складывал отличные, сухие до звона березовые плахи в сарае Евдокии Павловны, безуспешно стараясь отлучить от этой работы бросившуюся мне на помощь хозяйку. Еще раньше она познакомила меня со своим братом и его семьей — женой и сыном. Вместе мы обсудили подготовленный договор, все меня вполне устраивало, и когда я поставил свою подпись, у меня как будто гора с плеч свалилась: теперь у нас была надежная крыша над головой, по меньшей мере, на год.

В дальнейшем, после отъезда Евдокии Павловны в Ухту, Сергей Павлович, оставшийся хозяином второй половины участка, относился к нам дружелюбно, его добрые советы немало помогли мне, когда настало время огородничать. Надзор, порученный ему сестрой, он выполнял настолько деликатно, что мы это и не чувствовали. Я, в свою очередь, всячески оберегал доверенный дом, стараясь выполнить все пожелания хозяйки, и она по совету брата продлила договор еще на год.

Так было до неожиданной смерти Сергея Павловича. Он заболел необычной болезнью, мучительные головные боли временами доводили до иступления. Во время тяжелого приступа Сергей Павлович выпил уксусную эссенцию, сжег себе внутренности и скончался в страшных мучениях. Вскрытие показало, что болел он воспалением мозга. Все это случилось позднее.

Теперь же мне надо было дожидаться полочки, чтобы выехать в Киров за семьей. Наступили холода, подмерзло, я был в тревоге, представляя все сложности переезда с крошечным ребенком. Предупредив тетю Настю о предстоящем переезде, я пока остался жить у нее, чтобы дать возможность Евдокии Павловне разобраться с вещами и перенести их в отдельную комнату.

На работе я договорился об отпуске для поездки за семьей и теперь считал дни, дожидаясь полочки. Дождлся, правда, настроение было подпорчено: неожиданно главный инженер, просмотрев заполненные наряды, решил, что мы, сельщики, заработали слишком много, и срезал заработки. Пострадал и я. Было обидно, уж очень нужны были тогда эти деньги.

Но все это было напрочь позабыто, когда в Кирове, войдя в крошечную, жарко натопленную спальню, я глянул в широко раскрытые голубые глаза крохотного существа, завернутого в байковое одеяльце. Стало понятно, до чего она мне дорога; до того я и не подозревал, что такое может со мной случиться. Решили, не откладывая, ехать в Иваново: слишком долго мы мучились, живя врозь.

В Иваново мы приехали на квартиру к тете Насте, и тут же начались хлопоты с переездом. На толчке я купил подержанную, но прочную кровать, рассчитался за квартиру с тетей Настей. После этих затрат уже не оставалось денег, чтобы нанять для перевозки наших вещей машину или хотя бы лошадь. Пришлось одолжить салазки, на них я погрузил наш скарб и потащил на себе через весь город. На мою беду, внезапно началась гололедица, улицы на пути были все в ямах и кочках; пока я добрался до места, пришлось изрядно помучиться.

Около месяца мы прожили вместе с Евдокией Павловной, она оставалась, чтобы обучить нас всем хитростям обращения с домом. Не скажу, что это далось нам легко: болезненно мнительная, она постоянно пребывала в страхе за сохранность дома, без конца учила и муштровала нас, особенно по части топки печей и осторожного открывания окон. Мы терпеливо, нисколько не обижаясь, сносили ее нотации и причуды, понимали, что это отнюдь не из мелочности, а связано с тяжелыми переживаниями в горести и одиночестве, когда стены дома были ее единственной опорой и защитой. И все же она изрядно нас задержала; хотя мы оценили ее порядочность и доброе отношение, все же, оставшись одни после ее отъезда, вздохнули с облегчением.

Было решено, что первый год жена не будет работать, а посвятит все внимание дочери. Все пережитое не прошло даром, ребенок был нервный, плохо спал по ночам. Да и мы ее изрядно избаловали, по первому писку брали на руки, укачивали, и она приучилась этим пользоваться, так что нам по ночам доставалось.

В доме было тепло и уютно, но мне не приходилось подолгу быть с семьей, надо было работать днями и вечерами, чтобы оплатить квартиру, сдельная система оплаты это позволяла. В обед я прибегал домой, после работы тоже приходил, наспех ужинал и вновь возвращался в контору, там трудился до позд-

него вечера и лишь часов в одиннадцать приходил, совершенно усталый. Нелегко было Вере, моей жене, целыми днями оставаться одной в доме, но иного выхода у нас не было — приходилось терпеть.

На работе были свои сложности. В Архитектурном институте нас вовсе не приучали к рабочим чертежам, здесь же, в практическом проектировании, они составляли львиную долю работы. К моему стыду, любой опытный техник разбирался в этих делах лучше, чем я, приходилось учиться у них. Однако люди здесь отнеслись ко мне с пониманием, охотно помогали советами. Постепенно я приобрел необходимые навыки, хотя по-прежнему отдавал предпочтение творческой работе; к сожалению, ее здесь было не так много.

Дома все наши заботы были посвящены маленькому голубоглазому существу, которое и радовало нас, и доставляло тревоги. Дочь рано, месяцев с восьми, начала ходить и говорить; каждое новое словечко, каждая забавная выходка становились для нас событием, делали нашу жизнь содержательной, полной смысла.

Постепенно мы обживались, правда, жили уединенно, кроме Сергея Павловича и его жены, которые изредка навевались к нам, посторонних в доме не бывало. Только иногда я забегал к Шлиману, свободного времени совсем не было. Свой долг ему я смог быстро вернуть. Шлиман искренне радовался, видя, что моя жизнь налаживается, но ни его, ни меня не покидало чувство тревоги — до Шлимана доходили сведения об арестах среди бывших лагерников.

Так прошла зима. С наступлением весны забот у меня прибавилось, по примеру соседей я занялся огородом и этим делом по-настоящему увлекся. Вырос я в небольшом городе, с детских лет был приучен копать в земле, но хозяйствовать самостоятельно пришлось впервые. В послевоенные годы огород при доме был немалым подспорьем для каждой семьи, особенно в таком городе, как Иваново. Снабжение здесь было плохое, а рынок бедный и дорогой.

На нашей 2-й Полетной улице, да и на других, кроме разве центральных, газоны перед частными домами были вскопаны под картофель. Вскопал свой газон и я, а в огороде посеял морковь, посадил лук, а потом и помидоры. Под руководством

Сергея Павловича я занялся уходом за яблонями и малиной на «своей» половине сада. Вся эта деятельность доставляла мне большое удовольствие, рядом с грядками делала свои первые шаги моя дочь.

Несмотря на приобретенный печальный опыт, я не оставлял попыток добиться изменения своего положения и обратился с письмом к Косыгину, который избирался депутатом Верховного совета от города Иванова. Мое письмо осталось без ответа. Каждые три месяца приходилось являться в отделение милиции для получения нового паспорта, такого же трехмесячного с той же 39-й статьёй. Эта процедура угнетала и лишней раз подчеркивала безысходность моего положения.

Работой я был загружен по горло, проектировали мы для города и для области, однако многие наши проекты «летели в корзину» из-за непродуманных заданий, которые спускались сверху, а также из-за постоянных шараханий из стороны в сторону, обычных у наших властей. Одно время пошла мода на проектирование агрогородов взамен управляемых сел и деревень. Аврал при этом учинили немислимый, мы работали в приказном порядке с утра до поздней ночи, ведь проекты агрогородов по замыслу властей должны были охватить все сельские районы. Проектировщиков не хватало, на помощь привлекли художников, они изготавливали ярко раскрашенные перспективы будущих агрогородов для показа высокому начальству. Вся эта работа в конце концов оказалась никому не нужной, сколько я знаю, ни один агрогород не был построен – и слава Богу.

Один из таких авралов коснулся меня самым непосредственным образом. Как и другие приезжие специалисты, я был поставлен на очередь в горисполкоме для получения квартиры, это было оговорено при поступлении на работу. Но дело повернулось так, что наши надежды были обмануты. История очень характерная для того времени.

Если в дореволюционные времена на текстильных фабриках Иваново-Вознесенска работали мужчины-ткачи, то советский город Иваново стал городом женского труда. Мужчины работали только мастерами и помощниками мастеров да еще грузчиками. Предприятий тяжелой промышленности в городе не было. Из обедневших колхозов в Иваново стекались девушки, стремившиеся до получения паспорта выбраться в город.

Работа на текстильных фабриках, тяжелая, вредная для здоровья и низкооплачиваемая, для них все же была избавлением от колхоза.

Такое положение создавало в Иванове множество проблем, и самой тяжелой была проблема семьи: семьи распались, мужья с легкостью покидали спутниц жизни и уходили к молодым. Поэтому Общество старых большевиков, еще сохранившееся в городе, обратилось в ЦК партии с ходатайством о строительстве в Иванове заводов мужских профессий. Ходатайство было уважено, правительство приняло решение построить в Иванове четыре крупных завода.

К делу приступили вполне разумно: решили начать со строительства жилых массивов для рабочих будущих заводов. Вот тут-то и получился конфуз — прибывшая из Москвы комиссия обнаружила, что все резервные территории, намеченные под жилую застройку, давно уже заняты землянками и хибарами. Их на скорую руку самовольно построили люди, в свое время сбежавшие из сел и деревень.

Комиссия доложила в ЦК, и вот появляется грозное постановление: в Иванове местные власти допустили самовольное строительство на резервных территориях, вследствие чего срывается выполнение решений партии и правительства. Предписывается в годичный срок освободить застроенные территории, изыскав средства для расселения жителей землянок. В случае невыполнения снять с должностей и исключить из партии руководителей города и области (указаны фамилии).

Что тут поднялось! Никому не хотелось терять свои посты и привилегии. Быстро сориентировались и начали действовать по тому же методу, что и московские власти — давить нижестоящих. Была срочно проведена поголовная перепись обитателей этих «шанхаев» с указанием предприятий, где эти люди работали. Затем Обком собрал директоров всех ивановских фабрик, каждому вручили список «его» рабочих, обитателей землянок, и обяжали в годичный срок расселить их, иначе...

Директора, страшая снятия с работы и потери партбилета, вынуждены были срочно принимать меры. Средств на новое строительство у них не было, решено было надстраивать существующие дома. Работники горкома и горисполкома вместе с проектировщиками разъезжали на машинах по городу, целы-

ми днями выискивая старые дома, пригодные для надстройки. В городе с преобладанием деревянных домов это было нелегко, к тому же из намеченных на глазок домов многие при проверке отпали – фундаменты, а подчас и стены оказались ненадежными.

Оставшиеся дома срочно обмерили и в бешеном темпе стали проектировать их надстройку. Начальство наше конторское плюс городское и областное погоняло изо всех сил. Ничего путного не получалось, нас заставляли проектировать коммунальные квартиры с покомнатным заселением; на три-четыре семьи – общая тесная кухня.

Когда эти проекты поступили на рассмотрение в санитарную инспекцию, главный санитарный врач области Артамонов наотрез отказался их согласовать, хотя все остальные инстанции безропотно подмахнули согласования. Как только на него ни давило начальство, вплоть до обкома партии, обвиняя в срыве решений партии и правительства и грозя всяческими карами, – коренастый бритоголовый крепыш не дрогнул, более того, направил в ЦК свое особое мнение. В этом документе он объяснял свою позицию нежеланием компрометировать ЦК партии утверждением некомфортного и несоответствующего действующим нормам жилья для трудящихся. К нашему удивлению, Москва его полностью поддержала. Как всегда, крайними оказались проектировщики, все забракованные проекты пришлось переделывать заново.

Короткие истории

В лагерях пришлось многое увидеть и пережить, все это годами сохранялось в моей достаточно цепкой памяти. Но там писать обо всем этом было невозможно: непосильный изнурительный труд, а главное доносы, постоянные обыски, когда любое написанное слово намеренно истолковывалось как крамола. И после освобождения вплоть до реабилитации в этом смысле ничего не менялось.

Однако не записывая ни слова, я не переставал про себя в уме обдумывать, обрабатывать все свои лагерные впечатления и переживания и, когда стало возможно, записал их в меру сил и способностей. Это были рассказы о людях и времени.

Время было страшное, такого планомерного истребления самой одаренной, самой трудолюбивой части населения в истории человечества не знала ни одна страна. Об этом я и писал. Но когда мой труд подошел к завершению, я, оглядываясь на прошлое, обнаружил немало эпизодов, которые хотя и не могут стать темой сколь-нибудь обстоятельных рассказов, но по-своему показательны для своего времени.

И я задумался — что же мне с ними делать: отбросить с пренебрежением или все же дать им жить, пускай звучат подобно малым колокольцам подголосками в том скорбном реквиеме о загубленных жизнях, который складывался в моем сознании. Все же решаюсь дополнить мои воспоминания малыми, всего в несколько страничек, заметками. Пусть звучат.

Саранчисты

Оглядываясь, вспоминаю и поражаюсь, по каким нелепым, диким обвинениям попадали в лагеря люди, совершенно

чуждые всякой политике, не имевшие за душой и тени вражды к могучему государству, обрушившему на них непомерно суровые кары. На лагпункте Адак среди прочего люда встретились мне уже немолодые колхозники, двое односельчан из Ленинградской области, которых почему-то с усмешкой называли «саранчистами».

Заинтересовался, стал расспрашивать и вот что узнал. Были эти «саранчисты», кстати, однофамильцы (таких там было полдеревни) членами правления самого что ни на есть обыкновенного колхоза; впрочем, необычно было его название: «Красная саранча». Когда создавался колхоз, стали думать, как его назвать. И кто-то, якобы из бывших белых, присоветовал назвать «Красная саранча». О саранче крестьяне в этих местах не знали не ведали, название казалось внушительным, к тому же само слово «Красная» звучало для них неким залогом правильности, революционности – всем понравилось, согласились.

И жили-поживали колхозники колхоза «Красная саранча» так, как и все прочие, не ведая за собой никакой вины до 1936 года, когда кто-то бдительный из районных, а может быть, из областных властей спохватился – контрреволюция, и злостная к тому же. Сообщили куда положено, и все правление посадили. Каждый получил свои пять лет, как говорится, никого не обделили. Мы их спрашивали: «Неужто, чудачки, вы не знали, что такое саранча?» Отвечали: «Откуда нам было знать, у нас ее... так ее мать, сроду не бывало. Только на следствии и узнали, мать ее перемать...»

Окрестили

Не знаю, случайное это совпадение или впрямь бдительность в Ленинградской области была в тридцатые годы на самом высоком уровне, только «герои» истории, о которой хочу рассказать, были тоже колхозники из тех же примерно мест, что и злосчастные «саранчисты». Знаю я эту историю со слов лагерного знакомого, человека надежного и обстоятельно; в свое время он услышал это от одного из ее незадачливых участников. Думается, такое могло случиться только в России, и именно в тридцатые годы: уж в это время случалось многое,

подтверждавшее суждение Лескова о том, что в России нет ничего невозможного.

Началась эта история, в общем-то печальная, с неожиданно-негаданной удачи: опоросилась свинья, принадлежавшая некоему колхознику, и приплод принесла невиданный – восемнадцать поросят, все живые здоровёхонькие. Велика была радость счастливого хозяина, ведь поросята всегда в цене, а тут такой клад сам собой привалил. Грех был бы не отметить это событие, так уж заведено на Руси – счастливый владелец поросят собрал приятелей и устроил попойку. Выпили крепко и уже порядком подогретые решили навестить в хлеву виновников торжества. Навестили, поглядели, умилились... И кому-то из них пришлось в голову окрестить поросят. Затея всем пришлась по душе.

Отобрали самого крупного – нарекли Сталиным, другого, поменьше, круглого, крепенького – Кировым. Ржали пьяным дурашливым смехом, простодушно радуясь своей выдумке, хлопывали поросят по розовым задкам. Потом вернулись в избу допивать.

Чуть ли не в этот же день кто-то из выпивох рассказал про веселую гулянку, похваляясь, как всё славно вышло... и всех посадили: контрреволюционная агитация, да еще и групповая. Каждому из «крестных отцов» дали по пять лет.

Я отнюдь не в восторге от неумной и вульгарной затеи подвыпившей компании, однако преступления, тем более контрреволюционного, в ней не усматриваю. Мне представляется, что ни у кого из выпивох не было, во всяком случае во время «крестин», никакого намерения обидеть или унижить людей, чьи-ми именами, вернее фамилиями, они распорядились. Вполне возможно, что наоборот, они спьяну хотели почтить тех, в чье правление свершаются такие чудеса – как-никак восемнадцать штук...

Конечно, если поставить себя на место обижаемых (обожаемых?) вождей, и я бы не испытал особого удовольствия от того, что моим именем нарекли хрюшку, пусть даже самую симпатичную. Но я думаю об этих простодушных и недалеких людях, об их изломанной судьбе, об их разоренных семьях. За что и зачем их так? Пусть их, ну пожурили бы и все, а они впредь мирно выращивали бы своих свиней, нарекая их обычными именами, на которые, слава богу, не обижаются поросячьи тезки, люди

(не в пример вождям) простые, непритязательные и беззлобные: Васьки, Борьки, Машки. Так лучше...

Почти по Чехову

Есть у Чехова небольшой рассказ о тихом законопослушном чиновнике, который, сидя на представлении в театре, нечаянно чихнул на лысину генералу, расстроился, полез извиняться и так надоел своими извинениями, что, в конце концов, генерал не выдержал, обозлился на него, рывкнул и выгнал вон. Вконец расстроенный чиновник едва добрал до дому, лег на диван и умер от огорчения.

Рассказ этот припомнился мне в камере Бутырской тюрьмы летом тридцать седьмого года, когда перед самым рассветом к нам привели новенького — невысокого, полнеющего человека лет сорока, чуть кудрявого, с небольшой лысинкой на макушке. Был он невероятно растерян, растерянными бывали все, кто попадал в камеру сразу после первого допроса, но этот уж слишком суетился, недоумевал, заикался. Как всегда, вокруг вновь прибывшего собрался народ, услышав, что он прямо с воли, жаждали узнать последние новости. Однако человек был настолько поражен и расстроен, что мог говорить только о себе, и то довольно бессвязно. Все же мы узнали историю его ареста, настолько нелепую, что не будь она рассказана в тюремной камере летом тридцать седьмого года, впору было бы посмеяться. Но тогда было не до смеха...

Мирошниченко, так звали нашего нового знакомого, был партгором крупного московского завода. Старательный и законопослушный, он не предавался сомнениям, добросовестно участвовал во всех собраниях и митингах, посвященных разоблачению троцкистов, зиновьевцев и прочих врагов народа. Должность парторга обязывала его лично выступать, и он раз за разом громил врагов перед притихшей аудиторией. Тут-то и подстерегла его беда.

На очередном митинге, к которому он добросовестно готовился, Мирошниченко разоблачал и осуждал Зиновьева азартно и темпераментно, свою последнюю тираду он закончил словами: «Из всего ясно, что по этим вопросам товарищ Зиновьев полностью разоблачил себя как враг народа!» Сказал и тут же

обмер: как же это он, парторг завода, назвал Зиновьева, предателя, ренегата, заговорщика — товарищем. Расстроился ничуть не меньше, чем чеховский чиновник, чихнувший генералу на лысину. Похоже, что никто из участников митинга, слушая поток разоблачений, не обратил внимания на злополучную оговорку, но Мирошниченко не переставал терзаться сознанием своей вины. Терзался, терзался и, в конце концов, не выдержал: пришел в райком партии и покаялся перед первым секретарем в своем грехе.

Вот тут-то и сказалась разница между чеховским генералом, раз за разом вяло отмахивавшимся от чрезмерно совестливого чиновника, и секретарем райкома партии образца 1937 года: этот отмахиваться не стал, проявил революционную бдительность и о злонамеренном выступлении парторга Мирошниченко сообщил куда следовало — был он человек политически грамотный и понимал, что это не на лысину начинать, а государственное преступление.

Освобожденные народы

Не знаю, кто выбирал место для кирпичного завода при инвалидном лагпункте Адак, но оказалось оно удачным — на высоком правом берегу полноводной реки Усы, в защищенном от свирепых северных ветров распадке, с запасом хорошей красной глины и удобным причалом. Вокруг были леса, на правом берегу они начинались у самого завода, а на левом, низком, простирались, пока видит глаз.

Леса за рекой казались бескрайними, но это впечатление было обманчивым. В этом глухом краю, почти у Полярного круга, лес растет лишь в пойме реки Усы, и уже за 10–12 километров от нее начинается тундра — край клюквенных болот и низкорослых порослей мелколиственной карликовой березы. Мне не однажды приходилось добираться до этой самой природой созданной границы между лесом и тундрой, и каждый раз я, как зачарованный, глядел на невиданные до той поры деревья — березы на краю леса, истерзанные тундровыми ветрами, с причудливо перекрученными извивающимися в дьявольском танце стволами. Были эти березы невысокие, тонкоствольные, и странно нелепо бугрились на упруго скрученных стволах

огромные наросты капа. Но так далеко от лагеря удаляться приходилось нечасто и далеко не всем. Большинство работали или в заводе, или на заготовке дров и строительного леса. Для всех нас великим благом было отсутствие на заводе зоны и связанного с нею режима — всю охрану олицетворял один лишь стрелок, да и он нас не притеснял.

После многих месяцев, которые я провел на строительстве железной дороги, а затем на лесозаготовках в глухих, отрезанных от всего мира местах, жизнь на заводе была много богаче впечатлениями, прежде всего из-за соседства с рекой. Именно по Усе пролегал путь на Воркуту. Железная дорога только строилась где-то в стороне, а пока все грузы, а также этапы на Воркуту и перевозки с Воркуты шли мимо нас. Даже в зимнее время, как только на Усе устанавливался лед, начиналось движение машин с грузами.

Особенно оживленно становилось на Усе летом. Навигация начиналась сразу же по окончании ледохода; за короткое время до ледостава надо было успеть переправить на Воркуту как можно больше грузов. Пароходы, обычно выдавшие виды и обшарпанные, волокли за собою груженные барки, изредка проплывали и пассажирские суда.

Хороша была в это время полноводная Уса, и после работы в необычайно светлые вечера, которые только здесь, на севере и бывают, все мы, несмотря на кишевшие вокруг сонмы комаров и гнуса, как привороженные стояли на берегу, жадно вглядываясь в проходившие по Усе суда. У кирпичного завода они приставали лишь когда пригоняли баржу под погрузку кирпича. Тогда для нас наступали жаркие дни: с деревянными «козами», нагруженными кирпичом, на спине мы вышагивали по трапам и уставали до потери сил.

Однако к вечеру, невзирая на усталость, мы почти все выбирались из барака на берег и смотрели, смотрели — река притягивала к себе. Только сигнал отбоя заставлял уходить в душные бараки.

Но не только грузы доставляли от Усть-Усы вверх по течению неумолимые тудяги-буксиры. В это лето одну за другой они волокли огромные баржи, на них мы наметанным глазом замечали знакомые приметы: дымили котлы полевых кухонь,

застыли в напряженной готовности охранники с автоматами; рядом с ними самые дальнорюкие из нас замечали и собак — немецких овчарок. За два года жизни на Адаке я еще не видел таких больших этапов. К нам, на инвалидный лагпункт, пополнение привозили обычно небольшими партиями. Такого движения мимо нас по реке еще не бывало — баржи с этапами шли косяком.

Невеселые мысли одолевали каждого из тех, кто вглядывался в медленно тянувшиеся по реке караваны судов. Буксиры трудились на пределе сил, иные волокли не одну, как обычно, а по две баржи. Всем нам становилось ясно, что на воле или, как у нас выражались, в Большом лагере продолжается все то же: новый поток заключенных движется к нам на Север, нет ему конца, и не предвидится...

Из газет, которые изредка попадали к нам, уже было известно о добровольном присоединении республик Прибалтики, о воссоединении Украины и Белоруссии и о ликованиях в связи с этими событиями освобожденных народов — этот термин был в ходу во всех газетных публикациях.

В угрюмом молчании глядели мы, адакские старожилы, на эти бесконечные караваны. Все мы в свое время прошли через такие испытания; вспоминались пройденные этапы, пешие по зимним трактам, под конвоем и с собаками, пароходные, когда задыхались в душных трюмах, и то, что было потом — лесзаги, земляные работы, шахты Воркуты.

Смотрели, как замороженные, и не было для нас в эти минуты ни тихой глади воды, ни лесных далей за рекой, ни бескрайнего неба — одно только видели наши глаза: медленное, но неуклонное движение каравана, баржи с полевыми кухнями и охранниками на палубах. Кто-то из нас вздохнул и затем обронил: «Ну, дождались, к нам едут освобожденные народы...» Буксиры с баржами ползли один за другим, и казалось, конца им не будет. Доколе, доколе...

Пантюков

На инвалидном лагпункте молодых было немного, большинство близких мне людей было много старше меня.

Постепенно я приучился держаться с ними на равных, кое-кого называл просто по имени, и всем окружающим такое обращение казалось естественным.

И все же меня тянуло к сверстникам. Однако случилось так, что двое моих друзей примерно одного возраста со мною освободились по окончании срока, и я остался один среди старших. Молодые, которые оставались на лагпункте, были все осужденные по статье СВЭ (социально вредный элемент), с ними у меня было мало общего. Поэтому когда с очередным пополнением на лагпункте появился новенький, осужденный Особым совещанием парень чуть помоложе меня, я с интересом к нему присматривался. Однако он был таким замкнутым, отчужденным от всех, что я и не пытался с ним сблизиться. Этот парень, Жора Пантюков, и в дальнейшем держался особняком — тихий, неразговорчивый, чем-то подавленный. Я, наверное, не запомнил бы его, но рассказ человека, который знал Пантюкова по тюрьме в Архангельске, многое разъяснил.

В этой тюрьме, как и во многих других, людей на следствии беспощадно избивали, добиваясь подписи под сочиненными следователями протоколами признаний. На таком вот допросе в кабинете следователя девятнадцатилетний парень из рабочих Пантюков схватил со стола тяжелое пресс-папье и ударил им своего мучителя, да так, что тот умер на месте.

После этого ему пришлось пережить новое следствие, уже по обвинению в убийстве. И сам он, и все, кто был с Пантюковым в камере, не сомневались, что его расстреляют, но дали ему «всего» восемь лет. По словам человека, поведавшего мне эту историю, после гибели ретивого следователя там прекратились избиения на допросах (полагаю, что только на время).

Случай с Пантюковым — единственный, известный мне, когда подследственный решился дать отпор своему истязателю. Узнав историю этого молчаливого, внешне ничем не примечательного парня, который нашел в себе силы защитить свое человеческое достоинство, я совсем иначе стал смотреть на него. А Пантюков и в дальнейшем оставался таким же немногословным и замкнутым — очевидно, пережитое наложило на него неизгладимую печать.

Настоящие люди

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

В.А. Жуковский

Как и большинство людей моего поколения, ровесников революции, я воспитывался в духе уважения, более того, преклонения перед деятелями ее, эту революцию, совершившими. Об их подвигах, бескорыстии, беззаветном героизме нам не уставали твердить на уроках в школе и в пионерском отряде, и в песнях, которые звучали кругом. Ничего иного, способного нарушить мою детскую веру в людей, делавших революцию, я не слышал и в своей семье.

Все мои родные были обычными интеллигентами без политических пристрастий, ни в какие политические партии не входили никогда. Хотя после революции наша семья была разорена, утратив все состояние, нажитое моим дедом, новый строй они приняли без колебаний.

И когда в 1937 году я оказался в тюрьме, сперва на Лубянке, потом в Бутырках, я на первых порах с уважением, даже с чувством почитания смотрел на соседей по камере, когда узнавал, что передо мною старые большевики, политкаторжане, участники Гражданской войны. Это уважение в полной мере сохранялось все время, пока я был в тюрьме, — там люди в большинстве держались достойно, несмотря на тяжелые, порой мучительные допросы, иногда длившиеся ночи подряд, с побоями и издевательствами. В правилах поведения, сложившихся в следственных камерах, прочно утвердился и неуклонно соблюдался дух взаимной поддержки, чувство товарищества.

Совсем не так было в лагерях. Тут сказалось многое: и то, что лучшие, наиболее стойкие и значительные в человеческом плане личности в лагерь не попали, они были уничтожены сразу. А самое главное: жестокие условия существования — жизнью это не назовешь, — созданные для заключенных в лагерях, сдирали с каждого манишки и галстуки; сразу становилось ясно, кто чего стоит. Далеко не все выдерживали испытание на стойкость и человечность. Многие мельчали прямо на глазах, и среди них оказалось немало участников революции и Гражданской войны.

Сейчас, по прошествии многих лет, я не хотел бы чрезмерно строго осуждать этих людей: всей своей предшествующей жизнью они не были подготовлены к сознательному сопротивлению в условиях тюрем и лагерей, слишком сильно въелось в них сознание своей кровной общности с тем строем, который их отверг, отверг неожиданно, необъяснимо, безжалостно, одним махом превратив в униженных изгоев, париев.

Как тут не растеряться? Нужно было произвести полную переоценку ценностей, на это был способен не каждый. И люди сломались. Некоторые и в лагере продолжали твердить о своих былых заслугах, о преданности вождю — для нас, молодых, это звучало жалким лепетом. Больно, обидно было и нам и им, но мы друг друга не понимали; не раз я слышал, как мои сотоварищи, молодые рабочие и студенты, с горечью бросали старшим: «Вы, именно вы нас до этого довели», и те в ответ не могли сказать ничего вразумительного. Тот ореол, которым мы привыкли окружать старших и заслуженных, померк быстро и безвозвратно. Не могу забыть презрительной реплики моего приятеля, хромого сапожника Петра Корчагина (свои 5 лет он получил за то, что сдал партбилет, и об этом поступке никогда не жалел): «Когда видишь человека, который любой работы боится как черт ладана, того и жди, что услышишь от него: “Я — член партии с такого-то года!”». Из лагеря я лично, да и не я один, вынес твердое убеждение, что партия — это величайшее зло для всей страны. И пока она правит, никакой человеческой жизни быть не может. Слова Вольтера о католической церкви: «Раздавить гадину!» как нельзя подходили к современной ситуации, их мы с друзьями вспоминали не раз, размышляя о судьбах страны и своей собственной судьбе.

Однако в лагере со мной были и партийцы революционных лет, которых я числил среди лучших из встреченных мною в жизни людей. О них я сохранил добрую память. Этот рассказ-воспоминание — своего рода триптих в память трех совершенно разных по характеру людей, с которыми меня свела судьба. Все они были участниками революции, деятельными и убежденными, по возрасту гораздо старше меня. Двое из них — Вениамин Флегонтович Романов и Иван Иванович Лебедев, инвалиды Гражданской войны — были несколько лет рядом со мной на инвалидном лагпункте Адак в Воркутредлаге и стали моими близкими друзьями, с третьим, Владимиром Ивановичем Невским, я встретился в камере внутренней тюрьмы на Лубянке и пробыл с ним чуть больше месяца. По возрасту он годился мне в отцы, а то и в деды, по значению своей личности и огромному жизненному опыту был величиной несоизмеримой со мной, наивным желторотым студентом-второкурсником архитектурного института. Тут уже была не дружба, а доброе, почти отцовское отношение с его стороны, а с моей — уважение и восхищение его честностью, принципиальностью, безоглядной смелостью, хотя кое-что в нем казалось мне несколько старомодным, чуть донкихотским в самом высоком смысле этого слова.

Мне суждено было прожить долгую жизнь и увидеть крушение некогда всемогущей партии. Впрочем, по зрелом размышлении, от слова «крушение» я склонен решительно отказаться, точнее будет употребить термин «вырождение» либо «приспособление»: ведь во всех сферах общественной жизни бывшие партийные и комсомольские фюреры занимают доминирующее положение. Не об этом мечтали мы с моими ближайшими друзьями в лагерях.

Тогда мы верили, что неизбежно, рано или поздно, сталинский режим рухнет, хотя, быть может, мы до этого и не доживем, сгинем здесь, в лагерях. Не припомню, кто из нас привел на память предсмертную записку Филиппо Строцци, вождя флорентийских республиканцев, попавшего в плен и покончившего жизнь самоубийством в тюрьме: «Да встанет из наших костей некий мститель за нас!»

Этого не случилось. Десятилетия сталинского террора сделали свое дело: лучшие люди трех поколений во всех слоях общества были уничтожены, выбиты планомерно и беспощадно,

оставшиеся — поголовно запуганы и одурманены, деморализованы небывалой в истории человечества системой массивированной пропаганды и доносительства. Героические усилия немногих одиночек, решившихся на противостояние режиму, хотя среди них и были выдающиеся личности, не смогли дойти до народа, обращенного в быдло.

И сейчас я не вижу пробуждения. Мы жили и продолжаем жить во лжи. Ныне к прежним мифам о советской власти — «самой гуманной из всех существовавших на земле», о Ленине — «самом человечном человеке», о Дзержинском — «спасителе беспризорных детей» и, наконец, о Сталине — «светлом гении человечества, корифее всех наук, отце, учителе и друге» усиленно добавляются новые, с обратным знаком. Мифы эти не менее лживы, чем прежние. Предреволюционная Россия изображается вполне благополучной, даже процветающей страной, которую к катастрофе привела кучка смутьянов во главе с Лениным, попутно очерняются все революционные деятели в истории России вплоть до Герцена и декабристов. Будто и не было никаких противоречий, питавших революционные настроения на протяжении более столетия. Но они были, и весьма глубокие, и люди, во всяком случае, честные и порядочные люди, шли в революцию не во имя карьеры и личного благополучия, а в поисках справедливости. Их чаяния не сбылись, они во многом заблуждались. Почти все они погибли в годы репрессий. О тех, кого узнал в лагерях, — с доброй памятью и с глубоким уважением.

Владимир Иванович

Второго апреля тридцать седьмого года после бессонной ночи, проведенной в «собачнике» Лубянской внутренней тюрьмы, и совершенно ошеломившего меня многочасового допроса с нелепым обвинением меня привели в небольшую камеру, где уже находились пять человек. Все они были много старше меня, а трое — совсем старики.

Был я угнетен и растерян; впрочем, вскоре я убедился, что так выглядели все, кто попадал в камеры сразу же после ареста и первого допроса: состояние шоковое.

Встретили меня сочувственно, с первых минут постарались поддержать и ободрить. До той поры я неизменно жил в семье, близкое общение с совершенно незнакомыми людьми, к тому же старшими по возрасту, было для меня внове. Тем не менее освоился я быстро. Пожалуй, больше всего способствовали этому двое из моих новых знакомых. Один из них был крепкого сложения мужчина лет под пятьдесят, красивого украинского типа, сероглазый, с копной вьющихся черных с проседью волос и аккуратной остроконечной бородкой. Из-за духоты в камере он носил одну нижнюю рубаху, брюки на нем были темно-синие, офицерские, фасона «галифе». Этот человек мне понравился с первого взгляда – улыбчивый богатырь, военврач первого ранга Николай Александрович Трофимчук.

Рядом с его осанистой, слегка полнеющей фигурой совершенно невзрачным показался невысокий коротко остриженный старик в легоньком сером костюме, подвижный и энергичный. Лицо его с неправильными чертами очень красили живые серо-коричневые глаза.

– Владимир Иванович, – представился он мне с несколько старомодной вежливостью.

По узкому проходу между кроватями упругим не по возрасту шагом туда и назад прогуливался высокий красивый старик. Весь седой, с белой бородой, в темно-синем костюме военного покроя, он, казалось, не замечал окружающей обстановки и в тесной камере, окрашенной тускло-зеленой краской, был как-то сам по себе, сосредоточенный и по-своему величественный.

На одной из кроватей лежал крупный, флегматичный, лысеющий со лба дядька, как я потом узнал – директор завода поляк Милевский; на другой понуро сидел высокий бородатый старик, меня неприятно поразил тяжелый взгляд его крупных, глубоко посаженных глаз.

Я занял одну из трех свободных кроватей, впрочем, остальные тоже пустовали недолго, вскоре поодиночке привели новеньких – старого члена партии, управляющего объединением «Русские самоцветы» Минася и Сергея Михайловича Горного, бывшего сапроновца.

В таком обществе началась моя «жизнь лубянская»; в дальнейшем состав менялся, кого-то уводили, появлялись новые

люди, снова уходили. Так на несколько дней попал в нашу камеру член ЦК компартии Польши Ендржиховский, хилый, тяжелобольной человек, вскоре его забрали в больницу, а его место занял тоже поляк, дородный невозмутимый ксендз Циккуль.

Старожилами камеры оставались Николай Александрович Трофимчук — «доктор», как мы его все называли, Владимир Иванович Невский и старик Михаил Владимирович Фосцялковский — профессор артиллерийской академии, бывший генерал царской армии. Каждый из них был личностью самобытной и своеобразной, все трое были людьми высокообразованными. Благодаря им в камере, несмотря на жесткий режим и постоянные ночные допросы, неизменно царило взаимное согласие.

Вообще, тюрьма — это школа жизни, школа серьезная и жестокая. Учит она многому, хотя и не всегда хорошему, но прежде всего — переоценке ценностей, усвоенных или вбитых в голову на воле. Для меня это обучение началось еще в первые часы пребывания в «собачнике» — камере для только что прибывших.

Привезли меня туда глубокой ночью, для спанья на холодный пол были уложены деревянные щиты. Моим соседом оказался здоровенный небритый грузин. Разумеется, заснули мы не сразу, после ареста все были растеряны, взбудоражены, не могли понять, за что нас взяли. Знал это лишь единственный — грузин, он и не скрывал ничуть: за убийство из ревности. Непонятно, как этот человек попал на Лубянку в сугубо политическую тюрьму — возможно, убитый был каким-то политическим чиновником. Мне стало не по себе от такого соседства. Хотя я этого не показал, но внутренне ужаснулся и одновременно удивился — уж очень открытым, непритворно добродушным и благожелательным был этот убийца. А когда днем я оказался лицом к лицу со следователем на первом допросе, то на всю жизнь получил урок изощренной подлости, лживости, лицемерия и холодной жестокости и уразумел, что многие, а возможно и большинство обычных убийц на порядок выше, честнее и человечнее служителей нашего правосудия.

Это было началом моей тюремной науки — нечто вроде писания палочек в первом классе начальной школы. Обучение я продолжал в следственной камере.

Душой нашего сообщества оказались два совершенно несхожих человека: Николай Александрович Трофимчук и Владимир Иванович Невский.

Врач-гигиенист, выдающийся специалист в своей области, военврач I ранга, Николай Александрович был врачом-тренером Чкалова, Байдукова, Белякова и Леваневского, за подготовку их к рекордным полетам был награжден орденом. Обвиняли его в неодобрительных отзывах о качестве отечественного санитарного оборудования, а также ставили в вину категорический отказ дать положительный отзыв о нововведении – добавке сушеного хмеля в табачные изделия; он называл эту затею фальсификацией. Обвинения по здешним меркам были самые пустяшные, но их хватило, чтобы посадить доктора, человека заслуженного, в тюрьму, как опасного преступника.

Сильный человек был Николай Александрович, к тому же доброжелательный и мудрый. В отличие от многих, тешивших себя надеждой, что все в конце концов обойдется и их отпустят, он трезво оценивал свое положение.

– Меня, – говорил он, – не могли посадить без санкции Ворошилова, а раз так, значит отсюда мне одна дорога – в лагерь. Я к этому готов, к тому же мне как врачу всегда найдется работа по специальности, а вот другим придется нелегко.

Он явно предвидел уготованную нам нелегкую судьбу и упорно, хотя и ненавязчиво, убеждал нас всех заниматься зарядкой по его системе, особо налегая на упражнения, имитирующие колку дров: готовил к трудностям.

Благодаря его настойчивости мы все, кроме увальня Милевского, по утрам старательно выполняли упражнения. Меня Николай Александрович обучал приемам массажа, впоследствии я не раз с благодарностью вспоминал его уроки. Много полезных советов получили мы от него. Так, он усиленно рекомендовал не пренебрегать селедкой и съесть ее вместе с костями. Он всегда был ровным, старался шутками и розыгрышами отвлечь соседей по камере от невеселых мыслей, хотя отнюдь не преуменьшал серьезности нашего положения. Доктор признавал, что здесь, в тюрьме, ему приходится легче, чем нам: жена его умерла несколько лет назад, детей не было, стало быть, не за кого беспокоиться. Он и был спокоен:

— Ну, осудят меня, но те, кого я уважаю, Чкалов, например, или Леваневский, ни одному слову из этих обвинений не поверят.

Высокий седой генерал Фосцялковский был посажен за сына, который отказался вернуться из заграничной командировки. Отличный специалист, Михаил Владиславович читал нам лекции по баллистике, очень ясно и доходчиво. Был он подчеркнуто деликатен, держался просто, но несколько отчужденно — истинный аристократ.

Совсем иным был Владимир Иванович Невский — старый большевик из ленинского окружения, в свое время — нарком путей сообщения, позднее — директор Ленинской библиотеки. На Лубянку его привезли из Суздальского политизолятора, где содержались многие видные деятели оппозиции. Владимир Иванович, хотя и не примыкал ни к одной из оппозиционных группировок, просидел в Суздале несколько лет.

Живой, энергичный, очень общительный, Невский был прирожденным общественным деятелем, пропагандистом от Бога, но, как я теперь понимаю, отнюдь не политиком: для этой роли он был слишком открытым и безоглядно честным, подчас юношески непосредственным. Одновременно он отнюдь не был зашорен на одной политике, обладал широким кругозором и огромным жизненным опытом. Ничего чопорного, начальственного не было в нем; пожалуй, из всех, кого я встречал за свою жизнь, Владимир Иванович был самым демократичным по своей природе, без игры и подделки. Убежден, что точно таким же он был и в те годы, когда занимал высокие государственные посты.

В отличие от большинства встреченных мною в тюрьме партийцев, растерянных, недоумевающих, всячески старающихся заявить о своей преданности «великому вождю народов», Владимир Иванович нисколько не скрывал своего отношения к Сталину и его окружению и взгляды свои высказывал бесстрашно, в самой резкой форме. От него я впервые узнал о письме-завещании Ленина, о ленинских оценках Троцкого, Сталина, Бухарина — с ними Владимир Иванович был полностью согласен. Сам он о сталинских методах руководства говорил с негодованием, считал, что с приходом Сталина к власти в партии воцарился дух низкопоклонства, лицемерия и лести,

были перекрыты все каналы, связывавшие партию и народные массы.

Не лучше отзывался Владимир Иванович и о Каменеве и Зиновьеве, их он считал людьми двуличными, способными на любую подлость. «Когда после смерти Ленина в руководстве завязалась борьба за власть, я опасался оставаться с ними: тут же продадут». О Троцком он говорил, что по приемам и отношению к людям он в чем-то был схож со Сталиным, но, несомненно, был фигурой более яркой и талантливой. Самыми порядочными из участников борьбы за власть в верхах он считал Рютина и Сапронова — мне эти имена были неизвестны.

Совершенно уничтожающими были его характеристики деятелей из окружения Сталина, среди них, по его мнению, лишь двое — Орджоникидзе и Андреев — были людьми порядочными, но «Андреев, однако, прежде всего — ничтожество», — добавлял всегда Владимир Иванович. Не без язвительности отзывался он о Молотове, который всячески подчеркивал, что в свое время работал с Лениным. Владимир Иванович, который любил и умел давать меткие характеристики, Молотова называл не иначе как «железной задницей».

Близко знал Владимир Иванович и Ягоду, в свое время он дал ему рекомендацию при вступлении в партию, о чем впоследствии очень сожалел:

— Такой был скромный, выдержанный, ригорист*, трезвенник, не курил; часто бывал у нас дома, жена все звала его «милый Генрих», — вспоминал Владимир Иванович. Этот «милый Генрих» посадил его и многих его товарищей по партии в Суздальский политизолятор. Правда, режим там был значительно мягче лубянского.

Особенно охотно рассказывал он о Ленине, и не столько о политическом деятеле, сколько о человеке, которого любил и уважал.

— У Ленина, — говорил он, — друзьями были люди далеко не самые выдающиеся в партии. Такие как Кржижановский, Троцкий, Каменев, Зиновьев, тем более Сталин, никогда близкими ему не были, хотя Ленин ценил их способности и умел использовать каждого из них, даже самых строптивых, в интересах

* *Ригорист* — человек, безусловно строгий в исполнении должного.

революции. Недаром Троцкого в среде руководителей называли «ленинской дубинкой».

Еще Владимир Иванович говорил, что в вопросах литературы и искусства Ленин был человеком устойчиво консервативных взглядов, любил и понимал классику и с недоверием относился ко всему кричащему, претендующему на новаторство; например, от стихов Маяковского его просто корбило.

Самой ненавистной фигурой был для Владимира Ивановича Вышинский – «переметчик», «Талейран русской революции». С негодованием говорил он, что для этого бывшего меньшевика, человека беспредельно циничного и беспринципного, Сталин пренебрег пунктом устава, запрещавшим избирать в состав ЦК выходцев из других партий.

– Пусть только попробуют вытащить меня на открытый процесс, я публично заклею его как переметчика, двуличного приспособленца! – восклицал он со своей обычной горячностью.

Бедный Владимир Иванович! Плохо же он знал бывших своих соратников. Таких как он, честных, до конца стойких и непримиримых, на открытые процессы не выпускали.

Нередко кого-либо из нас, особенно после ночных допросов, охватывали приступы безысходного отчаяния, и тут на помощь приходили наши товарищи по несчастью, и прежде всего – доктор Трофимчук и Владимир Иванович. Именно они умели поддерживать сносное настроение в наших нелегких обстоятельствах. Делали они это по-разному. Доктор всегда находил повод пошутить. Например, когда в очередное дежурство по камере ксендз Цаккуль по утрам распределял туалетную бумагу, доктор именовал это бесплатной раздачей индulgенций, попутно беззлобно прохаживался по поводу ксендзов и экономок; умница ксендз, коренастый толстяк, только шурил озорные глаза. Владимир Иванович поступал иначе: затевал рассказ из своего богатого событиями прошлого или спор на философскую тему, и все это с такой непосредственностью, так живо и увлекательно, что люди хоть немного отвлекались от мрачных мыслей, оттаивали.

Все-таки великая сила – высокая общая культура, именно благодаря ей интеллигентные, мягкие по натуре, физически хрупкие люди вроде Владимира Ивановича в условиях жестоких допросов с провокациями, обманом, изощренными

истязаниями, пытками, оказывались более стойкими, чем те, кого числили по разряду «железных» и «твердокаменных». Именно они устояли и не допустили, чтобы их выгнали на позор в инсценированных процессах «врагов» и «заговорщиков».

Спустя много лет, в 1988 году, когда эти мои воспоминания, давно написанные, покоились в укромном месте, я прочитал в газете «Советская культура» большую статью о Владимире Ивановиче. Из нее я узнал, что настоящее имя его – Феодосий Иванович Кривобоков, сын купца, что был он профессором, автором множества книг и статей – в камере он об этом не упоминал. И еще узнал я, что 8 мая 1937 года, когда я расстался с Владимиром Ивановичем (меня перевели в Бутырскую тюрьму), ему оставалось жить чуть больше двух недель: он был расстрелян 25 мая. Я часто думаю о том, мог ли он в тюремной камере предвидеть свою судьбу, и до сих пор не могу дать определенный ответ на этот вопрос. Вполне допускаю, что близко зная Сталина, Владимир Иванович мог ожидать такого исхода, но ничем не давал нам, своим сокамерникам, это почувствовать.

После появления статьи в «Советской культуре» я встретился с дочерью Невского, Любовью Владимировной, очень на него похожей, рассказал ей все, что мог. Любовь Владимировну мучил вопрос об истязаниях, которым могли подвергать ее отца. Хотя бы в этом отношении я смог ее утешить: за месяц с небольшим нашего пребывания на Лубянке его ни разу не допрашивали и до этого не истязали физически – для открытого процесса по тогдашнему сценарию с публичным покаянием Владимир Иванович был фигурой совершенно непригодной и нежелательной. Хоть эта чаша его миновала.

Прочитав мои воспоминания об отце, Любовь Владимировна внесла одно уточнение, на мой взгляд, весьма существенное: на основании его отзывов о деятелях партии я причислил его к правым, однако, по словам Любови Владимировны, он ни к одной из оппозиционных группировок не принадлежал, был сам по себе, но открыто осуждал низкопоклонство и ложь, все больше набиравшие силу. Это и определило его трагическую судьбу.

Вениамин Флегонтович

В лагерь я попал совершенно неподготовленным к трудностям жизни, немудрено, что за полгода работы на строительстве железной дороги надорвался и заболел туберкулезом легких. Здесь непосильная работа и постоянное недоедание сводили в могилу людей гораздо более крепких, чем я. Все же мне было суждено выжить. После скитаний по лагпунктам, этапов и долговременного лечения в стационаре я попал на инвалидный лагпункт у Полярного круга, там снова угодил в стационар, и казалось, надежды на выздоровление уже не было.

Главный врач, доктор Нейман, пошел на рискованный эксперимент: выписал меня и уговорил пойти на работу в лес. Сперва я сжигал сучья, затее окреп, перешел на лесоповал, постепенно втянулся в лесную работу и, как выражался мой напарник Данила Зюкин, «уцепился за жизнь».

Данила был моим наставником, обучил меня, доходягу и неумеху, работе с двуручной пилой и топором и взял работать с собой в паре. В основном мы валили лес на дрова, но иногда приходилось заготавливать и строевой лес; это было много труднее: лес здесь, у самого Полярного круга, был некрупный, комлястый; в поисках подходящих стволов зачастую приходилось ползать в снегу от дерева к дереву. На этой работе Данила чувствовал себя как рыба в воде — знал ее досконально, был привычен с детских лет.

Это был человек с твердым, даже жестким характером, невероятно упрямый и по-своему большой оригинал. До ареста он был председателем сельсовета в своих родных местах, где-то на Смоленщине и, судя по его же рассказам, вел себя там как местный царек. Во время внутрипартийной борьбы он приккнул к троцкистам, поэтому и попал в тридцать шестом году в лагерь. Не знаю уж, что он, человек малообразованный, имевший за плечами лишь начальные классы церковно-приходской школы, разумел в партийных разногласиях, но Сталина он ненавидел, к тому же был убежден, что и Сталин его, Данилу Зюкина, «агромадно ненавидит», и пощады от него не ожидал.

Было ему лет под сорок, но выглядел он много моложе. Несмотря на увечье — кисть левой руки отняли после ранения

на польском фронте — Данила был, пожалуй, лучшим лесорубом на лагпункте. Невысокого роста, коренастый, большеголовый, он был неутомим и полон энергии; работая в паре со мною, все самое трудное брал на себя. Однако работать с Данилой было нелегко из-за особенностей его характера, упрямого и неподатливого. Заготовленные дрова полагалось сложить в штабель для замера кубатуры, и тут-то начинались Данилины художества. Великий труженик, он считал делом чести как можно искуснее обмануть лагерную администрацию, «заправить туфту». Весь кодекс лагерной жизни поощрял такой образ действий, недаром здесь бытовало выражение: «три кита — мат, блат и туфта» — на них, дескать, все в лагере держится.

После того как сваленные хлысты были разделены на дрова, Данила принимался колдовать, укладывая поленницу «с воздухом», для этого внутрь ее искусно заводилась хитроумная система конструкций из кривых поленьев и сучьев, а с лица для маскировки выкладывались плотной стенкой ровные плахи.

К укладке штабеля Данила и близко меня не подпускал, здесь он начисто отказывал мне в доверии. Мое дело было подтаскивать ему плахи и помогать при подъеме. Укладывая штабель, Данила действовал как истинный художник, бесконечно взыскательный и неудовлетворенный своим трудом. Не однажды уже почти уложенный штабель он перекладывал снова, иногда даже дважды, если решал, что «воздуха» внутри поленницы получилось недостаточно. Сил на эти махинации мы затрачивали уйму, гораздо проще, да и легче было бы свалить и разделить еще пару-тройку деревьев и дополнить штабель, но я на своем опыте успел убедиться, что на такое Данила никогда не пойдет, поэтому махнул рукой и подчинился ему во всем.

Самое забавное во всей этой истории начиналось на исходе рабочего дня, когда на делянке появлялся подтянутый, невозмутимый человек чуть выше среднего роста с командирской планшеткой и папкой в руке — десятник Романов. Широким шагом он подходил к нашему сооружению, оглядывал его из-под очков в широкой роговой оправе, неспешно обходил кругом, затем втыкал в зазор между плахами толстенную, тщательно ошкуренную суковатую палку, с которой не расставался, и сильным движением встряхивал поленницу. Эту процедуру он

повторял еще пару раз, затем предлагал нам поправить изрядно осевшее сооружение и только после этого приступал к замеру, не обращая внимания на возражения и ругань Данилы. Невозмутимо записав полученную в итоге кубатуру, Романов не торопясь укладывал листок с записью в планшетку и аршинными шагами удалялся в сторону соседних делянок.

Тогда Данила в полной мере давал выход своему гневу, костерил «этого гада, сволочь, белогвардейского офицера, контору недобитую» всяческими крепкими словами. Он кипел, возмущался: «до чего дошло – его, борца за советскую власть, инвалида польской войны, здесь, в лагере, угнетают, душат всяческие бяляки». Я обычно отмалчивался, хотя конечно обидно было после всех трудов по многократной перекладке штабеля терять три-четыре, а то и пять десятых куба. К сожалению, такие передраги отнюдь не останавливали моего упрямого напарника; немного поостыв и прекратив поток ругани, он, набывчившись, с угрозой заявлял: «Ничего, увидишь, как я завтра его, гада, обгребу!» Увы, на следующий день повторилась та же история.

Признаться, тогда я, так же как и Данила, был твердо уверен, что Романов и впрямь бывший белый офицер, уж очень его внешний облик отвечал сложившемуся у меня представлению: военная выправка, удлинненное высоколобое лицо со строгим взглядом холодных серых глаз за стеклами очков и, особенно, голос с хрипотцой и властными командными интонациями... Чем не есаул Половцев из «Поднятой целины»! Даже одет он был не совсем по-лагерному: в летние месяцы на голове у него была светлая фуражка полувоенного покроя, да и вся остальная одежда была как-то пригнана на военный лад, а тут еще и планшетка... Жил Романов почему-то не в общем бараке и не в домике для «придурков» – инженеров и конторских работников, а отдельно ото всех в небольшой каморке рябом с тамбуром в соседнем бараке; это еще больше отделяло его от нас.

Много позднее, когда я вместе с Романовым оказался на кирпичном заводе, мы с ним сошлись покороче и он стал одним из самых близких мне людей. Только тогда от него самого я узнал, что никакой он не белогвардеец, а старый член партии, участник Гражданской войны, а его хриплый голос – следствие

тяжелого ранения под Перекопом, где Вениамин Флегонтович, в то время двадцатитрехлетний комиссар, уж не помню, то ли 3-й, то ли 5-й армии, был ранен в шею с повреждением горла. А затем ему довелось быть председателем вологодского горсовета именно в тот период, когда в Вологду был эвакуирован дипломатический корпус. Не без юмора вспоминал Вениамин Флегонтович о своей «дипломатии» с послами и военными атташе иностранных держав.

Когда после смерти Ленина завязалась борьба с уклонистами, Романов примкнул к правым, был за это исключен из партии, но каяться отказался. Уже беспартийного, его назначили начальником Чаеуправления СССР, но на этом посту он пробыл недолго. Сперва его сослали в Чимкент, а оттуда в тридцать шестом году взяли, и Особым совещанием он был осужден на пять лет лагерей.

Вениамин Флегонтович вырос в семье зажиточного крестьянина Вологодской губернии. В революцию он пришел, оставив учение в Петровской сельскохозяйственной академии, для него, крестьянского сына, это было само собой разумеющимся шагом, и сделал Романов этот шаг, без малейшего колебания примкнув к большевикам.

Как-то раз я спросил Вениамина Флегонтовича: как получилось, что он, с его трезвым крестьянским умом мог пойти в партию, провозгласившую своей целью коллективизацию? Он на это ответил, что в то время речи о коллективизации не было, да и позднее он не мог предположить, во что эта коллективизация выльется.

— Тем более я не мог предполагать, что ключевыми фигурами на селе станут «работнички» вроде нашего соседа Васьки, лежебоки и бездельника. Я всегда считал, что ориентироваться следует на трудолюбивых и хозяйственных, поэтому закономерно оказался с правыми.

Был он суров и честен до аскетизма.

— Когда после смерти Ленина в руководстве партии начались раздоры, — рассказывал Вениамин Флегонтович, — мне уже на первых порах стало ясно, что время честной борьбы взглядов ушло безвозвратно и скоро дело дойдет до взаимного истребления. Я запретил жене баловать детей, даже сказал, чтобы белый хлеб не покупала, а приучала к чер-

ному – предвидел, что предстоят черные дни. Из партии меня исключили, с должности сняли. Я почувствовал, что попал «под колпак», нет-нет, да придут с обыском. Мои друзья по фронтам еще оставались у власти – Левичев, Меженинов, Дерibas. Терентий Дерibas в НКВД занимал высокую должность. Бывало, звонит мне. Снимаю трубку, он спрашивает: «Ну, как ты там?» Я уже понимаю, ночью его башибузуки с обыском нагрянут. Готовлюсь: что-то припрячу, а то и сожгу. И верно – приходят! Все-таки и там, в НКВД, помнят фронтovou дружбу... – заключал Романов.

Добавлю, что все упомянутые им люди были расстреляны в годы ежовского террора.

Вениамин Флегонтович был человеком с широким кругом интересов, любил и понимал поэзию, но особенно привлекала его культура Японии. Он отлично знал историю этой страны, увлекательно рассказывал о буддизме, даосизме, конфуцианстве, о влиянии этих учений на уклад жизни народов Востока, их культуру и искусство. Для меня это было внове, и своим последующим интересом к удивительной культуре Японии я целиком обязан Вениамину Флегонтовичу.

Сблизившись с Романовым, я узнал, почему он не живет в общем бараке. После ранения ему пришлось перенести несколько операций на перебитом дыхательном горле. Первые оказались неудачными, и только позднее, в Москве крупный специалист, профессор, вставил взамен перебитого участка серебряную трубку. Вениамин Флегонтович получил наконец возможность нормально дышать, но голос остался хриплым, а во время сна вшитая трубка давала себя знать: как только он засыпал, раздавались трубные звуки такой силы, что соседи не могли глаз сомкнуть.

Когда Вениамин Флегонтович стал начальником кирпичного завода, он поместился в небольшом домике, предназначенном для начальства. К одной из стен домика была пристроена конюшня. Вскоре конюх стал замечать, что лошади сделались пугливыми, стали заметно худеть, на боках у них появились ссадины. Не сразу догадались, что бедные животные по ночам бились в своих стойлах, напуганные громоподобным «металлическим» храпом Романова. Лошадей пришлось переместить, и они снова обрели покой.

После этой истории кто-то из нас не без лукавства спросил Романова, как переносила этот иерихонский храп его жена — ведь эдак мертвого разбудить можно! Немного помедлив, Вениамин Флегонтович с необычной для него мягкой улыбкой ответил:

— А знаете, она под этот храп спокойно засыпала, а вот если случайно на время я переставал храпеть, мгновенно просыпалась в тревоге — здесь ли я рядом? Особенно в последние годы, когда каждую ночь ожидали ареста.

Семья Романова оставалась в Москве, он регулярно получал из дома письма, иногда и посылки. К своей семье он был очень привязан, однако всегда говорил, что в случае освобождения мечтает жить только на Вологодчине. Свои родные места он любил, и хотя по натуре был человеком строгим и немногословным, часто о них вспоминал. Он высоко оценивал трудолюбие вологодских крестьян, их умение вести хозяйство в нелегких условиях северной природы, незаурядную предприимчивость — ведь еще в дореволюционные времена именно на Вологодчине возникали кооперативные крестьянские сыроваренные и маслодельные заводы, их продукция славилась на всю Россию.

Запомнился его рассказ, своеобразный гимн вологодскому маслу.

После удачной операции, когда он наконец получил возможность нормально дышать и разговаривать, Вениамин Флегонтович решил преподнести сделавшему ее профессору настоящее вологодское масло. Было это в самом начале нэповских времен, после разрухи раздобыть настоящее, первосортное масло оказалось делом нелегким, но он сам съездил в родные места и своего добился: профессор, человек достаточно искушенный, признался, что ничего подобного не пробовал.

Вениамин Флегонтович, будучи человеком высокообразованным, оставался верным традициям родного ему крепкого хозяйственного крестьянства; он не признавал работы спустя рукава — всякое дело, по его глубокому убеждению, должно было выполняться добротнo, без подвохов и жульничества, и тут он никаких компромиссов не признавал. Даже в лагере, где большинство из нас «перевоспитавшись» усвоили, что подневольную, каторжную работу можно и даже нужно делать кое-как, с любыми ухищрениями, лишь бы выполнить норму и зарабо-

тать свою пайку, Вениамин Флегонтович оставался верен себе. Его педантичной, но глубоко честной натуре претили туфта, подтасовки и обман, именно поэтому он никак не соглашался принять у нас с Данилой дутые кубометры.

Держал он себя с достоинством, никогда не вступал в ненужные споры, не искал для себя привилегий. Назначенный начальником кирпичного завода, Романов нисколько не изменил ни ровного обращения с людьми, ни скромного образа жизни. Пока он оставался на этом посту, жить на заводе было неплохо. Забота о людях стояла у него на первом месте, хотя он этого не декларировал, держался внешне строго и несколько отчужденно.

Нашим лагпунктом в течение нескольких лет управлял вольнонаемный начальник — эстонец Раммо, человек справедливый и честный, не жаловавший подхалимов; при нем Романов оставался начальником завода. После отъезда Раммо новый начальник вскоре отстранил Романова — слишком уж независимым он был. К тому же Вениамин Флегонтович начал прихварывать, и его в одно время со мной положили на лечение в стационар. Там-то мы с ним сошлись ближе, о многом беседовали вполне откровенно.

Из людей, отбывавших пятилетний срок, он освободился одним из первых в начале сорок первого года. Мы с ним тепло простились, вскоре от него пришло краткое письмо из города Сокол Вологодской области. А через несколько месяцев началась война. Нас сразу же лишили права переписки, и связь с внешним миром оборвалась надолго.

Много позднее, уже после смерти Сталина и последовавшей затем реабилитации, я попытался через адресное бюро разыскать Вениамина Флегонтовича в Москве — там его не оказалось... Возможно, его, как и многих бывших лагерников, снова посадили после начала войны, а может, он, человек последовательный, поступил как мечтал в лагере — остался в родной Вологодчине. Этого уже мне узнать не дано.

Иван Иванович

Бывают люди, которые привлекают и покоряют окружающих какой-то от природы данной незамутненной ясностью души

в сочетании с живым пытливым умом. В самых трудных жизненных обстоятельствах они остаются верны себе, не поступаясь своими убеждениями, но и не афишируя их. Это, по-моему, природный дар, таких людей я знал немного, и самым примечательным из них был мой близкий друг Иван Иванович Лебедев.

На инвалидном лагпункте Адак, где мы провели с ним бок о бок несколько лет, среди заключенных были люди высокообразованные, нередко с выдающимся прошлым, но никто из них не пользовался таким расположением товарищей по несчастью, как этот невзрачный с виду уже немолодой человек, формальное образование которого составляли всего четыре класса церковно-приходской школы.

Меня всегда поражал в нем удивительный талант общения; в любой среде, даже самой интеллигентной, он неизменно оказывался одним из самых интересных собеседников, при этом не заметно было ни малейшей фальши, стремления приспособиться, подделаться под общий тон — настолько живыми, содержательными, подчас полными тонкой иронии были его суждения.

В наружности Ивана Ивановича не было ничего броского — невысокий, сухошавый, всегда коротко остриженный, с живыми карими глазами, он располагал к себе с первого же знакомства. У него был незаурядный дар рассказчика, умение просто и убедительно передать свои впечатления, ощущения, сомнения. Голос у Лебедева был звучный, богатый интонациями, выражавшими то гнев, то раздумье, то тонкую иронию, но больше всего мне запомнился его смех, пожалуй, такого я ни у кого из взрослых не встречал: негромкий, залиvistый, как-то по-детски открытый и непосредственный, удивительно красивый по звучанию — точно слышишь дорогой музыкальный инструмент.

От Ивана Ивановича я узнал о его прошлой жизни — ее он охотно вспоминал, начиная с детских лет. Происходил он из крестьян Старицкого уезда Тверской губернии. Земли в этих местах, на полпути между Москвой и Петербургом небогатые, прокормиться на них было нелегко, поэтому обычным стало в крестьянских семьях отправлять детей в столичные города для обучения ремеслу.

Так попал в Питер и одиннадцатилетний мальчуган Иван Шубин — фамилию Лебедев его отец принял уже позднее; у них

полдеревни были Шубины. Кстати, самому Ивану Ивановичу эта смена фамилии не нравилась, и он, вспоминая, не одобрял отца:

– Мы, – говорил он, – исконные Шубины, так бы и оставались. Ну что такое – Лебедев? Как-то на красоту тянет. А ведь Шубин – лучше!

И так он выговаривал обе фамилии, что у меня сомнений не оставалось: и впрямь Шубин звучит лучше.

С мягким юмором изображал Иван Иванович сцену своего появления в столичной мастерской по обивке мебели, куда его отец определил в учение:

– Привез меня отец в Питер зимою, я был ростом маленький не по возрасту, а на голове – огромная шапка. Окружили меня мастера, ученики, я смутился, конечно. Кто-то спросил, как зовут, а я возьми да и ответь: «Иван Иванович». Все так и грохнуло, наверное уж очень смешно показалось такое услышать от мальчугана под шапкой. И так это прозвание пристало, что уже с тех пор меня иначе как Иван Иванович никто всю жизнь не называл, – заключил Лебедев свой рассказ.

Мастерская, куда он попал, была одна из лучших в столице, мебель здесь изготовлялась дорогая. Постепенно, работая рядом с умелыми мастерами, он освоил мастерство обойщика и к началу революции сам уже был на хорошем счету.

Революционные события его, человека пытливого, энергичного, с обостренным чувством справедливости, не могли оставить равнодушным. Иван Иванович вступил в Красную гвардию, дрался с белыми на фронтах Гражданской войны, был ранен. Ранение в руку задело нерв, так что кисть навсегда осталась ограниченной в движении и очень чувствительной к холоду. Именно по этой причине он и попал на инвалидный лагпункт Адак.

Еще до ранения Иван Иванович попал в переделку, которая едва не стоила ему жизни. Его вместе с другими однополчанами неожиданно назначили в расстрельную команду при ревтрибунале. Идти туда Лебедев отказался наотрез. Тогда его вызвал к себе председатель трибунала, немолодой уже латыш по фамилии Бриедис.

В те годы многие латыши приняли самое деятельное участие в революции, немало из них оказалось в числе судей рев-

трибуналов, там их суровая честность, порой переходившая в беспощадность, была высоко оценена. Именно таким оказался Бриедис.

— Являюсь я к нему, — рассказывал нам Иван Иванович, — он рослый, уже седой; посмотрел на меня строго и спрашивает: «Почему отказываешься приказ выполнять?» Отвечаю: «Не могу расстреливать, отправляйте в любую часть на фронт, только расстреливать не стану». Он мне еще строже: «А другие могут? Не подчинишься приказу — самого под трибунал и расстреляем». «Отдавайте, — говорю, — а расстреливать не буду, не могу». Сидит он, здоровенный такой, суровый, смотрит на меня. Помолчал, подумал и вдруг говорит: «Ладно, ступай, оставайся в своем взводе». Так вот обошлось, а я уже считал, что все, конец. Потом я встречал тех из наших, кто попал в эту расстрельную команду, они первое время с нами в казарме оставались, смотрю — приделались, кое у кого вещи, снятые с расстрелянных, появились, в глаза мне не глядят.

Помню, после этого рассказа кто-то из нас спросил:

— Ну, Иван Иванович, вот как ты сейчас смотришь на свое прошлое?

Лебедев помолчал, затем твердо ответил:

— Не тому богу молился...

После армии Иван Иванович попал на культурно-просветительную работу — его направили заведовать Домом культуры Ижорского завода. Думаю, что здесь он нашел себя: энергичный, любознательный, с большим природным тактом и врожденной интеллигентностью, Лебедев занялся новым для себя делом с увлечением, и за годы работы так образовал себя, что никто из общавшихся с ним не воспринимал его как человека с начальным образованием, а напротив, как авторитетного собеседника с широким кругом интересов. Революция подняла и выдвинула немало таких самородков, но одновременно с ними поднимались и процветали люди иной породы — некомпетентные, агрессивные, хамоватые. Ничему толком не научившись, они считали себя призванными только руководить, неважно, как и чем, но руководить обязательно.

Немало такого рода «руководителей», разумеется, бывших, встречал я в лагерях. Один из таких, кстати, далеко не худший, добродушный и недалекий Семен Курганов, до ареста руково-

дил несколькими учреждениями, совершенно разными по роду деятельности, и не без гонора говорил об этом. Кто-то из нас задал ему вполне уместный вопрос:

– Как ты, Семен, мог руководить, раз ты не специалист в этих областях и, следовательно, ничего в них не смыслишь?

На это Курганов, ничуть не смутясь, ответил:

– Ну, как же, я был относительным специалистом.

Иван Иванович, человек живой и талантливый, чуткий ко всему новому, уважавший чужое мнение и умевший отстоять свое собственное, разумеется, ничего общего не имел с такими «относительными специалистами». О своем Доме культуры он говорил увлеченно, со знанием дела рассказывал о постановках, о встречах с артистами.

Не раз в разговорах с близкими друзьями он вспоминал о своей жене. Воспоминания эти были для него нелегкими. Женился Иван Иванович довольно поздно, жена была моложе его лет на двадцать, жили они очень дружно. Познакомились они в Доме культуры, где Лебедев был директором. Ивану Ивановичу его будущая жена приглянулась с первого взгляда, но за нею ухаживали люди помоложе его и более заметной внешности. Иван Иванович, скромный по натуре, долго не решался пригласить ее на танец — стеснялся и возраста, и своих чуть кривоватых ног, и невысокого роста. И все же они поженились — он сумел понравиться и выделиться среди более молодых поклонников. Я понимаю, чем он взял — умом, душевностью, неподдельной жизнерадостностью. Судя по его рассказам, жена была скромной, с покладистым характером, довольно беспомощной в житейских вопросах и, по его выражению, «очень простенькой» — это звучало как высшая похвала. Детей у них не было.

После ареста и осуждения Лебедева Особым совещанием его жену как члена семьи врага народа выслали в Казахстан. Она очутилась в глухом селении, одна, без средств и без специальности, в совершенно отчаянном положении; Иван Иванович в это время мотался по лагпунктам Воркутпечлага, ничего не зная о ее судьбе.

Беспомощная, совершенно не приспособленная к жизни, жена Ивана Ивановича скорее всего погибла бы в ссылке, но молодой инженер, который в свое время вместе с Лебедевым ухаживал за нею, поехал в Казахстан и вывез ее в Ленинград,

оформив с нею брак — иначе ее оттуда не выпустили бы. Этот человек, по словам Ивана Ивановича, очень порядочный, и после замужества не переставал ее любить, бывал у них в гостях и иногда грустно шутил, что отобьет ее у мужа. Они прислали ему в лагерь письмо, сообщили о случившемся, просили прощения.

— Как получил я это письмо, — рассказывал Иван Иванович, — всю ночь не спал, плакал, слезы душили; я, чтобы соседи по нарам не слышали, угол подушки зубами сожму, так и лежу до подъема. Долго терзался, потом одумался и успокоился — понял, что так лучше для нее, смирился. Знаю, по крайней мере, что она из-за меня не погибнет.

Но боль утраты, я это знал, не проходила, нет-нет, да вспоминал он в разговорах как бы невзначай свою «простенькую» жену.

Рассказчик он был удивительный, мы в бараке не раз заслушивались, когда он вспоминал, казалось бы, совсем незамысловатые случаи из своего прошлого, живые картинки подлинной жизни, освещенные своеобразным незлобивым юмором — то из времен ученичества в мастерской обойщика, то из повседневной жизни его окружения — рабочих-ижорцев, близости к которым он никогда не терял.

Среди многих его дарований был и талант чтеца. Иногда нам давали газеты — разумеется, после предварительного просмотра, — и неизменно Иван Иванович читал их вслух у общего стола в бараке. При этом он удивительно точно одними средствами интонации умел подчеркнуть натужную напыщенность, фальшивый пафос неизменных тогда славословий «великому вождю, учителю и другу» и призывов к бдительности — никаких комментариев уже не требовалось, хотя все статьи прочитывались слово в слово — не придерешься. Иван Иванович как никто из нас умел читать между строчками, и уже после прочтения статей в избранном узком кругу раскрывал многое, что подчас ускользало от нашего внимания. Иногда именно это оказывалось самым существенным.

Меня, постоянно общавшегося с Иваном Ивановичем, особенно привлекало его неизменное жизнелюбие, умение живо, всей душой, откликаться на все хорошее, что возможно было обнаружить в окружавшей нас невеселой действитель-

ности. У меня, да и у всех остальных, эти качества были подавлены всем пережитым с начала ареста. Само присутствие рядом с нами человека, который лишился семьи, оставался, казалось бы, совсем одиноким и тем не менее не сник, не опустил, не озлобился, всегда был бодрым, отзывчивым, действовало на нас живительно, укрепляло, ободряло. Такое дорогого стоило.

Сперва я предполагал, что такое восприятие жизни у Лебедева чисто природное, подобно его смеху, от незамутненной ясности души, но позднее убедился, что многое определялось своеобразной, очень цельной философией. Он нередко говорил, что жизнь наша состоит из приятных и неприятных ощущений, и самое разумное — сосредоточиться на положительном, не заикливаясь на отрицательном. Это, конечно, дается нелегко, но только так можно воспитать в себе твердость духа. В его подходе к жизненным явлениям была спокойная вдумчивость, постоянное стремление внимательно взглянуть в окружающий мир и прежде всего — в самого себя. В то время я еще ничего не знал о Монтене, как, конечно, ничего не знал о нем и Иван Иванович, и только много позднее, ознакомившись с «Опытами», я понял, насколько близок был Иван Иванович к ясному, глубоко гуманному монтеневскому восприятию мира.

С ним мы прожили на инвалидном лагпункте Адак почти четыре года бок о бок в одном бараке. Сколько я помню, Иван Иванович почти все это время работал на вывозе дров из леса в паре с нашим общим другом, туляком Славой Латовым. Дрова возили на себе, эта «лошадиная» работа считалась у нас одной из лучших — на чистом воздухе и подальше от начальства. Возили дрова на санках с длинным дышлом, упиравсь грудью в поперечину. В летнее время приходилось работать в заводе, но у Полярного круга лето короткое, так что основная работа у Ивана Ивановича была в лесу — иную с искалеченной рукой ему делать было трудно.

Незадолго до войны окончился его срок, мы, его друзья, радовались за него, тепло распростились. Одновременно освобождился и Латов, такой же инвалид, перелом руки у него был после обвала в шахте на Воркуте. Иван Иванович собирался поселиться на Кубани, там жила его двоюродная сестра; о возвращении в Ленинград нечего было и думать. Было это в начале

июня сорок первого года. Все планы нарушила война. Вскоре тех, кто успел освободиться, стали возвращать в лагеря, среди них оказались и Лебедев с Латовым, их вернули с дороги и как инвалидов снова отправили к нам на Адак. К такому повороту судьбы Иван Иванович отнесся с обычной своей спокойной мудростью — иного он в этой ситуации не ждал. «Хорошо хоть снова среди своих» — таков был его комментарий по возвращении.

После нападения Гитлера режим на лагпункте резко ужесточился. Сразу же отделили и вскоре куда-то увезли всех наших немцев, на работы в лес стали водить под конвоем, хотя и чисто символическим: нас «пас» всего один конвоир, здешний стрелок. Он отлично понимал, что отсюда мы, инвалиды, никуда не денемся, поэтому нисколько нас не теснил. Позднее и этот конвой сняли, но все же изменилось многое: нас лишили права переписки, правда, через полгода разрешено было отправлять по одному письму в месяц. Самое скверное было то, что усилилась слежка и оживились стукачи, за любое неосторожное слово стали хватать и привлекать к следствию.

Здесьних стукачей мы знали всех до единого, их было немного, но вред от них был немалый: старались эти подонки из всех сил. Некоторые неосторожные были по их доносам увезены в Воркуту. Недалекий шумливый старик-белорус из раскулаченных, дядя Миша Хамцов, неосмотрительно ляпнул: «Ну что ему, Гитлеру, надо было? Мало эшелонов с хлебом и салом ему в Германию гнали? Сало наше ему не по вкусу пришлось?» Посадили.

Под следствие попал и пожилой человек с обликом древнегреческого философа — анархист Федор Михайлович Ухин, лагерный сиделец с девятнадцатого года. Он вздумал рассуждать о ходе войны с уголовниками, по анархистской традиции считая их чуть ли не революционной силой. Один из них, некий Пелевин, на него донес. Вскоре этот Пелевин попал в стационар и там неожиданно умер. В его смерти обвинили медсестру — красивую молодую грузинку Тамару Гвелисиани, жену «врага народа» — она, якобы, дала ему яд. Заодно схватили и ее друга, Дмитрия Дмитриевича Заволоку, бывшего секретаря райкома партии в Киеве.

Прямодушный Хаим Горелик, инвалид Гражданской войны, в прошлом портной из Белоруссии, бросил в лицо одному

из стукачей — Гервицу: «Таких как ты, предателей, по древнееврейским законам, о которых ты любишь талдычить, насмерть камнями забивали!» Тот немедленно донес, и Хаима посадили.

Почти ежедневно кого-либо из стукачей вызывали к оперуполномоченному, нередко после этого ночью людей забирали из барака. Обратного они не возвращались. Обстановка на лагпункте была гнетущая.

И я, и наши общие друзья опасались за Ивана Ивановича: при всем уме и способности к эзоповскому способу выражения мысли он мог оказаться жертвой доноса — стукачи тоже кое-что из иносказаний могли уловить. Поэтому мы не раз просили его быть осторожным — слишком заметной фигурой он был на лагпункте.

По крайней мере до моего освобождения в июне сорок второго года Ивана Ивановича не трогали. Я вышел из лагеря в разгар войны и с тех пор не имел известий об Иване Ивановиче и других моих друзьях на лагпункте Адак. Много позднее, оказавшись в командировке в Туле, я через адресный стол попытался разыскать нашего общего приятеля, туляка Славу Латова, страстного патриота этого города. Адрес я получил, однако узнал от его близких, что за несколько месяцев до моего приезда он скончался от рака. В его семье об Иване Ивановиче ничего не знали. Последняя надежда узнать о судьбе чудесного человека и надежного друга оборвалась.

Адрес – лагпункт Адак

Ты одна мне несказанный свет...

С. Есенин

Мама, дорогая мама моя... сейчас мне восемьдесят семь лет. Уже шестьдесят лет тебя нет со мною... и шестьдесят семь лет прошло с того дня, когда переломилась наша с тобою жизнь — со дня моего ареста. Кончилась жизнь, и началось житие. Две даты: второе апреля тридцать седьмого года, шестнадцатое июля сорок четвертого. Мой арест, твоя смерть.

Передо мною пожелтевшие от времени открытки с твоим четким красивым почерком, на каждой — штамп «Проверено» кагебешной цензуры. Адрес на всех один: Коми АССР, Усть-Уса, п/о Адзьва-Вом, лагпункт Адак. Открыток много, более двухсот, есть еще несколько закрытых писем, но затем ты не стала их посылать, справедливо рассудив, что, учитывая цензуру, открытые письма дойдут до меня скорее. Но и открытки вылеживались на проверке по нескольку месяцев.

Как я их ждал там, у Полярного круга, и в то время счастье получить от тебя весточку невольно заслоняло, скрывало от меня ту боль, ту материнскую муку, которая в полной мере открылась мне сейчас, когда я перечитываю их. Но тебя уже нет со мною...

Эти письма и открытки я сохранял в лагере, складывая их в мешочек из-под риса, который ты, мама, прислала мне в одной из посылок. Тогда ты все беспокоилась, и в нескольких открытках просила сообщить, дошел ли рис.

Перечитываю одно за другим твои письма в лагерь и все больше, все острее проникаюсь твоей болью, твоей мукой — не меня, тебя день за днем убивали все эти пять с лишним лет.

И смерть твоя от рака спустя всего два года, даже меньше, после моего освобождения — только от этого, такие мучения даром не проходят. Эта боль, мама, и сейчас со мной, и чем дальше, тем она сильнее. Боль и сознание вечной моей вины перед тобою.

Еще тогда, в тридцать седьмом, в первые тюремные дни на Лубянке, я то и дело возвращался к мысли о своей вине перед тобою, только перед тобою, страшился: как ты перенесешь известие о моем аресте. Хотя тогда я был уверен, что это какое-то недоразумение: разберутся и отпустят, боялся только за тебя — выдержишь ли, не перепугает ли тебя понапрасну такое известие. Но разбираться здесь, на Лубянке, никто и не думал — не то было время...

Ни о какой контрреволюции, тем более о терроре, в чем меня обвинял следователь, я ни сном ни духом не помышлял. Обвинения мне предъявлялись самые нелепые и вздорные. На собрании студентов нашего института две девицы, из тех, кого в институт приняли со сплошными тройками, учитывая их пролетарское происхождение, выступили с разоблачением студента параллельной группы Жени Махотина: он-де намеренно отказался помогать им, отстающим в учебе, сказал, что самим надо работать. А еще он согласен с клеветой побывавшего в Советском Союзе с визитом французского писателя Андре Жида. В своем интервью тот сказал, что наши молодые люди показались ему малоинтересными, мыслящими очень однообразно, а Махотин якобы заметил: «А мы такие и есть». Тогда я, обычно молчавший на таких собраниях, взял слово и сказал, что не следует свои личные обиды облекать в политическую форму. С Махотиным и его приятелями я никогда близок не был, вне института с ними не общался, а одного из них, Усовича, позднее объявленного следствием «вождем террористической группы» — недолюбливал (и он меня тоже). Остальные из этой компании были умные способные ребята, но у них был свой круг, к которому я не принадлежал. Их-то следствие и объявило террористической организацией.

Думаю, что уже в то время мы были под негласным надзором: находясь в тюрьме, я припомнил, что еще в феврале, когда хоронили неожиданно умершего Орджоникидзе, именно тех, кто потом был арестован, вдруг назначили дежурить по инсти-

туту. Все ушли организованно на Красную площадь, а мы, шесть человек, слонялись по опустевшему зданию, удивляясь, к чему это дежурство — такого раньше никогда не было. Не догадывались, что мы — под колпаком.

Скорее всего, именно попытка вступить за Махотина стала причиной моего ареста. К этому прегрешению следователь добавил еще два пункта. Во-первых, я говорил о голоде на Украине — но об этом тогда открыто говорили все: в тридцать втором и тридцать третьем годах Москву заполонили толпы этих несчастных с детьми, побивавшиеся на улицах. Тогда я по наивности считал, что в их бедах виновны местные власти, которые не помогли голодавшим, не догадывался, что голод был вызван поголовным изъятием хлеба у крестьян. Вторым моим прегрешением, вмененным в тяжкую вину, по формулировке следователя — «восхваление эсеровского террора как метода борьбы против советской власти» — было то, что прочтя книгу Бурцева «Как я разоблачил Азефа», я в каком-то разговоре выразил восхищение поступком Каляева: он не бросил бомбу в карету великого князя Сергея, потому что с ним в карете были жена и дети. Книга эта только что появилась в печати, а имя Каляева носила одна из московских улиц.

Уже в тюрьме, после допросов перебирая все это в уме, я казнил себя за все мои наивные слова, внушал себе, что не вступись я тогда за Махотина, умолчи я про голод, про Каляева — не было бы этого кошмара. Но одновременно я твердо знал, убежден был, что все сказанное мною — правда, что никакой контрреволюции у меня и в мыслях не было. Вся политика, да и Сталин с его властью, были мне далеки и неинтересны, я тогда был счастлив и всем доволен, учился в избранном институте, куда поступил, преодолев конкурс в девять человек на место, успешно заканчивал второй курс. И все это рухнуло в одночасье.

Удар для меня был страшный, предыдущей жизнью я не был к нему подготовлен. Вплоть до ареста я жил, не зная дурного, среди родных и товарищей по учению, сначала школьных, затем в Москве по рабфаку и позднее — институтских. Теперь, много лет спустя, я пытаюсь представить себе, каким я был тогда, до ареста. Прежде всего — достаточно наивным юнцом, доверчивым и доброжелательным, совершенно не отдававшим себе отчета, в какой стране он живет. Не то чтобы я совсем ничего не

видел вокруг себя, но слишком доброй, прикрывавшей меня от всяческих бед была домашняя обстановка, прежде всего — любовь и забота твоя, мама, и всей нашей семьи.

Тогда я не подозревал о существовании специально воспитанных властью для сыска и расправы людей — стукачей-осведомителей, провокаторов, следователей, судейских работников, да и к самой власти не испытывал недоверия — она была где-то далеко и меня вовсе не интересовала.

Таким я оказался во внутренней тюрьме на Лубянке. Здесь я, выросший среди людей добрых и благожелательных, увидел нечто совсем иное — нелюдей. И не только увидел — оказался в полной их власти.

Позднее в лагере мне довелось многое повидать, узнать сотни самых разных людей, были среди них воры, жулики, бандиты. Были и убийцы, вспоминаю троих. Первый из них, невысокий худенький младший лейтенант Сергей Захаров, впервые повстречался мне в пересыльной камере Бутырской тюрьмы. Убийство он совершил из ревности и срок свой получил по бытовой статье. Второй раз мы оказались рядом уже в лагере, на строительстве железной дороги Усть-Вым — Чибью (первая очередь дороги на Воркуту). Было это поздней осенью тридцать седьмого года, к этому времени, после нескольких месяцев непосильного труда по 12 часов в сутки, я превратился в полуживого доходягу. Сергей как «бытовик» был поставлен бригадиром, осужденные по 58-й статье на такие должности не допускались. Так вот, этот убийца по старой памяти попытался поддержать меня как мог: взял с земляных работ дневальным в свою бригаду. Однако это уже не могло меня спасти, вскоре меня комиссовали и увезли с трассы.

С другим убийцей, Алексеем Сапсаем, рецидивистом, просидевшим многие годы в разных лагерях, я крепко сдружился уже на Адаке, он стал одним из самых близких мне людей. От Сапсая я видел только хорошее, ко мне он был добр, пытался лечить меня от туберкулеза вареной собачиной, таскал мне в стационар передачи, нарываясь на кандалы с начальством за нежелательную дружбу с «контрой».

Был еще третий, встреченный в «собачнике» Лубянской тюрьмы арестованный за убийство из ревности грузин, человек

непосредственный и открытый. Меня, растерянного после ареста, он старался успокоить, ободрить.

Все они совершили преступления, и не малые, тяжкие, но это были все же люди, способные сопереживать, сочувствовать, им доступны были жалость, сострадание к чужому горю.

Здесь же, на Лубянке, я впервые увидел нелюдей — циничных, коварных, жестоких, до предела лживых, всеми помыслами нацеленных на одно: любым способом загубить переданных в их полное распоряжение, лишенных всякой защиты людей, сострять на них дела и заработать звания и чины на их мучениях. Для этого они готовы были терзать подсудимых на многочасовых допросах, избивать, ставить на стойки, пока не отекут ноги, добиваясь подписи под составленными ими лживыми протоколами. И такие изверги по единой методике действовали по всем городам и весям огромной страны.

Да, здесь, во внутренней тюрьме на Лубянке началось мое «перевоспитание», вернее сказать — прозрение, оно продолжилось в лагере, и к тебе, мама, я возвратился другим человеком — тот мальчик, которого восьмого февраля тридцать седьмого года ты после зимних каникул проводила в Москву и которого ждала все эти пять лет, уже не вернулся к тебе...

С тех пор прошло много лет, но когда я вспоминаю циничного мерзавца следователя, старшего лейтенанта НКВД Тительмана, сухонького ярко-рыжего человечка с холодными серыми глазами голодной крысы, меня душит гнев, жажда возмездия. Сожалею, что после лагеря не довелось с ним перевидаться, таким тварям нет прощения... Но все эти мучители, истязатели, а также их пособники — доносители, стукачи, были надежно укрыты от разоблачения всей силой властей, в том числе и «демократами», благополучно дожившими свой век заслуженными пенсионерами, иные еще и теперь живы.

Большой нравственной поддержкой в эти страшные дни на Лубянке, а затем в Бутырках, было сочувствие, доброе отношение сокамерников, моих товарищей по несчастью. Впервые в жизни я оказался среди совершенно незнакомых людей, в большинстве много старше меня, с большим жизненным опытом; среди них были участники революции и Гражданской войны, некоторые до ареста занимали высокие посты. Многим из них

следствие вменяло в вину тягчайшие преступления — шпионаж в пользу иностранных держав, подготовку покушений на жизнь членов Политбюро и особенно на Сталина. Ночами их держали на допросах, истязали, добываясь признаний. И все же в этой обстановке в следственных камерах сохранялся дух взаимной поддержки, товарищеского сочувствия — такое дорогого стоит.

Мы были полностью изолированы от внешнего мира, как во время следствия, так и после объявления приговора Особого совещания. Не допускались ни переписка, ни свидания с родными и близкими. Единственное, что было разрешено, — денежные переводы от родных. На эти деньги на строго ограниченную сумму можно было заказать в тюремном ларьке сигареты, мыло, кое-что из еды.

Первый денежный перевод я получил в Бутырках спустя месяц после ареста. Расписываясь на квитанции, я узнал твой почерк, мама, и понял, что ты в Москве, приехала из Чернигова, это была первая весточка от тебя. До этого я тревожился, зная, что у тебя неладно с сердцем, опасался за тебя. Я не сомневался, что ты, получив известие о моем аресте, бросишься в Москву; теперь ты была здесь, и еще больше угнетало меня чувство вины перед тобою: я понимал, какой это удар по нашим мечтам и надеждам. Ведь всю свою жизнь ты посвятила мне, мне одному, и всегда верила в наше счастливое будущее.

В это время я еще не мог представить себе тех издевательств, тех унижений, которым НКВД подвергало всех близких «врагов народа», — об этом я узнал, уже выйдя из лагеря.

Несчастные матери наши! Сколько часов, нет им счета, провели вы в приемных НКВД, пытаясь хоть что-либо узнать у непроницаемых чинов, сколько бессонных ночей терзались в страхе за нашу судьбу, сколько пережили, томясь неизвестностью...

Уже после освобождения я узнал от тебя, как в бесконечных очередях в энкаведешных приемных, пытаясь хоть что-то узнать о судьбе сыновей, вы, матери, доселе не знавшие друг друга, знакомились, сближались, делились своим горем...

Так подружилась ты с матерью моего однокурсника Коли Жижимонтова, с матерью студента нашего института Степуховича; старше меня на курс, он был арестован раньше, чем мы.

С Колей мы встретились в Бутырках при объявлении нам приговора Особого совещания; до этого я даже не знал, что он арестован. Вместе мы получили свои пять лет, пробыли целый месяц в пересыльной камере, вместе попали на этап в Воркутлаг. Только в Котласе нас разлучили. Впоследствии я узнал, что Коля попал в Ухту и смог работать по специальности, я же угодил в самый ад — на строительство железной дороги. Не знали мы тогда, что наши матери знакомы. Впоследствии они даже переписывались.

И я, и Коля выжили и дождались освобождения, а вот судьба Жени Махотина, как и я, единственного сына у матери, сложилась трагически: он попал на Колыму, там был расстрелян по обвинению в каком-то заговоре.

Передо мною, мама, твои открытки, их много, ты отправляла их по две, а то и по три в неделю, чтобы, упаси Боже, я не оставался без твоей поддержки, без твоей любви и заботы... Ты заботилась и о том, чтобы я мог тебе отвечать — часто к адресованной мне открытке была прикреплена вторая, чистая, с твоим черниговским адресом — все предусмотрела твоя любовь и забота.

Так случилось, что с младенческого возраста я оставался для тебя всем в жизни, не раз в наших беседах ты повторяла мне: «Ты — мое всё», — эти слова неизменно брали меня за душу, ведь я знал, что это истинно так.

Когда мне было всего девять месяцев, ты навсегда оставила моего отца, не в силах мириться с его изменами и капризами, покинула Москву и возвратилась в Чернигов в семью отца, моего деда. Эта семья, и только она, стала моей семьей, в ней я провел свои детские годы вплоть до окончания школы-семилетки, эти годы были самыми счастливыми, самыми светлыми и безоблачными в моей незадавшейся, переломанной жизни, и я неизменно вспоминаю их с любовью и благодарностью. Она была большая и дружная, сильная крепкими устоями и взаимной поддержкой.

Мама была старшей и единственной дочерью в семье, после нее рождались сыновья, мои дяди, всего их было шестеро. Деда я не помню, он умер, когда я был совсем малым ребенком, но мама, очень его любившая, свято чтит память о своем отце и много мне о нем рассказывала. Фотографии деда были в се-

мейном альбоме – увесистой книге с великолепными снимками на страницах с зеленым бархатным фоном. Как жаль, что этот альбом не сохранился – его пришлось оставить в сорок первом году при эвакуации, тогда удалось захватить с собой только самое необходимое.

Дед мой, Григорий Моисеевич Гинзбург, был человеком незаурядным. Старший сын разорившегося мелкого коммерсанта, он в шестнадцать лет после смерти отца, имея лишь начальное образование в еврейской школе, поступил на работу конторским мальчиком и стал опорой осиротевшей семьи – матери, братьев и сестер, всего их было, кажется, семь человек.

Постепенно полунищий конторский мальчик выбился в люди и стал богатым человеком, владельцем самого большого в городе кирпичного завода и пригородной усадьбы. Все тротуары Чернигова времен моего детства были вымощены великолепным красным кирпичом дедовского завода с вытисненной буквой «Г» – Гинзбург. Наверное, часть этого замощения и ныне сохранилась на черниговских улицах, скрытая под современным асфальтом.

По рассказам мамы, дед был человеком основательным, исключительно правдивым, больше всего не терпел людей необязательных, лгунов и хвастунов. Своим сыновьям он, человек малообразованный, стремился дать высшее образование и этого достиг, помог и тем из своих младших братьев, кто захотел учиться – двое из них стали докторами наук, пользовались покровительством Витте, основали журнал «Вестник винокурения».

Вспоминая отца, мама говорила, что хотя все ее братья, мои дяди, люди способные, умные, деятельные, тем не менее ни один из них по уму и спокойной деловитости не мог с ним сравняться.

Дед скончался вскоре после возвращения мамы в Чернигов, вслед за тем началась Гражданская война, на Украине она продлилась несколько лет и была еще более ожесточенной и губительной, чем в России. Власти то и дело менялись: красные, деникинцы, петлюровцы, махновцы... грабежи, расстрелы, погромы. Семья наша была разорена, дом деда разграблен и сожжен, один из маминых братьев расстрелян внезапно ворвавшимися в город деникинцами. Смертельно раненный, он

успел вбежать в дом и умер в моей комнате. Пожалуй, самое раннее воспоминание моего детства — мертвый человек, лежащий на полу, какие-то дядьки в папах срываю с окон шторы, нянька поспешно уносит меня на руках.

Гибель сына была большим горем для моей бабушки; сколько я ее помню, на ее платье, всегда темном, была приколотая овальная брошь с портретом деда и убитого сына. Эта брошь и сейчас сохранилась — память о моей умной и доброй бабушке.

После разорения наша большая семья ютилась в темной, довольно тесной квартире, которую снимали у частной владелицы. Время было трудное, голодное, но я, в то время единственный в семье ребенок, этого не чувствовал — всё лучшее давалось мне.

Только неукротимая энергия моего дяди, Марка Григорьевича, вернувшегося с фронтов Гражданской войны, а до того врача Сибирской дивизии в Мировую войну, позволила нашей семье вновь сплотиться. В годы НЭПа он стал главным врачом кожного диспансера, ему удалось взять в аренду большой дом, оставленный бежавшим с белой армией городским архитектором Афанасьевым. Дом этот и обширный сад при нем были разорены и запущены, но дядя мой, отличный хозяин, мастер на все руки, энергичный и трудолюбивый, в краткий срок восстановил его.

Здесь, в «Большом доме», как мы все его называли, прошли мои детство и юность, сюда, к своей матери, моей бабушке, каждое лето приезжали из Москвы и Горького мои дяди и тети, их жены.

Дом был большой и гостеприимный, хозяйствовали в нем бабушка и тетя Лёля — жена дяди. Семья была немалая: дядя с женой и двумя детьми, бабушка, мы с мамой. Основным кормильцем был, конечно, дядя. Помимо заведования диспансером он вел частную практику по своей специальности, он был лучшим врачом в городе. Благодаря ему мы жили в достатке, почти всегда за обеденным столом были гости — родные или друзья дома.

Мама работала на небольших должностях: библиотекарем, одно время в аптеке, позднее помощником бухгалтера. Ее отец, вполне в духе своего времени, заботясь о высшем образовании

сыновей, считал его совершенно необязательным для своей единственной дочери. Мама окончила гимназию, какое-то время училась на курсах в Киеве. Дед, человек весьма состоятельный, считал это вполне достаточным для девушки из богатой семьи.

Увы, мой мудрый дед не предусмотрел революции, и мама осталась человеком без специальности. Из всей нашей семьи интеллигентов в первом поколении мама была самым читающим человеком, именно она с малых лет привила мне любовь к книге. В домашнее хозяйство мама не стремилась вникать, я никак не припомню ее на кухне, где царили бабушка и тетя; мама посылно помогала им по дому. Зато помню ее по вечерам за штопкой моих носков, натянутых на специальное приспособление — «грибок», на пальце у мамы серебряный наперсток с чернением, я любил рассматривать причудливый рисунок на его поверхности.

Вспоминая свои детские годы, всё больше поражаюсь, как ровно, последовательно, с мягкой настойчивостью моя тихая, никогда не повышающая голоса мать растила меня, незаметно вкладывая в меня свою душу. Начиналось всё со сказок. Когда я был совсем еще маленьким, по вечерам перед сном, уложив меня в постель, она читала мне сказки.

Помню сказки Пушкина в прекрасном издании Кнебеля с иллюстрациями Билибина. «Крокодил» Чуковского я без всяких усилий запомнил наизусть. Но больше всего мне полюбился «Конек-Горбунок». Сказка эта длинная, богатая событиями, и мудрый сказочник Ершов, предвидя трудности для тещи (а сказки надо обязательно читать вслух), не раз прерывает повествование: «тут Иван пустился в путь — дайте, братцы, отдохнуть». Вспоминаю, как в этих местах ты, мама, утомясь от длительного чтения, пыталась передохнуть, а я, малыш, был уверен, что это ты сама придумала эти слова, и умолял тебя читать дальше. Ты пыталась убедить меня, что так напечатано в книге, но тогда я еще читать не умел и продолжал канючить. А потом пошли сказки Андерсена: «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Соловей».

Читать, а потом и писать, я выучился сам по газетам; буквам, конечно, обучила меня мама.

Еще до поступления в школу мама позаботилась о том, чтобы я учился иностранным языкам, сперва французскому,

а потом и немецкому. Такое было совсем не в духе того опрощенческого времени, но мама, несмотря на свои весьма ограниченные средства, считала знание языков необходимым и с затратами на это не считалась. Выросшая в губернском городе с традициями дворянской культуры, она и меня, своего единственного сына, невзирая на трудности, стремилась к этой культуре приобщить. Для этого она шла на многие ограничения в расходах. Не могу припомнить какие-либо заметные обновки в ее одежде, а вот меня она всегда стремилась одевать красиво, часто вопреки моему желанию.

Увы, ей так и не удалось привить мне вкус и умение хорошо одеваться, а после лагеря мое равнодушие к этой стороне жизни еще усилилось, таким я и остался. А вот за французский язык я по сей день тебе, мама, благодарен не только потому, что ты тогда смотрела дальше своего времени, — мне очень повезло с учителем.

Эмиль Иванович Вассёр (мосье Вассёр), у которого еще в дореволюционной гимназии учились мои дяди, был человек незаурядный, высококультурный. Уроженец города Лилля, он окончил юридический факультет университета, затем по французской традиции побывал в Италии, Германии. Не знаю, почему он осел в Чернигове, впрочем, могу предположить, что, женившись еще в молодости на немке, из-за этого не смог оставаться на родине — немцев там не жаловали. Жена его, Амалия Людвиговна, преподавала немецкий язык на дому, в том числе и нам — мне и моим двоюродным брату и сестре.

Ко мне Эмиль Иванович очень привязался; так получилось, что наряду с французским языком я прошел у него, считай, полный курс истории Франции, пользуясь книгами из его отличной библиотеки, их он выписывал из Франции, как и семена и луковицы тюльпанов для своего маленького, но удивительно красиво устроенного сада. Именно Эмилю Ивановичу я обязан интересом к истории и любви к французской литературе. А знание языка во многом помогло в студенческие годы при изучении истории искусств и пользовании *увражами** в отличной библиотеке архитектурного института.

* *Увраж* — художественное издание большого формата, часто состоящее из отдельных листов иллюстраций или гравюр.

И в дальнейшем в семье делалось всё, чтобы поощрять мою любовь к чтению. Для меня выписывали журналы «Всемирный следопыт» и «Вокруг света», я с нетерпением ожидал, когда придет очередной номер. Выписали и полное собрание Джека Лондона в 48 томах — книжки в мягких коричневых обложках с мелкими изображениями людей, вигвамов, собак — белым цветом. Лондона я полюбил на всю жизнь, особенно его северные рассказы. Впоследствии в лагере я их не раз вспоминал, и это во многом помогало одолевать трудности суровой северной природы.

В школе я учился легко и охотно, не доставляя маме забот и огорчений. Школа наша была единственной в городе, где преподавание велось на русском языке, все остальные были переведены на украинский язык — «ридну мову». Украинизация тогда проводилась жестко и неуклонно — всех взрослых, в том числе совсем немолодых, заставляли учить язык на курсах при учреждениях, учила и мама. Тяжелее других пришлось моему дяде-юристу — защитительные речи обязали произносить на украинском языке.

В нашей школе большинство преподавателей были бывшие учителя дореволюционной гимназии, их я вспоминаю с благодарностью, но были и монстры, например учитель обществоведения, бывший следователь Джеянач. На его уроках, разбитые на бригады, мы долбили, стараясь не перепутать, решения бесчисленных партийных съездов. Отвечал урок один «докладчик», оценка по его докладу ставилась на всех одна. К счастью, остальные учителя дружно игнорировали эту дурацкую систему.

Вспоминая школьные годы, невольно задумываюсь: а вправду ли было мое черниговское детство таким уж безоблачным, каким видится спустя долгие годы нелегкой жизни, не были ли уже тогда явлены мне если не знамения, то предупреждения, которым я не внял, не оценил... А были они, были...

Наша школа помещалась в здании бывшего духовного училища на окраине города напротив городской тюрьмы. Часто, почти каждый день, ворота тюрьмы открывались, выводили арестантов, с пожитками в руках они высыпали толпой, конвой окриками заставлял их строиться, затем их уводили на вокзал. Нам, детям, наблюдавшим это со школьного двора, ясно было, что людям этим очень плохо, что-то униженное, жалкое было

в их походке, в суетливых движениях. Большинство, судя по одежде, были деревенские. Однажды я увидел, как один из крестьян, нарушив строй, подошел к арестанту в одежде священнослужителя, склонился к нему и поцеловал руку, затем при окрике конвоира вернулся на свое место, колонна тронулась. Тогда я, тринадцатилетний мальчишка из неверующей семьи, со смешанным чувством жалости и уважения смотрел им вслед, не зная, что перед моими детскими глазами промелькнула моя судьба...

Уже шли тогда аресты, правда, не такие массовые, как потом, в тридцать седьмом. Арестовали и затем куда-то услали Федора Андреевича Буткова, отца моего одноклассника Сережи Буткова. В их семье я бывал часто. Сережа был единственный и, как и я, поздний сын. После ареста отца его было не узнать: живой, остроумный, первый озорник, он замкнулся, стал молчаливым, сдержанным. Вскоре они с матерью, Надеждой Константиновной, уехали в Киев к родным. Исчезла внезапно директор детской библиотеки Мария Николаевна Раевская, руководившая библиотечным кружком, — ее арестовали; мы, члены кружка, ее очень жалели. Ходили слухи, что к ее аресту приложил руку назначенный на ее место библиотекарь, плюгавый человек с неестественно ласковым голосом. Он пожелал продолжить работу кружка, но мы отказались — не лежала к нему душа.

Было и другое: почти во всех классах вместе с нами учились дети «лишенцев» — лишенных избирательных прав. Родители их были священниками, бывшими чиновниками, торговцами — «нэпманами». Этим детей не принимали в пионеры, всячески унижали, некоторых подбивали отречься от родителей. Против них, правда безуспешно, нас пыталась настроить комсорг школы, занудная сухопарая девица лет за двадцать пять, Соня, фамилию забыл. Она всячески старалась поссорить нас между собою, навязывая своих ставленников на выборах в ученический комитет; мы, дети, дружно ее ненавидели и свою ненависть открыто проявляли.

Дети-лишенцы были нашими товарищами, и никакие попытки отделить нас от них не удавались. Но всё равно им приходилось тяжело. В моем классе учились сыновья священников Миша Милейко и Гриша Бушко, с ними я дружил. В парал-

лельной группе учился старший брат Миши, Семен Милейко. Все в школе знали, что он отказался от отца. Хотя он с Мишей учился в одном классе, мы никогда не видели их вместе. Меня удивляло, как можно отказаться от собственного отца, и однажды я решился спросить Мишу – как он относится к Семену. К моему удивлению, Миша, тихий и вдумчивый, ответил: «Ему очень тяжело, мы все его любим, жалеем и молимся за него». И помолчав, добавил: «Я от отца никогда не откажусь».

И еще одно воспоминание – до глубины души потрясший меня рассказ дяди, защитника на показательном процессе, о поджоге колхозной конюшни.

Конюшня загорелась в день государственного праздника, почти все лошади погибли. В это время еще продолжалась коллективизация, шла борьба с кулачеством, а под эту категорию подводили тогда любого крестьянина, отказывавшегося вступать в колхоз. Было и прямое сопротивление, которое жестко подавлялось. Показательные суды проводились обычно на местах, и приговоры бывали самые жесткие, чаще всего – расстрел.

В поджоге обвинили двух молодых парней с соседнего хутора. Показания против них дали конюхи колхоза. Дядя мой, один из лучших адвокатов города, был назначен защитником и выехал на процесс с тяжелым, почти безнадежным настроением – обвинение располагало целой обоймой показаний.

В селе его поселили на квартире, и он стал расспрашивать хозяев. Выяснилось, что в ночь пожара всем колхозом учинили пьянку, в ней участвовали и конюхи, оставившие конюшню с зажженными фонарями «летучая мышь».

На процессе оба обвиняемые (помню фамилию одного – Свинтуховский) отрицали свою вину, говорили, что на следствии над ними издевались, часами держали босиком на морозе. Судья обрывал их, упрекая за клевету на следователей. Дяде моему все же удалось припереть к стенке «свидетелей», в своих показаниях они стали путаться, выяснилась их прямая заинтересованность в том, чтобы свалить вину на других. Председатель суда, латыш, хотя и отверг все попытки рассказать об издевательствах следователей, повел дело так, что приговор был какой-то по тем временам «мягкий»; однако дядя тревожился – прокурор собирался опротестовать приговор суда.

Вскоре я уехал учиться в Москву, не знаю, чем дело закончилось. Да, опрометчиво писал я в начале этой повести о безоблачном детстве — были облака, были... Но в юности всё для меня смягчала, даже скрывала, доброта твоя, мама, твоя и всей нашей семьи.

Возможно, при твоей привязанности ко мне я мог бы вырасти маменькиным сынком, если бы не мой дядя Марк Григорьевич, дядя Мотя. Он заменил мне отца и заботился обо мне ничуть не меньше, чем о собственных детях. Любитель природы, страстный охотник, он с ранних лет стал брать на охоту и меня. Я полюбил эти поездки с дядей и его друзьями, врачами Иваном Ивановичем Гребницким и Михаилом Макаровичем Васютинским. Обычно мы выезжали на телеге ранним утром, забирались на болото, лошадь с телегой оставляли у знакомых селян и целый день бродили по болотам. Охотники стреляли по дичи — уткам, бекасам, дупелям, я шагал за ними, радуясь каждому удачному выстрелу и переживая каждый промах и, помнится, никогда не уставал. Дядя приучил меня в этих походах терпеть жажду, не жаловаться, если устал. Но охотником я так и не сделался, слишком жалко было птиц, особенно когда добывали подранка. Еще больше, чем охоту, полюбил я походы за грибами. Спокойные тогда были времена, нас, мальчишек лет 11—13, свободно отпускали одних в лесные уголья Подусовку и Погорелки за 6—8 километров от города, возвращались мы с грибами только к вечеру, и никто из родных особенно не тревожился.

Впоследствии в лагере привычка к лесным походам сослужила мне добрую службу; я собирал при любой возможности грибы и ягоды, охотился с петлями на белых куропаток. Это помогало выжить в подчас нелегких условиях.

Мама долго не решалась отпускать меня на Десну, где на песчаных пляжах загорали и купались мои сверстники, но я отстоял это свое право, и уже лет в 11—12 свободно переплывал полноводную и чистую тогда Десну туда и обратно по нескольку раз в день, чем очень гордился.

В неполных четырнадцать лет я закончил семилетнюю школу. В это время по всей стране, кроме столичных городов, в ходе очередной реформы школ было упразднено десятилетнее

обучение, продолжать образование в Чернигове было негде. По возрасту меня в техникум не брали, целый год я оставался без дела в Чернигове и за это время изрядно обленился. Да и не знал я тогда, куда поступать учиться, определенных планов не было. С детских лет меня влекла к себе живая природа, одно время я подумывал о сельскохозяйственном учебном заведении, это маму страшило; как истая горожанка, она не мыслила свою жизнь в сельской местности.

Несмотря на то, что мы хорошо, дружно жили большой семьей, ты, мама, всегда мечтала когда-нибудь жить со мною собственным домом, этой мечтой проникся и я, поэтому легко оставил мысль о сельском хозяйстве. Еще я мечтал стать писателем, было это чисто по-детски: любовь к чтению и успехи на уроках литературы, где наш прекрасный преподаватель Михаил Гаврилович Баран-Бутович хвалил мои сочинения, внушили мне такие мечты. Чего не придумаешь в четырнадцать лет!

Всё за меня решали старшие — мама и дяди. Не знаю, кто именно из них договорился с моим отцом — я должен был ехать в Москву и жить у него.

Представляю теперь, как тяжело было тебе, мама, решиться отправить меня, почти ребенка, в чужой дом, где жила женщина, из-за которой ты уехала со мною из Москвы — бывшая балерина, капризная и строившая из себя барыню. Правда, в Москве жили двое моих дядей, твои братья. Своих детей у них не было, нас, племянников, они очень любили; на их надзор и заботу обо мне ты твердо надеялась. Только желание дать мне образование толкнуло тебя на этот шаг, я тоже с большой неохотой, со слезами расставался с тобой.

Отца я до этого почти не знал, впервые я встретился с ним, когда мне было восемь лет. Тогда у меня обнаружилось серьезное заболевание — деформация стопы левой ноги. Встревоженная, ты повезла меня на консультацию сначала в Киев, затем в Москву, к врачам-ортопедам. Тогда отец был очень внимателен ко мне, возил меня на выставку птиц, затем в Художественный театр на «Синюю птицу». От спектакля я был в восторге, даже теперь не могу припомнить, видел ли я когда-либо еще что-то столь прекрасное, сказочно-красивое на сцене театра. С тех пор прошло шесть лет, отец по-прежнему оставался для меня чужим и далеким. От тебя, мама, я знал, что он человек очень одарен-

ный, любитель и знаток театра, в разговорах со мною ты говорила о нем только хорошее.

Но дяди мои, особенно самый близкий мне дядя Мотя, человек прямой и открытый, никогда не прощали ему поведения с мамой; если я капризничал, приходилось слышать: «Ну, опять отцовские штучки». От мамы я знал, что очень похож на отца, в ее устах это звучало как нечто положительное, но зная от родных, что мама от него перенесла, я всегда боялся стать таким, как он, это прошло через всю мою жизнь.

Отец принял меня хорошо, но близости с ним у меня не возникло, возможно, в этом и моя вина: по давней привычке обращаться ко всем посторонним на «вы», я и к нему так обращался. Отца это обижало, он даже говорил об этом дяде, было, кажется, передано и маме. По их просьбе не без труда я перешел с ним на «ты». Но за все пять лет, которые я прожил в его квартире в жилом доме артистов театра Вахтангова в Большом Лёвшинском переулке, по-настоящему там не прижился. Своим я был только у дядей, особенно у Евгения Григорьевича, моего дяди Жени. Он и его жена, самая простая и добрая из моих теток, тетя Маруся, чудесные люди, общительные, гостеприимные, очень музыкальные, всегда были мне рады. С ними я отдыхал душою и много времени проводил в их комнате в коммунальной квартире у Никитских ворот.

Сперва я поступил в строительный техникум, но проучился там всего полгода — неожиданно весь первый курс за отсутствием средств отправили на год в отпуск, и я с радостью отправился в Чернигов; обратно в Москву мне возвращаться не хотелось. Мама, хотя и обрадовалась мне, но была непреклонна в своем стремлении дать мне образование.

Списавшись с моим дядей, преподававшим в Московском инженерно-строительном институте, она снова отправила меня в Москву; там дядя устроил меня на рабфак при институте. Рабфак я окончил с отличием. К тому времени я успел освоиться в Москве, даже полюбил ее, но родным городом для меня по-прежнему оставался Чернигов, каждая поездка туда на канукулы была для меня праздником, там, я знал, с нетерпением ждала меня мама.

Да и сам город, один из самых древних на Руси, с Соборной площадью, где стояли соборы XI и XII веков, с валом над Десной,

где обращенные дулами к реке стояли перед «Домом Мазепы» старинные пушки, был красив и уютен; он и сейчас иногда снится мне, правда, в снах он является мне иным, непохожим, сказочно-красивым, но, пока длится сон, знаю — я в Чернигове.

После окончания рабфака я решил поступать в архитектурный институт. Архитектором был мой отец, но это как раз совершенно не влияло на мой выбор. Решающее значение имела моя дружба с Мишей Кругловым, сыном архитектора Николая Андреевича Круглова, который был соавтором отца при постройке дома артистов театра Вахтангова, оба они получили здесь квартиры. Миша был очень талантлив, отлично рисовал. Он был года на полтора старше меня, с детства готовился пойти по стопам отца. По натуре это был лидер, своим увлечением он заразил не только меня: еще двое из нашей мальчишеской компании поступили в МАРХИ.

Отца в это время в Москве не было. Он работал на строительстве канала Москва-Волга главным инженером сталинской насосной станции. Попал он на эту стройку вовсе не по собственной воле. Опытный строитель и проектировщик, он с первых лет создания Госплана СССР работал там главным инженером строительной секции. Было это при Кржижановском, организаторе Госплана. Когда при Сталине во главе Госплана стал Куйбышев, отец ушел. «Не хотел работать с этим дураком», — объяснял он свое решение.

Новая работа главным инженером ВЦСПС его вполне устраивала, помимо ее он имел возможность проектировать жилые дома, театры. Но в это время закончилось строительство Беломорканала, задумал его и руководил стройкой выдающийся инженер-гидростроитель Жук, один из осужденных «инженеров-вредителей». За Беломорканал Жук был освобожден, награжден орденами и званиями, под его руководством был создан институт «Гидропроект».

Затевалась еще более грандиозная стройка — канал Москва-Волга, разумеется, силами заключенных, под эгидой НКВД. Жуку предложили назвать кандидатуры специалистов по руководству стройкой века. Среди других он назвал отца, его пригласили в НКВД, предложили перейти к ним. Отец поблагодарил, но отказался — работа в ВЦСПС его вполне устраивала. «Вы нас не поняли, — «мягко» возразили ему, — если вы не будете

вольнонаемным, можете очутиться у нас в другом качестве». Так отец оказался на Москанале, а потом на других стройках государственного ведомства.

Когда меня арестовали, отец попытался ходатайствовать перед своим непосредственным начальником, заместителем Ежова Берманом. Тот сперва выслушал, назначил, когда можно приходить справится, и когда отец снова пришел, буквально вышиб его из кабинета: «Как он посмел ходатайствовать за такого сына!» Позднее Берман был расстрелян — гады пожирали друг друга. Отец отделался начальственным нагоняем, но по окончании стройки, когда всех его подчиненных наградили орденами, его обошли — попомнили. Впрочем, он, кажется, не сильно огорчился. А вот отца Миши Круглова, человека далекого от политики, арестовали, и он погиб в лагере. Страшное было время...

И снова я возвращаюсь к тому, с чего начал это повествование — к открыткам, которые ты, мама, присылала мне в лагерь. Приступать к этому мне больно и страшно, слишком тяжела, неподъемно тяжела эта ноша — вина перед тобою. Но когда я буду писать об этом, пусть поддержит меня твоя любовь ко мне, которой проникнуты эти пожелтевшие от времени открытки, — будь со мною, как ты была все эти пять с лишним лет.

Я человек несобранный, и это за собой знаю. Не без внутреннего сопротивления разобрал я твои письма, разложил по годам и датам. И вот передо мной лежат они все: год тридцать восьмой — всего 4 открытки, за тридцать девятый — 84, сороковой — 80, сорок первый — 48 и, наконец, за сорок второй — 11 открыток.

За тридцать седьмой — ни одной... А ведь девять месяцев этого года были, наверное, самыми страшными, самыми мучительными для тебя. Со дня ареста — полная неизвестность о моей судьбе: пока я был в тюрьме, сперва на Лубянке, затем в Бутырках — ни свиданий, ни переписки. Даже после приговора Особого совещания я около месяца оставался в пересыльной камере Бутырской тюрьмы, но и тогда свиданий, чтобы хоть проститься с родными, не давали. И вывозили нас из Москвы 8 августа воровски, ночью загоняли в вагоны где-то на задворках, рядом стояли гебешники с собаками, псы, натягивая поводки, рвались к нам.

Писать тебе я смог только из лагеря, но ко мне твои письма не доходили, ни одного я не получил, да и посылки тоже. Ты их посылала, но лишь одна догнала уже зимой тридцать восьмого года, когда я, полуживой доходяга, находился в пересыльном бараке под Чибью. Ее едва не отняли у меня урки, этот случай я позднее описал в повести «Неукротимый Чекалин» — именно он, Семен Чекалин, бывший секретарь райкома комсомола из Рязани, отбил эту посылку для меня.

Из Чибью нас пешим этапом погнали на Печору, мы попали на лесозаготовки, там условия были немногим легче, чем на строительстве железной дороги, но труд был столь непосильным, отчаяние столь велико, что я понял — здесь не выжить и согласился на предложение Чекалина — к лету тридцать восьмого года мы готовились в побег.

Тогда я еще не подозревал, что мой постоянный кашель, кошмары по ночам (меня то знобило, то бросало в жар) — это признаки туберкулеза легких, заработанного на трассе. Только после сильнейшего кровохаркания я понял, что побег невозможен — меня срочно увезли в стационар на рудник Ыджит-Кырта; там я пролежал весну и часть лета. И спасибо судьбе за это кровохаркание — уже позднее я узнал, что Семен и двое других все-таки бежали, но неудачно. Их поймали и, разумеется, добавили срок. Случись такое со мной, я бы тебя не увидел, не дождалась бы ты меня. Теперь, спустя шестьдесят с лишним лет я мысленно клянусь себя за то, что тогда, в отчаянии решаясь на побег, то ли не подумал как надо о тебе, то ли наоборот, так рвался к тебе, не надеясь выжить в лагере... не помню уже...

После стационара меня, недолеченного, отправили этапом на Воркуту, туда срочно гнали всех осужденных Особым совещанием. Но до Воркуты я не доехал, на перевалочном пункте в Усть-Усе мне стало совсем плохо; осмотревший меня главный врач Управления доктор Нейман снял меня с этапа и, немного подлечив, направил в стационар на инвалидный лагпункт Адак. Только в Усть-Усе от доктора Неймана я узнал, что у меня туберкулез легких. До этого в стационаре о диагнозе мне не говорили, очевидно, жалели. Я вырос в семье врача, в роду у нас туберкулеза не бывало, но от старших я наслышался, что болезнь эта страшная, почти неизлечимая, и теперь пришел в отчаяние.

Уверениям Александра Алексеевича Неймана, что в моем возрасте это излечимо, я мало верил. К тому же об Адаке я долго до этого слышал только плохое.

Летом тридцать седьмого года туда на голое место начали свозить доходяг со всего Воркутпечлага; сперва поставили только палатки с нарами. Не было ни бани, ни пекарни, вместо хлеба были лепешки, их выпекали на кострах, прилепляя к стенкам котлов. Смертность была страшная, умирали от голода, холода, истощения — слухи об этом ходили по всему Воркутпечлагу.

Правда, доктор Нейман уверял меня, что теперь на Адаке все наладилось, люди живут в бараках, построены стационар, баня, хлебопекарня — так докладывал ему главный врач Адака доктор Лев. Но мне не верилось, на Адак я ехал в смятении.

Опасения мои подтвердились; хотя бараки, вернее полуземлянки, да и все службы действительно стояли на месте, условия были тяжелые: питание скудное — соленая треска, вся в червях, да тухлая капуста; в бараке, отведенном под стационар — высокая смертность, 10–12 человек ежедневно. Умирали в основном от пеллагры и туберкулеза, рядом с лагпунктом выросло огромное кладбище.

В стационар меня не положили. Таких как я доходяг тут бродили десятки. Обстановка была гнетущая: «вольный» начальник лагпункта Шатров пил беспробудно, главврач из заключенных Лев окружил себя гаремом, вместе с которым проедал те скудные средства, которые предназначались для поддержания больных и ослабленных инвалидов. На пищеблоке и в каптерке угнездилась свора уголовников. Казалось, надеяться было не на что. Осмотревшись, я даже попытался выбраться с Адака: на приеме у главврача добился, чтобы меня включили на этап, отправлявшийся на лагпункт Абезь, выше по реке Усе. Но из Абези нас вернули обратно: тамошний комендант, увидев, каких доходяг ему доставили, даже в зону нас не впустил.

Не знал я тогда, что мне суждено будет провести на Адаке почти четыре года, что здесь я обрету близких мне людей и главное — что наконец кончатся мои скитания и я смогу писать тебе, а ты мне.

На Адак я попал в конце июня тридцать восьмого года, сразу тебе написал, но первая открытка, полученная здесь,

помечена 18 октября. Всего за тридцать восьмой год пришли четыре открытки, добирались они невероятно долго, по два-три месяца — задерживала для просмотра кагешная цензура. Ты подолгу не имела от меня известий, затем приходили сразу несколько открыток, и это, как ты писала, было для тебя «великим счастьем и облегчением». Вслед за открытками уже в тридцать девятом году стали приходиться посылки и денежные переводы.

С этого времени твоя поддержка, твоя любовь и забота были со мною все годы, вплоть до выхода из лагеря в июне сорок второго года. Посылки не всегда доходили до меня, иные были разворованы. Не раз тебе приходилось с почты уносить их домой — менялся, конечно в сторону уменьшения, установленный вес. Деньги, поступающие по переводам, записывались на личный счет, с него выдавали на руки не более десяти рублей в месяц. Не раз в письмах я просил тебя не слать деньги, но ты продолжала их переводить.

Письма твои, мама, лежат передо мною. После лагеря я стал понемногу писать воспоминания о людях, с которыми сблизился в лагере, память о них я хотел, обязан был сохранить, но о тебе, самой для меня дорогой и любимой, писать не решался — слишком это было тяжело и больно, терзало сознание невольной вины перед тобою. И только теперь, когда силы мои на исходе, решаю на это.

Итак, тридцать восьмой год, первая открытка от 18-Х, ты всегда четко проставляла даты.

Дорогой родной мой, Витюша! Как живешь, чувствуешь себя, мой единственный бесконечно дорогой сынок. Единственное письмо от 6-VIII и телеграмму из Адзья-Вома (ближайшая от Адака почта) я получила и очень успокоилась, конечно относительно, т. к. смогу только успокоиться, когда увижу тебя и прижму к своему наболевшему сердцу. Теперь живу только надеждой и мыслью поехать к тебе. Если только возможно будет — ничто меня не остановит.

Далее в письме — о посылках, которые мама отправляла мне в разные места. Их я не получил, так как меня все время перегоняли с места на место.

Бедная моя мама! Ты все еще надеялась приехать ко мне... Ты не знала, а я-то знал, что из сотен людей, которые здесь со

мной, за все эти годы ни к одному не допустили родных и близких. Это твое письмо — первое, какое я сохранил. Наверное, были более ранние, но они не уцелели. В это время я лежал в стационаре и не надеялся выжить.

Следующее письмо от 25-Х-38 г.:

Ты, наверное знаешь из моих предыдущих писем, что я получила твою телеграмму от 23-Х и три открытки за август. Как ты, мой дорогой, чувствуешь себя? Отдала бы всю свою жизнь, чтобы хоть одним глазком увидеть тебя, моя детка. Скучаю безумно за тобою. Подай прошение о пересмотре своего дела, изложив, что знаешь. Если знаешь фамилию следователя, напиши тоже.

Мама моя! Слава Богу, что тогда, осенью тридцать восьмого года, ты не могла видеть меня, полуживого доходягу на верхних нарах в душном больничном бараке, набитом смертельно больными, истощенными людьми. Что касается прошения о пересмотре дела, то это бесполезно, сюда всё лето одна за одной идут на Воркуту баржи с новыми осужденными. Какой уж тут пересмотр, машина репрессий запущена на полную катушку.

Открытка от 22-ХI-38 г.:

Витинька, дорогой мой! В день рождения хочу хоть мысленно побеседовать с тобой. Сегодняшний день меня не перестают одолевать всякие мысли о тебе, мой дорогой и любимый сынок. Вспоминаю все мелочи с начала появления твоего на свет. Много ты мне дал в жизни радости и счастья, правда в последнее время у меня немало и горести, но я не теряю надежды и убеждена, что ты принесешь мне еще в жизни много радости и удовольствия. Желаю тебе, мой бесконечно любимый, здоровья и сил. Крепись, бодрись и надейся, что всё еще будет хорошо. Ты еще так молод, что имеешь право мечтать о многом хорошем... Время не стоит и надеюсь, что оно быстро промчится, и ты опять будешь учиться и будешь не одинок.

Мама, я выписываю эти строки, и невольные слезы душат меня: сколько ты из-за меня перенесла, как ты ждала, надеясь, верила в мое будущее, когда я уже ни на что не надеялся, только всей душой рвался к тебе...

И последнее письмо этого страшного года от 24-ХІІ-38 г.:

...Не знаю, право, с чего начать тебе это письмо, т. к. пишу тебе очень часто, а от тебя ничего не получаю, не знаю, получаешь ли мои письма, телеграммы, посылки, которые переслала в Адак четыре. Послала бы тебе гораздо больше, но нет уверенности, что ты на старом месте, а потому посылаю тебе на авось. Последнее твое письмо было от 6-VІІІ, а телеграмму я получила 30 сентября.

И снова призыв крепиться, бодриться. В это время я все еще лежу в стационаре. Письма мои, как и мамины, по месяцам задерживаются в цензуре, июльские и августовские даже в конце года не дошли... какая это пытка для тебя — и так будет все следующие годы...

И все-таки какое счастье, что я наконец осел на Адаке, с моей болезнью отсюда вряд ли возьмут на этап. Твои письма, хотя и с задержкой на месяцы, доходят ко мне, также и мои.

Следующая пачка открыток за тридцать девятый год — всего 84 открытки.

Как и ты, я получаю их нерегулярно, все так же задерживает цензура, да и природные условия влияют. Дважды в год, весной и осенью, лагпункт Адак, расположенный в 70 километрах южнее Полярного круга, отрезан от внешнего мира. Всё сообщение здесь по реке Усе — летом пароходы, зимой автомашины по льду.

Письмо от 13-I-39 г.:

Пишу, телеграфирую тебе, а от тебя ни звука. Как живешь, мой родной? Очень тоскую и скучаю за тобой и живу только мыслью увидеть тебя, мой единственный дорогой сынок. Вчера получила посылку, возвращенную из Ыджит-Кырты 27-VІІ. Очень обидно, что мои посылки из-за перемены мест не доходят к тебе. В Адак успела послать в сентябре две посылки и в декабре две, а теперь не принимают.

В это время я лежу в стационаре, мне становится все хуже, и доктор Нейман идет на риск — в беседе со мной он признает, что стационарное лечение не помогает, и предлагает выписать меня в лесную бригаду на легкую работу — уборку и сжигание

сучьев. При этом он обещал поддержать меня дополнительным питанием.

Так я с другим легочником, молодым горьковчанином Колей Софроновым, оказался в бригаде лесорубов. Поначалу было тяжело, однако труд на свежем воздухе пошел на пользу, мы постепенно стали поправляться. Впоследствии доктор Нейман признался мне, что отправляя меня в лес, почти не надеялся и тогда давал мне месяц жизни.

На лесозаготовке я задержался надолго, сперва сжигали сучья, затем сдружившийся со мной лучший на лагпункте лесоруб Данила Зюкин взял меня напарником на заготовку дров. Так я начал обживаться, привыкать к оседлой лагерной жизни, ведь до этого меня постоянно перегоняли с места на место. Здесь я обрел друзей, доброе отношение которых помогло преодолеть мое до того времени мучительное одиночество. Разумеется, в своих письмах к тебе я ни единым словом не упомянул о своей болезни.

Возвращаюсь к маминим письмам.

От 12-II-39 г.:

Ничего подробно о тебе не знаю, кроме единственной открытки из Адзьва-Вома. Жду на основании твоей телеграммы от тебя вестей.

От 18-II-39 г.:

Витюша, мой дорогой! Из моих многочисленных писем ты знаешь, что получила твою телеграмму 27-I. Мою радость и счастье я не могу передать. Жду с нетерпением письмо, и так безумно хочется знать, мой дорогой и любимый мальчик, более подробно о твоём здоровье, самочувствии. Хочу безумно тебя видеть и мечтаю о поездке к тебе. Хлопочи о свидании — ни перед чем не остановлюсь и приеду к тебе. Во всяком случае, надеюсь увидеть тебя скоро.

От 2-III-39 г.:

...получила недавно открытку от 15-XI, которой безумно обрадовалась... Ты ничего не пишешь о своём здоровье и само-

чувствии. Подала прошение о пересмотре твоего дела. Если ты находишь целесообразным, хлопочи сам.

Мама, ведь и тут ты что-то сердцем угадываешь. Нет, не нахожу целесообразным, отсюда мне виднее, чем тебе. Какой уж тут пересмотр, прошло то время, когда я на Лубянке и в Бутырках писал жалобы и прошения на имя Ежова и Вышинского, не хочу унижаться, взывая к этим гадам. Все это тщетно, но ведь тебе такое не напишешь...

И снова твоя открытка от 12-IV-39 г.:

Получила твою телеграмму... Толкаю время и живу только одной мыслью увидеть тебя бодрым, здоровым. Меня тронули твои открытки за декабрь (последние) и влили в мою наболевшую душу столько надежды и счастья. Я знаю, что ты у меня всегда был исключительным сыном и уверена, что суровая жизнь не изменила тебя в этом отношении, а наоборот научила понимать, разбираться в людях и человеческих отношениях.

Да, многому научила меня суровая жизнь, ведь до ареста я и представить себе не мог, что есть на свете стукачи, наживающиеся на чужом горе. А ведь они были среди студентов, есть они и здесь, в лагере, очень опасные, их я научился распознавать и остерегаться. И, Боже мой, какой уж я исключительный сын, если приношу тебе одни страдания!

Открытка от 25-V-39 г.:

Сегодня по возвращении с работы ждала меня большая радость — сразу получила твои 4 открытки от 8-I, 18-I, 29-I и 12-II, правда, они уже написаны давно, но одно то, что я увидела твой почерк и дорогие мне строки, привело меня в восторг. Ведь так давно не имела от тебя весточек.

Бедная мама! Вот наконец сообразовала цензура пропустить мои открытки... и ты в восторге. А я здесь корчусь от стыда, что ты из-за меня страдаешь...

Открытка от 6-VII-39 г.:

...я получила наконец два закрытых письма от 16-IV и 23-IV, которые меня очень обрадовали и немного успокоили. 3-VII

выслала тебе посылку и вчера телеграфно 50 рублей и несколько книжек (доклады наших вождей на XVII съезде), ты их наверное, будешь с удовольствием читать.

Господи Боже мой! Мама, дорогая, счастье, что я не получил речи этих гадов, как не получил многое из того, что ты мне посылала (например сапоги, шапку). Скорее всего, эту посылку присвоил кто-нибудь из лагерных чинов, а доклады и речи вождей сочли слишком благородным чтивом для врага народа.

Открытка от 13-VII-39 г.:

Последние дни доставили мне много радости — получила телеграмму твою от 10-VI (!!!), а сегодня открытку от 11-VI — это в первый раз за все время, что так быстро дошло письмо и телеграмма.

И снова просьба хлопотать о пересмотре дел.

Открытка от 9-VIII-39 г.:

Вчера был у меня счастливый день: сразу получила три твои открытки от 17-VI, 24-VI и 6-VII — видно цензура смилостивилась, изволила проверить.

И вот затем уже от 24-VIII-39 г.:

Что это ты умолк, мой сынок, очень волнуюсь и беспокоюсь, не получая от тебя так долго писем. Последняя твоя открытка была от 6 июля — снова цензура!

Наученный горьким опытом, я стал наряду с открытками посылать телеграммы. Естественно, я привожу выдержки не из всех открыток, мама отправляла их не реже двух в неделю, иногда повторяя написанное и даже извиняясь за это, — как мне больно теперь читать эти строчки!

Открытка от 20-IX-39 г.:

Вчера, выходя со службы, увидела стоявшую у дверей бабушку с сияющим лицом и конечно поняла, что от тебя получилась весточка и не ошиблась, в руках у бабушки была твоя телеграмма, моему счастью не было предела.

Мама, бабушка! Тяжело мне читать эти строчки... сияющее лицо... счастье, которому нет предела, — нет мне прощения за ваше горе!

От 19-Х-39 г.:

Большой радостью для меня было получение сразу трех открыток от 9-VIII, 16-VIII и 28-VIII. Хлопочи о пересмотре твоего дела, на мои просьбы ответа пока не имею. Неужели при твоих данных ты не можешь получить другую работу...

Мама, дорогая моя, ты не представляешь себе, какие люди, не чета мне, недоучившемуся студенту, маются здесь на общих работах; среди них инженеры, крупные специалисты — для конторы другой работы нет и не положено. В прошлом году здесь, на Адаке, от голодного истощения умер Баранов, главный конструктор моторной части самолета-гиганта «Максим Горький» — гордости советской авиации, мужчина богатырского сложения. Такие силачи нередко погибали раньше других.

Еще из открытки:

Безумно хочется тебя повидать, увидеть какой ты стал и, наверное, изменился. Ведь я тебя последний раз видела совсем еще мальчиком, а теперь ты, наверное, уже взрослый мужчина, переживший и переживавший много. Пиши мне только правду, как твое здоровье, не хворает ли? Я рисую тебя в своем воображении очень изменившимся и похудевшим...

Еще выписываю:

Твои письма читаю и перечитываю, каждое твое слово, каждая твоя строчка моя единственная радость в жизни. Прошу тебя сделать всё возможное с твоей стороны, чтобы я могла поехать к тебе, и пиши, что мне следует предпринять для получения разрешения.

Мама, что я мог тебе тогда ответить? Здесь никому свиданий не дают, это нам всем известно, но ведь не напишешь — такое письмо тебе наверняка не вручат.

И наконец, открытка от 20-ХІІ-39 г.:

Днем получила твою открытку июльскую (это в декабре!) после твоего возвращения из леса, в которой пишешь, что все нашли, что ты великолепно выглядишь, а по возвращении вечером застала твою телеграмму от 19-ХІІ и сознание, что 2 часа назад ты телеграфировал и был здоров, привело меня в неописуемый восторг.

Мама, мама! Каково мне читать об этом «восторге»... самое страшное для меня — ведь правдивая всегда и во всем, ты действительно так чувствуешь... и в этом моя вина... «восторг неопиcуемый» от единой весточки — то ли должен был я дать тебе в жизни!

Вот и прочтена стопка твоих открыток за 39-й год, тяжелым был он для нас, но переломным — как-никак, закончилась половина срока и после полугодового перерыва мы можем писать друг другу. Хотя цензура по-прежнему задерживает письма на два месяца, а то и больше, все же они доходят, и это для нас великое счастье.

И еще, о чем тебе нельзя написать — я как будто одолел болезнь, и хотя до полного выздоровления далеко, теперь надеюсь дотянуть до конца срока и быть с тобою. Но сколько надо еще ждать...

И еще — здесь я, наконец, не один, у меня есть друзья, с которыми я делюсь самым сокровенным. Вначале это Макс Сорокин, до ареста студент Московского авиационного института. Макс почти мой ровесник, года на полтора старше — для меня это очень важно, остальные здесь много старше. Арестован он еще в тридцать шестом году чуть ли не за толстовство, срок у него по здешним понятиям «детский» — 3 года, в тридцать седьмом таких уже не давали — 5 лет минимум. Уже этой осенью Макс должен освободиться. В лагере он, как и я, «перевоспитался» — ненавидит этот строй.

Из дружбы с Максом я добился зачисления в бригаду, которую направляют на все лето в лес. Работа там нелегкая — лесоповал, нас заедают комары и гнус, никаких химических средств защиты нет, спасают накомарники. Ночуем в самодельных

шатрах — на гнутые прутья из лозняка натягиваем материю, ныряем в такой шалаш, заранее разведя перед входом костер из гнилушек. Иначе нельзя — загрызут.

Тяжело, но все же здесь нам хорошо: нет опостылевшей зоны, да и питание лучше, варим сами для себя из выданного сухого пайка, здесь нас никто не обворовывает, все наше.

Вернулся я из леса окрепшим, почти здоровым на удивление тем, кто отговаривал меня от перехода в лесную бригаду. Об этом и писал тебе, мама.

Макс вскоре освободился, но прощаясь с ним, я знал, что не останусь одинок, меня давно звал к себе на кирпичный завод его начальник Илья Любарский. Его одним из первых осужденных по 58-й статье поставил на этот пост новый начальник лагпункта Раммо. Не припомню, как уж Илья высмотрел меня в толпе адакских доходяг, но мы сразу потянулись друг к другу и крепко сдружились.

Илья, Ильяша, старше меня на четыре года, он из Харькова, физик, работал в лаборатории Гамова. Сидит он с 36-го года. Илья красив, энергичен, свое назначение начальником он, в отличие от многих здешних «придурков», рассматривал не как средство карьеры, самосохранения в лагерных условиях, но как предоставленную ему судьбою (вернее, начальником Раммо) возможность сохранить людей, помочь им выжить. И это ему удалось.

Завод расположен в двух с половиной километрах от лагпункта в распадке на берегу Усы, здесь нет зоны, для нас, зеков, это великое благо. Нет здесь и ВОХРа, эту функцию выполняет один-единственный стрелок, немолодой семейный Александр Иванович Янгаев, спокойный и терпимый.

Народ на заводе, особенно бригадиров, Илья подбирал сам; в отличие от обычных карьеристов это порядочные люди, крепкая ему поддержка. Даже повар здесь нетиповой — чудесный человек Федор Константинович Шадричев, до ареста директор кондитерской фабрики в Ярославле. Сменив нескольких поваров, Илья уговорил его, лучшего здесь мастера-формовщика, принять пищеблок, и питаемся мы много лучше, чем в зоне.

Дружба с Ильей стала для меня огромной поддержкой: мы оказались близкими по возрасту, по воспитанию и по воззрениям на жизнь, на отношение к людям. Как и мои родные, его семья

очень переживала за его судьбу. Судя по письмам, она своими теплыми взаимоотношениями была схожа с нашей семьей.

По отношению ко мне Илья вел себя как заботливый старший брат, с ним мы делились всеми горестями и радостями. Так было почти два года, вплоть до его освобождения со снятием судимости — единственный известный мне случай.

На кирпичном заводе я прошел почти все стадии производства: работал формовщиком на станке-хлопуше, садчиком на обжиге, истопником при сушилке — словом, пошел по стопам деда, только в условиях социализма.

Очевидно, с падением Ежова на воле появились какие-то надежды на изменения в нашей судьбе — теперь Илью, как и меня, родные в письмах стали всячески обнадеживать в части пересмотра наших дел.

В это время в Харьков возвратился человек, за знакомство с которым был арестован Илья. На следствии Илья отказался давать против него показания, за это и был осужден Особым совещанием. Каким-то чудом органы до этого человека не добрались, он продолжал работать где-то на Дальнем Востоке. Узнав о судьбе Ильи, он подал заявление на имя Берии с просьбой разобраться. Отец Ильи, главный арбитр Украины, добился приема у Берии, тот сказал, что это безобразие и Илья будет освобожден в ближайшее время. Тем не менее, разбирательство затянулось чуть ли не на год, очевидно, в недрах НКВД было мощное сопротивление.

Первые письма из дома типа «Илюша, дорогой, вскоре ждем домой, письма больше не пишем, посылки не шлем» сменились другими: «Илюша, дорогой, дело затягивается, не теряй надежды, жди». Илья извелся, сожалел, что начали эту историю. Нередко он звал меня к себе в избушку, и мы грустили вдвоем. И все-таки он освободился со снятием судимости, отсидев почти четыре года. В это время и ты, мама, тревожилась, надеялась, но как оказалось, напрасно...

И вот передо мною новая стопка открыток, теперь за сороковой год, их много — восемьдесят, по-прежнему мама мне пишет дважды в неделю, по-прежнему их задерживает цензура, иногда только телеграммы дают ей знать, что я жив и получаю письма и посылки. И в каждой открытке забота и тревога о моем здоровье, слова ободрения. Всё более учащаются

просьбы: «Хлопочу о пересмотре твоего дела, но прошу и тебя послать ходатайство».

Никак не могу припомнить, посылал ли я такое ходатайство, скорее всего, посылал, но в успех не верил. Какой уж тут пересмотр, когда все лето с начала навигации по Усе днем и ночью ползут баржи с заключенными: к нам на север везут этапы из «освобожденных народов» — прибалты, украинцы, поляки. Но отсюда об этом не напишешь...

Открытка от 3-I-40 г.:

Витюша, дорогой, родной мой! Всё жду твоих писем после долгого перерыва, но их пока нет. Правда, получила в последнее время много открыток, но все от августа, июля, сентября (это в январе!!!). Телеграмма от 19-XII дошла, представь себе за два часа, знать, что несколько часов назад ты был жив, здоров — это предел моих мечтаний. Надеюсь, мой сынок, что этот год принесет нам много хорошего.

От 6-I-40 г.:

Вчера утром получила от тебя телеграмму как будто от 3-I. Эта телеграмма явилась для меня неожиданной, так как я уже получила одну от 19-XII. Каждая телеграмма, каждое твое слово приносит мне столько радости и счастья, переносит меня в иной мир, в мир счастья и удовольствия.

Мама, мама, такое ли счастье должен я тебе приносить... больно читать эти строчки, как ты мучаешься из-за меня.

И далее из этой же открытки:

...родной мой, живу только одной мыслью, одной надеждой скоро увидеть тебя и прижать к своему сердцу.

И я, мама, этим живу, но не надеюсь на скорую встречу, а до конца срока больше двух лет.

От 11-I-40 г.: — закрытое письмо:

Пишу тебе на дежурстве в своем учреждении, где дежурю до 10 часов вечера, а теперь уже девять. Все мои мысли наполнены тобою — все думаю, мечтаю, когда наконец тебя увижу. Ведь 8-II уже три года мы не виделись, а кажется, что уже це-

лый век, и не удивительно, так как каждая пережитая минута безумно тяжела. Ведь не случись нашего несчастья, я бы тебя ждала на зимние каникулы, а теперь приходится довольствоваться одними воспоминаниями. ...Я тебе уже писала, что получила из Секретариата НКВД сообщение, что твое дело находится теперь на рассмотрении. Витюша, очень может быть, что раньше, чем ты получишь это письмо, твоя судьба будет решена. Одно меня волнует и беспокоит, что ты, как молодой и горячий, не взвесив всех возможностей, бросишься отсюда. Умоляю тебя, будь благоразумен и не спеши, если будет холодно и это совпадет с распутицей, лучше пережди это время, а потом без угрозы для жизни выберешься.

Не сбылось это, мама, не сбылось, ждать пришлось еще почти два с половиной года...

Открытка от 14-I-40 г.:

Твои последние письма были от сентября. Только из телеграмм знаю, что ты жив и здоров.

В это время вместе со скульптором Володей Щастным мне удалось наладить при кирпичном заводе мастерскую декоративной керамики: изготавливаем декоративные вазы, которые расписываем по черному лаковому фону, и забавные свистульки в виде зверюшек. Продукция имеет спрос, работа спокойная, в тепле. Мы выбрали и обучили мастеров-исполнителей — еще несколько инвалидов избавлены от необходимости сидеть на шестисотграммовой пайке.

Впервые я в письме прошу прислать кисти, олифу и какие-нибудь книги по керамике. Книги эти ты, мама, прислала: «Искусство Палеха» Бакушинского и «Историю фаянса» Габбе. Они мне очень помогли в работе, теперь я храню эти книги как память о тебе, их касались твои заботливые руки.

Открытка от 14-I-40 г.:

Очень рада, что доставила тебе удовольствие своим снимком (я его давно просил прислать). Правда, я давно собиралась сняться и, снимаясь, меня озаряла мысль о тебе, мой единственный, дорогой, а потому думаю, снимок вышел сносный. Ты прав, что внешний вид не всегда выдает тяжелые пережи-

вания. Правда, не хвастаясь скажу, что я герой и стойко переносу выпавшее на мою долю...

И снова слова утешения, ободрения, за все время ни единой жалобы, ни единого упрека... Но я-то не могу себе простить твоих мучений.

От 8-IV-40 г.:

Вчера получила твою телеграмму, которая дошла с необычайной быстротой. Сознание, что в этот же день ты был жив и здоров, доставило мне много радости. Вот одно не понимаю, какие ты получаешь посылки — ведь из пяти посылок 40-го года я уже обратно получила четыре, ты наверное получаешь сентябрьские посылки. До сих пор не знаю, получил ли ты сапоги.

Новые шуточки лагерной администрации, ведь с лета 38-го года я не покидал Адак, а посылки вернули. Если бы не телеграммы, ты, мама, могла бы подумать, что меня снова куда-то погнали и прервется наша переписка. А сапоги... я их так и не получил, да и тебе эту посылку не вернули. Бог с ними, с сапогами этими, жаль тебя и твоих напрасных трудов.

От 6-V-40 г.:

Соскучилась безумно за твоими письмами, а довольствуюсь лишь изредка телеграммами. Ведь со 2-Х никаких писем от тебя не получаю. Креплюсь и держу себя в руках.

Опять цензура — ведь я пишу тебе регулярно... Мучители, гады, как они тебя терзали...

От 24-V-40 г.:

Так соскучилась и стосковалась по тебе, мой дорогой сынок, что временами нет уже сил переносить разлуку... верю, что мы скоро увидимся, а потому, может быть, тяжело так последнее время. Вот уже восемь месяцев (!!!), как не получаю от тебя писем. Счастлива, что получаю телеграммы.

Все те же игры цензуры! И дальше всё так же — в июне наконец ты пишешь, что получила мои открытки: сперва от

22 ноября и 18 февраля, затем от 5 декабря... А ведь я писал много чаще — выбросили что ли, чтобы не проверять?

От 25-VII-40 г.:

...Жду все ответ относительно твоего дела. Теперь назначили на 10 сентября, но я теперь не верю в это... Все время не хотелось беспокоить своей просьбой тов. Сталина, но в конце концов, я решила послать просьбу и надеюсь, что единственный человек, который поймет мое горе — это тов. Сталин.

Мама, мама, как же тебя истерзали, измучили, что ты после всего их вранья, уже утратив надежду, обращаешься к этой гадине, палачу. Больно за тебя, за твое унижение... или неведение. Здесь-то мы теперь многое понимаем, на многое раскрылись наши глаза — недаром в узком, очень узком круге шепотом расшифровывается: СССР — Смерть Сталина Спасет Россию и ВКПб — Всеобщее Крепостное Право Большевиков. В случае доноса за это — новый срок, а то и вышка.

Так тянется время, но теперь мне полегче, я и без посылок не голодаю, хватает лагерного пайка, к тому же мы с моим другом Сапсаем охотничаем — ловим петлями белых куропаток. Кроме того, за зубные коронки, изготавливаемые Сапсаем, получаем от заказчиков треску и оленину. Но и теперь мама, несмотря на мои просьбы не возиться с посылками, продолжает их посылать.

От 4-VIII-40 г.:

Я уже тебе писала, что получила за последнее время три закрытых письма и несколько открыток. Живу и дышу ими. Послала тебе за это лето только три посылки и собираюсь выслать еще. В силу обстоятельств (*очевидно, продовольственные трудности, связанные с финской войной*) посылаю тебе так мало. То, что ты пишешь, куда тебе ехать, то я об этом и думать не хочу, т. к. верю в справедливость и убеждена, что ты возвратишься гораздо раньше и будешь в Москве продолжать свою учебу. Будь, мой сынок, таким же бодрым и благоразумным и береги себя ради меня, ведь ты мое единственное счастье, моя единственная цель и смысл жизни, я только живу мыслью о тебе, о твоем скором возвращении.

Мама, милая, дорогая мама моя! Какой уж я бодрый и благо-разумный... и не сберег я себя ради тебя... Ты веришь в справедливость, я же не верю и, к сожалению, знаю, что здесь прав я.

Следующие несколько открыток приходят из Москвы — не дождавшись обещанного решения моего дела ни в сентябре, ни в октябре, мама сама едет хлопотать о пересмотре дела. Там ее снова обнадеживают, у них это отработано: запрос послан в Военный трибунал, ведь в тридцать седьмом году меня сперва судили там, но вернули дело на доследование, получил же я свои пять лет по решению Особого совещания (разделение труда?) Я-то ни на что не надеюсь: здесь рядом со мною сидят сотни ни в чем не повинных людей, никого из них до окончания срока не выпускают — чем я лучше?

И вот кончается сороковой год, начинается сорок первый. Большинство на Адаке — это осужденные Особым совещанием в тридцать шестом году, срок у всех — 5 лет. За плечами у них голод, холод, непосильный труд, у многих еще и травмы на шахтах Воркуты, на лесоповале. Всё они вынесли, выдержали. Теперь их начинают освобождать.

Прошаюсь с ними, тяжело расставаться, ведь вместе прожили эти годы, сдружились, сблизились.

Уезжает Вениамин Флегонтович Романов, комиссар армии, бывшей Перекоп, там же тяжело раненный, умница и эрудит. Уезжает мой учитель по лесному делу Данила Зюкин, сотоварищ по керамической мастерской Володя Щастный, доктор Нейман — всё это близкие мне люди, о них позднее будут мои повести, рассказы.

Разрешают наконец вернуться в Ленинград вольнонаемному начальнику лагпункта Раммо, так много сделавшему для заключенных Адака — сюда его, бывшего начальника райотдела милиции Ленинграда, послали после убийства Кирова. Я рад за них, но одновременно становится тяжело на душе — ведь мне сидеть еще больше года...

И всё идут ко мне твои, мама, письма.

Перечитываю открытки за сорок первый год — эта пачка много тоньше, и не потому, что ты мне реже писала, — вмешалась война.

Итак, первая открытка от 2-I-41 г.:

Дорогой мой, родной Витюша! Вот уже сорок первый год, хотелось бы знать, что он нам принесет. Во всяком случае, рада, что приближается наше свидание.

Тут же закрытое письмо, тоже от 2-I-41, сверху приписка — одновременно пишу открытку. Дальше текст самого письма:

Вчерашний день явился для меня большим праздником — получила твое закрытое письмо от 22-XI. Ведь последнее твое письмо было от 2-VIII и кроме телеграмм я больше о тебе не знала... Как мы, Витюша, одинаково переживаем — теперь мне тянется страшно медленно время и как ни стараюсь гнать его — все еще много времени до твоего приезда. При встрече Нового года у меня была одна мысль: как бы хорошо было проспать 1941 год и проснуться только в сорок втором.

Снова цензура — очевидно часть писем, да какая там часть — все мои письма за август, сентябрь, октябрь к тебе не дошли, скорее всего, уничтожены — как тебя они терзают, мрази эти...

От 12-I-41 г.:

Получила твое закрытое письмо от 22-XI (*это мой день рождения*). Оно принесло мне столько радости, счастья и еще раз убедило, что не даром живу, и в будущем меня ждут твои заботы, внимание и любовь, в которые я так верю. Одно меня огорчает, что на почте мне объявили, что прием посылок запрещен до 1 июня. Эта весть меня буквально убила.

Мама, как я тогда, подобно тебе, верил и мечтал, что вернусь к тебе, и сколько моих сил хватит, своей любовью и заботой хоть в малой степени отплату за все твои страдания. Не сбылось это, не суждено было тебе дожить.

От 19-I-41 г.:

...Каждое сообщенное тобою слово о тебе дает мне силы существовать. Слушаю тебя, мой сынок, и крепко держу себя в руках. Хочу, чтобы ты застал меня еще молодым.

От 26-II-41 г.:

Сегодня мне позвонили из дома по телефону и сообщили, что от тебя получена телеграмма. Я, конечно, не удовлетворилась этим сообщением и на перерыв побежала домой, чтобы самой прочесть. Удивляюсь, с какой настойчивостью ты отказываешься от моей помощи. Поверь, что я ни в чем не нуждаюсь.

Мама моя! Я конечно знал, что в нашей дружной семье все тебя поддерживают и морально и материально, из письма твоего знаю, что и отец для меня присылал деньги, но хотел тебя избавить от хлопот с посылками, мне хватало и того, что я получал из лагерного, тогда мы питались неплохо.

От 23-III-41 г.:

Вот уже пошел пятый месяц, как тобой было послано последнее письмо от 22-I (*опять цензура!*) Безумно тоскливо и тяжело без твоих весточек. Твоя мама «Герой» начинает сдаваться, но я стараюсь держать себя крепко в руках, чтобы выдержать этот год.

Да, мама, чем дальше, тем медленнее тянется время, теперь ты уже не пишешь о пересмотре дела: может, убедилась, что надежды нет, а может, тебе и напрямую отказали — об этом в твоих письмах ни слова. А я и раньше не надеялся, здесь со мною сидят совершенно беспомощные инвалиды, есть даже слепой — никому никаких послаблений.

Все так же месяцами мама не получает моих писем, только телеграммы кое-как удостоверяют, что я жив, здоров и по-прежнему на Адаке. Ты, мама, всё мечтаешь о поездке ко мне, и только мое решительное письмо, поддержанное всеми родными, заставляет тебя оставить эту мысль.

И еще заботы обо мне:

...Не забудь, что это лето будет последним, и тебе, наверное, понадобится кое-что из одежды и обуви.

Мама, здесь я стал настолько неприхотлив, так рвусь к тебе, что готов ехать в чем угодно, только бы быть с тобою.

От 16-IV-41 г.:

Жду с нетерпением твоих весточек, ведь последнее письмо было от 22-IX.

Семь месяцев без писем!!! Снова цензура.

От 18-IV-41 г.:

Дома меня ждала большая радость — твое письмо от 11-IX. Как всегда, твои письма вызывают у меня радость и слезы... мечтаю только об одном — о дальнейшей твоей учебе.

Мама, об этом как раз я и думать забыл. Но какая же мразь сидит в цензуре: ведь я всё это время тебе писал, придаться к содержанию не могли (правила игры я знаю). Из всех писем дошло только это, сентябрьское, очевидно, все остальные просто уничтожили, лень проверить. Мучители, гады!

От 20-IV-41 г.:

...Я хочу и уверена, что ты будешь продолжать учебу, а у меня хватит сил работать, пока ты окончишь.

Как тяжело, мама, читать эти строки. Ведь я у тебя поздний ребенок, тебе уже под шестьдесят, здоровье за эти годы подорвано, а ты собираешься работать для меня. А об учебе я и думать забыл, только рвусь к тебе. В это время я снова в стационаре — обострился процесс в легких.

От 15-V-41 г.:

13 мая получила твою телеграмму. Ты себе представить не можешь, чем является для меня каждая твоя весточка, каждое написанное слово. Получая твою весточку, я на продолжительное время оживаю, а потом начинаю хиреть. Уже пятый год я тебя не видела, но мое чувство к тебе не только не остыло, а наоборот, становится все сильнее и сильнее, а разлука с тобой все тяжелее. Не теряю надежды, что ты еще будешь учиться и добьешься своей цели. Я еще в состоянии работать и себе на жизнь добывать, а ты должен думать о себе, как устроить свою дальнейшую жизнь. Знай, Витюша, что где бы ты ни устроился, если только захочешь, буду там, где ты. Никакие условия меня не остановят, чтобы конец своей жизни провести около тебя.

Мама, теперь, через шестьдесят с лишним лет читая эти строки, я не могу сдержать слезы, а ведь за все лагерные годы я ни разу не плакал, видимо, тогда так огрубел, что не мог сполна откликнуться на твою боль. А может, тогда я верил и надеялся, что исполнится то, о чем ты писала, а теперь знаю, что не сбылось это, не сбылось и поэтому так тяжело. Не стоил я и не стою твоей самоотверженной любви. Ведь я так любил тебя, но какими бедными, какими косноязычными были, наверное, мои письма к тебе. Господи, какое счастье, какое богатство даровала мне судьба при рождении — тебя, мама моя, но погибло все, и нет мне прощения, сколько бы ни каялся...

От 8-VI-41 г. Из этой открытки — приписка моей бабушки:

Пока жива и здорова. Жду уж твой приезд с большим нетерпением, хочется тебя расцеловать. Твоя любящая бабушка.

Не суждено было ей дожждаться. Бабушка умерла в 41-м году в эвакуации в Горьком. Могила ее рядом с могилой мамы.

От 22-VI-41 г.:

Я уже писала, что 9-VI получила твою телеграмму от 2-VI (*цензура что ли?*) Писем от тебя нет. Очень за тобой скучаю и не дождусь того счастливого времени, когда тебя увижу, мой родной. Будь здоров и бодр.

Эта открытка написана в день начала войны, но о войне — ни слова. А слова о «счастливом времени» читать сейчас горько — наступило время тревог, волнений и тяжелых утрат... эвакуация, смерть бабушки, долгий перерыв в нашей переписке...

А в этот день рано утром к нам на кирпичный завод нагрянули вохровцы с головного лагпункта. Нас выгнали из барakov, велели построиться.

Ничего подобного мы здесь, на инвалидном лагпункте, не знали, все эти годы на Адаке был бесконвойный режим. В недоумении стояли мы в строю. Оказавшийся рядом со мной начальник завода, немец-меннонит Берг, бледный и растерянный, шепнул мне: «Война... с Германией».

После построения нам объявили о нападении Германии и начале войны, зачитали приказ — впредь до особого распоряжения освобождение отбывших срок прекращается, отменяется право переписки. Вскоре всех немцев от нас отделили, позднее их с этапом отправили с Адака.

Теперь уже не припомню, когда я получил открытки, написанные после начала войны. Первая из них помечена 26-VI-41 г.:

Вчера я опять испытала радость — получила твою открытку от 4-V. Когда я возвращалась с работы, бабушка, вся сияющая, ждала меня на улице — чтобы поскорее обрадовать. У нас пока все благополучно, все мы живы-здоровы. Обо мне не беспокойся, живу надеждой, что эти восемь месяцев пролетят, и мы скоро будем вместе...

Не знала ты тогда, мама, что эта так обрадовавшая тебя открытка от 4 мая будет последней перед долгим перерывом в нашей переписке, что настали для тебя многие месяцы тревог, полного неведения о моей судьбе, расставания навсегда с родным Черниговом... Смерть бабушки, все эти годы поддерживавшей тебя в горе, постигшем нас.

От 4-VII-41 г.:

Вчера послала тебе внеочередную телеграмму — хочу успокоить тебя, чтобы ты не волновался за меня и всех наших. У нас всё спокойно и каждый занимается своим делом.

Какое уж тут спокойствие! Но и четвертого июля, как оказалось, за два дня до эвакуации, мама пишет это письмо, чтобы успокоить меня.

У нас в лагере отнюдь не спокойно. Режим ужесточили, сперва даже водили на работу со стрелками, но вскоре это отменили. Переписки нас лишили. Доходят известия о бомбежке наших городов, все мы в неведении и тревоге за родных и близких.

Подняли голову стукачи, кое-кого за неосторожные слова уже увезли на Воркуту.

И вот передо мной необычная открытка – написана карандашом, впервые за все эти годы не проставлена дата, даже почерк, всегда красивый, четкий, заметно изменен, меньше стал наклон букв:

Дорогой, Витюша! Пишу тебе на паровой станции Сталинграда. Едем всей семьей, т. е. бабушка, Лида, Лева, Шура и Толя в Горький к Дане (*мой дядя, инженер на автозаводе*). Напишу тебе по приезду подробно. Из дома уже неделя, т. е. с 7-VII. Мотя и Изя (*мои дяди*) остались в Чернигове, Гриша (*двоюродный брат, студент*) в Киеве. Целую крепко. Твоя мама. Не беспокойся, всё у нас благополучно. Не теряем надежду, скоро будем в Чернигове.

И тут, спасаясь от войны, после недельных передышек в пути, мама по-прежнему заботится обо мне, убеждает, что всё у них благополучно. Какое уж тут благополучие: три немолодые женщины, мама и мои тетки, девушка-студентка, две старухи и двое мальчишек-подростков бегут из родного города, мужчины, главы двух семей, пока остаются в Чернигове. Вскоре, как потом оказалось, город будет бомбить немецкая авиация, но дяди мои к тому времени уже покинут Чернигов. И никогда уже наша семья не возвратится, как на это надеялись в начале войны, в родной наш город...

Следующие открытки написаны уже в Горьком. Первая из них помечена 30-VII-41 г.:

Витюша, дорогой мой! Давно тебе не писала, за это время успели всей семьей (за исключением мужчин) переехать на жительство в Горький. Живем все у Дани в тесноте, но не в обиде... Меня очень волнует вопрос, что мы опять оторвались друг от друга, и не знаю, как будет у нас с весточками от тебя. Пиши мне на адрес: Автозавод п/о № 2 до востребования.

От 9-VIII-41 г.:

Я тебе отсюда написала много открыток, но по неопытности написала № почтового отделения 2, а нужно писать до востребования, п/о 43 Горький, Автозавод... Будь спокоен за нас, мы живем в великолепных условиях.

В это время я еще в полном неведении о судьбе родных. Известия о ходе войны отрывочные, но ясно, что немцы наступают, бомбят наши города... Тревожусь — живы ли вы?

От 13-VIII-41 г.:

Все думаю о тебе, и сердце мое разрывается от тоски по тебе. Единственное мое утешение, что недолго нам остается быть в разлуке.

У меня этого утешения нет. Уже объявлено, что все осужденные по 58-й статье задерживаются до особого распоряжения. Кое-кого из уже освобожденных вернули в лагерь. На Адак с дороги возвратились мои друзья Иван Иванович Лебедев и Слава Латов.

От 21-IX-41 г.:

Спешу на почту в надежде получить от тебя весточку. Последнее твое письмо-открытка от 4 мая. Меня убивает неведение. Я служу и довольна своей работой... Всё думаю о том, что недолго нам быть в разлуке. Я хочу увидеть тебя здоровым и бодрым, что будет для меня лучшим вознаграждением за мои страдания.

Мама, дорогая мама моя! Ты не знаешь, а я-то знаю, что пока идет война, никого из нас не освободят и мучениям твоим пока не видать конца. Переписки нас лишили, а все мои письма, отправленные до начала войны в мае и июне, скорее всего, попадут под запрет, и ты их не получишь (так и вышло).

Не припомню, когда именно дошли до меня открытки из Горького: до отмены запрета на переписку или после — спустя годы подводит память.

От 26-X-41 г.:

...Пять месяцев не имею от тебя вестей — измучилась, истосковалась. У нас всё в порядке. Телеграфировала тебе, еженедельно пишу и ответа никакого...

А я по-прежнему ничего не могу сообщить о себе — запрет на переписку остается в силе. Так убивали тебя...

Последняя открытка 41 года – от 28-ХІІ-41 г.:

С тех пор, как мы в Горьком, не знаю, получаешь ли ты мои письма и знаешь ли, что мы в Горьком... уверена в скором свидании с тобой, чтобы мы могли увидеться и не расставаться никогда.

В лагере в это время – жесткий режим. Переписка по-прежнему запрещена. Все мы в неведении и тревоге за близких. Отрывочно доходят известия о жестоких бомбежках, об оставленных городах. Постоянный страх доносов. Ночные обыски (шмоны) перед государственными праздниками...

Так проходит сорок первый год.

Передо мною тонкая стопка, всего одиннадцать открыток – последние письма ко мне в лагерь, год сорок второй. Теперь уж не могу припомнить, когда именно я их стал получать. Нам же, наконец, была разрешена переписка: одно письмо в месяц.

Первая открытка за этот год от 3-І-42 г.:

Витинька, дорогой, родной мой!

Поздравляю тебя, мой сынок, с наступающим Новым годом, который должен принести всем, и в частности нам, много радости и счастья. Вот уже осталось три месяца, и у меня полная уверенность, что мы с тобою увидимся и будем жить не расставаясь. Повторяю, мой дорогой, что ни расстояния, ни условия жизни не остановят меня, чтобы жить с тобой. Я уверена, что сорок второй год принесет нам одни радости.

От 10-І-42 г.:

...С 4-го мая не знаю, что с тобой, а потому ты поймешь мое состояние. Уж осталось мало времени и убеждена, что мы скоро увидимся. Меня терзает мысль, знаешь ли ты, что наша семья теперь в Горьком. Мы теперь живем в городе. Считаю уже дни и минуты, когда увижу тебя, мой дорогой сынок. Пиши, телеграфируй выезд.

От 24-І-42 г.:

Последние дни живу только одной мыслью – встречей с тобою... считаю не месяцы – дни, рада каждому ушедшему дню. Последнее письмо было от 4 мая – очень беспокоюсь.

Да, теперь уже ясно, что оправдались мои опасения: кроме открытки от 4 мая все мои письма до тебя не дошли. И сейчас не знаю, когда увидимся, война идет, конца ей не видно, да и в любом случае в Горький меня не пустят.

От 8-II-42 г.:

Сегодняшний день полон воспоминаний. Пять лет назад я тебя в последний раз проводила в Москву. Вспоминаю, как ты был в момент расставания, что ты мне сказал, и всё это изо дня в день наполняет мою жизнь, и этим вот уже пять лет я дышу..

Дальше указания, что делать по приезде в Горький: звонить, телефон дяди узнать в справочной. Такие же письма от 16-II и 24-II.

От 9-III-42 г.:

...По моим расчетам, тебе остается пробыть еще 23 дня...

Бедная мама моя! Ты считаешь дни, а я бросил их считать с 22 июня прошлого года.

Очевидно, только в марте разрешили переписку, наконец приходит открытка от 24-III-42 г.:

Дорогой, Витюша! Наконец после долгих ожиданий и немалых страданий 24-III получила твою телеграмму. Мою радость ты сам понимаешь. Рада, что ты жив и знаешь, где мы очутились.

От 8-IV-42 г.:

Вчера получила вторую твою телеграмму уже на адрес почтамта. Счастлива, что ты жив и здоров, так как чуть ли в течение 11 месяцев об этом не знала. Очень рада, что ты, как пишешь, хорошо живешь. Жду тебя, конечно сюда, но раз нельзя, так нельзя — нужно мириться со всем и ждать более счастливого времени.

Это письмо было последним, полученным мною. В это время я лежал в стационаре — очередное весеннее обострение в легких. Не помню уже, я ли сумел в телеграмме дать понять, что пока освобождения ожидать не приходится, или мама сама это узнала. Писать об этом в открытках я не решался — опасался, что такое никак не пропустят.

В мае меня выписали из стационара. Прежде после лечения меня каждый раз возвращали на кирпичный завод, и теперь я тоже на это рассчитывал. Там я провел почти три года, на заводе оставались близкие мне люди и не было зоны. Но получилось иначе — через три дня меня стали посылать на работу в зоне. Я отказался — отправляйте на кирпичный, и на работу не вышел. Впрямую мне не отказали, но каждое утро вызывали на развод. Я не выходил, уперся.

Конечно, я понимал, что веду опасную игру — отказ от работы в военное время могли свободно расценить как саботаж, за это полагались статья и срок. Но ведь я просился на завод, где работа была много тяжелее. Раньше, когда заводом управляли мои друзья, сперва Илья, затем Романов, такая проблема не возникла бы, они бы меня вытащили отсюда. Новый начальник завода Днепров относился ко мне неплохо, но не тот это был человек, чтобы за кого-то здесь ходатайствовать.

И когда после очередного отказа меня сразу после развода вызвали в УРЧ (учетно-распределительная часть), я заскучал. Как обреченный, шел я в избушку, где до того ни разу не бывал. Туда за хорошим не вызывают — доигрался...

И был совершенно ошарашен, когда передо мною на стол легла небольшая бумажонка — уведомление об освобождении, на ней мне надлежало расписаться. Случилось это 22 мая.

С начала войны здесь еще никого не освобождали, все мы уже свыклись с мыслью, что сидеть придется до окончания войны. Одновременно со мной освобождались еще пять человек. Известие об этом всех на лагпункте взбудоражило и обрадовало — появилась надежда.

Сам я был, хотя и обрадован, но одновременно ошеломлен, растерян: куда мне ехать я не знал. До войны я мечтал только о возвращении в Чернигов, теперь же город был у немцев. А в Горький, я это хорошо понимал, меня не пустят. Освобождение совпало с весенней распутицей, приближалось время ледохода, выбраться с Адака можно было только с началом навигации. Ждать оставалось более двух недель. На работы освобожденных не посылали, и все это время мы, ныне «вольные граждане», болтались как неприкаянные в зоне.

Не знаю уж, почему я тогда не решился известить маму о своем освобождении. Скорее всего, из привитой за годы лаге-

ря неуверенности в будущем дне, из вечного опасения очередного подвоха. Я решил — приеду и объявлюсь. Сейчас, спустя годы, я себя за это кляню — ведь мог же я тогда тебя, мама, хоть на каплю раньше успокоить, обрадовать...

Покидали мы Адак в самое замечательное на Севере время летнего солнцестояния, когда день неотличим от ночи — солнце почти не заходит, все пронизано неярким призрачным светом, и впервые сполна ощущали мы красоту этих мест. Но уезжали мы не все: в последний момент неожиданно задержали инженера Дикермана, тяжело больного человека, хромого, с поврежденным позвоночником — подлый удар ниже пояса, возможно, по доносу...

Следовали мы в Кожву, что на Печоре, там в управлении лагеря мы должны были оформить документы, избрать место жительства и по железной дороге отбыть на место назначения. В Кожве снова тот же сон: нас ввели в зону и тут же неожиданная радость — я попал в объятия старого знакомого по Адаку Самуила Мучника, покалеченного на шахте в Воркуте. Два года назад его, отличного бухгалтера, забрали на работу в управление лагеря. «Давно тебя здесь поджидаю», — были его первые слова. О моем освобождении Самуил узнал много раньше: здесь готовили все документы на расчет. Я был рад встрече и сразу же обратился за советом — куда ехать? В запасе у меня был один вариант — Алтайский край, сейчас и сам не припомню, с чего он взялся, наверное, как многим, мне хотелось забиться в глубинку. Самуил посоветовал проситься в Татарию, в поселок Бондюг: и к Горькому близко, а главное, туда с химзаводом из Москвы эвакуирован его брат, он мог на первых порах помочь мне. Неожиданно появился еще один вариант: освободившемуся вместе со мною Васе Николаенко, агроному из Херсонщины, предложили должность заведующего продовольственными складами Управления. Вася был из «переквалифицированных» — сперва получил срок 25 лет за «умышленное заражение зерна долгоносиком», затем, уже в лагере, в 39-м году статью изменили — на «халатность» — и срок сократили до пяти лет. Родные места у него были под немцами, ехать было некуда. Вася согласился и предложил мне и уйгуру Юсупу Дюсенбаеву остаться работать с ним, об этом он уже договорился: «По крайней мере, не будешь бедствовать, оставайся, будем жить, как

брatья, освоишься. А потом и мать заберешь». Но я без колебаний отказался — еще не хватало маму сюда, в лагерное царство тащить. Юсуп остался.

Из Кожвы я ехал по железной дороге, мелькали станции со знакомыми по тридцать седьмому году названиями: Тобьсь, Княж-Погост — здесь прошли самые тяжелые месяцы моей лагерной жизни.

Начиная с Котласа, предо мною предстала страна совершенно иная, чем та, до ареста: запущенные грязные станции, драки при посадке в вагоны, спекуляция, бешеные цены на хлеб и махорку, и главное — раненые: кто на костылях, кто с рукой, прибинтованной к туловищу, кто с повязкой на голове. Страна военного времени...

Прибыв в Горький, я прежде всего был обязан отметить в спецкомендатуре, затем отыскал в справочном киоске адрес дяди на Автозаводе. Адрес нашей семьи в справочной не значился. И хорошо, что так получилось: на автозаводе моя тетя, увидев меня в лагерном одеянии второго срока, грязного с дороги, небритого, решительно заявила: «Таким мама не должна тебя видеть», — и отправила в ванную. Только после того, как я, одетый в слишком широкую для меня дядину пижаму, вышел оттуда, она разрешила мне позвонить в город, и я услышал прерывающийся от волнения голос мамы, затем со мною говорили, поздравляли с освобождением родные. Исчезла вся моя лагерная одежда, на которую с ужасом смотрела моя тетя, думаю, что все эти шмотки сразу же вышвырнули из дома.

К вечеру за мной приехали все родные, и наконец я увидел маму. Все мы тогда были рады и счастливы, не знали еще, что мама уже, наверное, была неизлечимо больна, — так всё это было от нас скрыто. Но была и печаль — через день, во избежание неприятностей, я должен был отметить в комендатуре и уезжать в Бондюг. Тяжело это было, но мы надеялись, что как только будет возможно, мама придет ко мне. Но это не сбылось — в Бондюге я не задержался.

По приезде туда меня радушно принял брат Самуила, ему я передал письмо из Кожвы. Но уже на следующий день стало ясно, что в Бондюге оставаться нельзя — воздух был отравлен химикатами, я сразу же начал задыхаться и кашлять. Выход подсказала случайная встреча в комендатуре, куда пошел отмечать

ся. Раненый фронтовик-украинец посоветовал проситься в село Икское Устье, где он поселился после выхода из госпиталя. В комендатуре не возражали и дали мне направление. В Икском Устье меня приняли хорошо, поселили в семье бригадира рыболовецкой бригады. Работать я стал на уборке сена: сушили, сгребали в копны, ставили стога.

Икское Устье — старинное русское село на Каме при впадении в нее реки Ик. Колхоз здесь был крепкий, на сеноуборке нам ежедневно привозили в поле горячий обед, выписывали пшено. Работа на свежем воздухе, дружная, не подневольная, как то было в лагере, была мне по душе, чувствовал я себя хорошо, люди здесь были трудолюбивы и доброжелательны.

Конечно, и здесь война сказалась: возвращались из госпиталя искалеченные люди, приходили похоронки, молодые ребята, работавшие со мною на сенокосе, вот-вот должны были отправляться в армию, — это был 24-й год рождения. Но все же не было такого резкого ухудшения жизни, одичания, как в городах. После уборки сена я по совету хозяина перешел в рыболовецкую бригаду.

Рыбачили на Каме, рыбу сдавали в счет госпоставок. Работа была нелегкая, с рассвета до сумерек. В бригаде все были пожилые, кто не попал на фронт. Улов всегда был богатый, последняя тоня по традиции заводилась для нас, рыбаков, улов делили поровну, и я каждый вечер приносил по полному ведру рыбы — мой вклад в радушно приютившую меня семью.

Я был доволен жизнью в Икском, считая, что смогу прокормить себя и маму, об этом ей писал и ждал, что наконец мама приедет и будем жить вместе, как мечтали все эти годы.

Неожиданно пришла повестка: меня вызвали в Бондюж на медицинскую комиссию. Я отправился туда в полной уверенности, что предстоит обычная формальность: на Адаке все четыре года медкомиссии неизменно подтверждали инвалидность, этой весной я с очередным обострением лежал в стационаре, поэтому был совершенно спокоен — осмотрят и вернусь в Икское Устье.

Но получилось иначе: почти не осматривая, меня признали годным к строевой службе; на сборы дали два дня. В это время военкоматам на местах были даны директивные планы мобилизации, за невыполнение их военкомам грозило снятие

с должности и отправка на фронт. Вот они и старались – годными в строй признавались туберкулезники, больные пороком сердца, недавно уволенные по ранению фронтовики.

Расстроенный, я сразу же отправил маме телеграмму, не зная, перенесет ли она этот новый удар. Для себя же я знал, что за это государство мне воевать нечего, оно уничтожило меня морально, сделало инвалидом – ему я ничего не был должен. И у других мобилизованных я видел то же состояние гонимых на убой.

Из Бондюга собранную команду новобранцев отправили пароходом в Казань. Мы ехали палубными пассажирами вместе с блокадниками ленинградцами, которых везли в эвакуацию, – это были женщины с малыми детьми, истощенные до последней степени, даже испытанное в лагере не могло сравниться с тем, что выпало на их долю.

На мое счастье, тем же пароходом, но в каюте первого класса, из командировки возвращался доктор Нейман, мой спаситель на Адаке. Я глазам своим не поверил, увидев его в офицерской форме, сходящим по трапу на одной из пристаней – до этого я видел Александра Алексеевича или в медицинском халате, или в лагерной телогрейке. Только на следующей остановке убедился, что не ошибся, и бросился к нему. Доктор, теперь уже военврач III ранга, очень мне обрадовался, увел меня в свою каюту и до Казани мы уже не расставались. Узнав о моих обстоятельствах, доктор посоветовал по прибытии в Казань добиваться повторного освидетельствования и сам предложил заехать в Горький с моим письмом, чтобы по возможности успокоить маму. Это он и сделал, его радушно приняли, от меня родные знали, какую роль сыграл доктор в моей лагерной судьбе.

В Казани медкомиссия признала меня не годным к строю, но годным к нестроевой службе. Сперва я оказался в Марийской АССР в воинском лагере на станции Сурах, затем на уборке картофеля, позднее попал в Йошкар-Олу. Оттуда по счастливой случайности с воинской командой меня направили в Горький – я оказался рядом с родными.

Военная служба в нестроевых частях не оставила в памяти сколь-нибудь ярких воспоминаний, в армии я чувствовал себя более одиноким, чем в свое время на Адаке, ни с кем не сходил-ся, держал себя настороженно и отчужденно.

В Горьком после очередной медкомиссии я был признан негодным к воинской службе, но годным к физическому труду. Поэтому меня хотя и уволили в запас, но по условиям военного времени я должен был получить направление на предприятие.

Мой дядя, начальник эвакогоспиталя, через военкомат добился, чтобы меня направили в один из госпиталей города медстатистиком. Жить пришлось на казарменном положении в общежитии при госпитале, но вечера проводил в семье.

Летом сорок третьего года в течение двух недель немецкая авиация совершала ежедневные налеты на Горький, правда, прорывались только отдельные самолеты: на подступах к городу их встречал огонь зенитной артиллерии. Налеты каждый раз начинались ровно в двенадцать ночи, поэтому я уходил из дома заранее, чтобы занять свой пост на крыше госпиталя. В случае попадания зажигательных бомб наша задача была гасить пожар. Правда, за всё время это не понадобилось, зато осколки зенитных снарядов то и дело падали на крышу. Позднее налеты прекратились.

Все это лето в госпиталь непрерывным потоком поступали раненые, нередко всю ночь мы вели их прием. Тяжело было видеть искалеченных молодых ребят, многие прибывали на носилках в тяжелом состоянии, но благодаря самоотверженной работе наших медиков подавляющее большинство удавалось вылечить. Смертность была невелика, но тяжело было переписывать истории болезней умерших — это входило в мою обязанность. Много страшного я увидел, но уверен, что ни одно живое существо не в состоянии перенести то, что переносит, преодолевает человек...

Рядом со мной в госпитале трудились хорошие, самоотверженные люди, их я уважал, подчас восхищался ими, но по-прежнему ни с кем близко не сходилась. Отдыхал душой я только в семье, но и здесь были сложности, против желания пережитое подчас становилось между мною и близкими. Вообще я тогда и дома предпочитал забиваться в угол, был угнетен и подавлен прошлым. Мама, как и вся наша семья, по-своему переживали всё свалившееся на нашу семью, для них Сталин был вождем, возглавляющим борьбу с немцами, армию, в которой воевал мой двоюродный брат, а потом и двоюродная сестра — военврач. А для меня Сталин прежде

всего был тираном, угнетателем, палачом, обескровившим страну и армию в преддверии войны.

Мама, обычно чуткая, наверное, не могла полностью понять такое настроение, сейчас я думаю, что оно ее пугало, даже ужасало. Иногда она пыталась настроить меня примирительно к власти, видно, опасалась за меня, но на это я взрывался, негодовал: «Неужели я все это вытерпел, чтобы после всего перенесенного в лагере слышать такое дома».

Сейчас, спустя многие годы, мне мучительно стыдно за эти вспышки: черт с ним, со Сталиным, надо было тогда быть терпимее. Еще, конечно, угнетало маму мое неверие и нежелание думать о продолжении учебы, на этом, как и раньше в письмах, она не переставала настаивать.

В это время (сорок третий год) вышло в свет постановление правительства вернуть из армии на учебу студентов, окончивших до войны не менее двух курсов. Формально я под эту категорию не подходил — до ареста я не успел закончить второй курс, да и не рвался я тогда учиться, не верил в себя. Но маму это не останавливало. Списавшись с моим дядей, она просила его начать хлопоты, я же оставался равнодушным.

Вопреки моему недоверию ректор МАРХИ Иван Сергеевич Николаев согласился послать мне вызов, с его стороны по тем временам это было смелым поступком.

В Москву я ехал без особой охоты, только подчиняясь непреклонному желанию мамы. К отцу жить я не пошел, да он и не звал меня: все его чувства были отданы моему сводному брату, сыну от третьей жены, простой и очень хорошей женщины, рано умершей от рака. Поселился я в общежитии, вернее в институтской аудитории — здание общежития во Всехсвятском было разрушено при бомбежке в начале войны.

Прибыл я в Москву замкнутым и заторможенным. Сперва мне, оторванному от студенческой жизни на шесть с лишним лет, пришлось нелегко, мои новые однокурсники были на 5–6 лет моложе меня. В одном мне повезло — я был зачислен в ташкентскую группу, только что возвращенную из эвакуации. В войну половина института была вывезена в Ташкент, остальные оставались в Москве.

В эвакуации «ташкентцы» бедствовали, жили впроголодь, вернулись в Москву истощенными, плохо одетыми. В такой

группе мне было легче освоиться, большинство были иногородние. Четверо из нашей группы были из семей репрессированных, у двоих из них отцы так и сгинули в лагерях. Пока мы учились, группа пополнялась возвращенными из армии студентами, участниками войны.

Учиться было нелегко: продолжалась война, жили мы впроголодь, в аудиториях было холодно. Топили плохо, подчас обнаженных натурщиц в рисовальном зале приходилось обставлять рефлекторами, чтобы они могли позировать.

Мне же было трудно вдвойне: оказалось, что за прошедшие шесть лет изменилась программа, мне пришлось самостоятельно пройти и сдать за второй курс сопромат и архитектурные конструкции, предметы достаточно сложные. Здоровье было подорвано, а главное — далеко не сразу приспособились к чертежной работе огрубевшие в лагере руки. Над первым проектом я долго промучился, временами впадал в отчаяние от своей беспомощности.

Однако постепенно я оживал, сперва стал с интересом присматриваться к сокурсникам, а затем и сближаться с ними. Немалую роль сыграло доброе отношение преподавателей, особенно по основному предмету — архитектурному проектированию.

Постепенно я входил в ритм общей жизни, все вокруг меня жили в надежде, а позднее и в уверенности в скором окончании войны, этим настроением проникался и я. Пришли первые успехи, постепенно проходило равнодушие и неверие в способности успешно учиться. Из дома мне посильно помогали, большую поддержку оказывали московские дяди и тети. На каникулы я приезжал, зная, что могу порадовать маму, она и радовалась, видя, что я оживаю. Казалось, что сбылась ее мечта — я учился, и мы надеялись на лучшее. В июле сорок четвертого года я с нетерпением ожидал окончания летней практики, чтобы все лето провести дома с мамой.

Неожиданно пришла заверенная врачом телеграмма: «мама опасно больна, выезжай». В это время для выезда и въезда в Москву требовалось разрешение отдела милиции, без него билеты на поезд не продавали. В милиции, куда я обратился, предъявив телеграмму, начальник наотрез отказал: «Что вы — врач? Ничем не поможете». Родная милиция, увы, не в послед-

ний раз показала мне свое нечеловеческое лицо — в 56-м году после реабилитации дважды мне под разными предлогами отказывали в прописке, даже явились ночью с проверкой к моему дяде, пожелавшему меня прописать. Но я там, к счастью, не ночевал — иначе, наверное, арестовали бы и выслали.

Я был в отчаянии, но это сделало меня решительным: в своей солдатской форме, которую я, как и многие в институте, продолжал носить, я отправился на вокзал и там начал высматривать воинскую команду, направлявшуюся в Горький. Такую команду я обнаружил, подошел, стал расспрашивать солдат, от них узнал, что везет команду старший лейтенант, вроде незлой и доступный. Я подошел к нему, показал телеграмму и обратился с просьбой взять с собой в Горький. С великой благодарностью вспоминаю этого человека — не колеблясь, он указал: становись в строй, проведу в вагон.

С командой я добрался до Горького и еще застал маму, она была очень слаба, держалась только на уколах. От родных я узнал, что мама долго не разрешала меня вызывать, все жалела меня. Теперь я не отходил от нее, мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, она говорила с трудом. Я был в таком отчаянии, так отупел от горя, что почти ничего не помню — одно запомнил: до конца она думала не о себе — обо мне и о самых бедных и беспомощных в нашей семье, о дяде Жене и тете Марусе, просила не оставлять их, помогать. А я только твердил себе: смотри на нее, смотри, ведь ты больше никогда ее не увидишь...

В последние минуты родные вывели меня под руки из комнаты, и маму я увидел уже мертвой — лицо ее было спокойно и прекрасно. Позднее моя московская тетя спросила меня: была ли мама после смерти красивой? Сперва ее вопрос показался мне диким, для меня она всегда была всех лучше. И был поражен, когда на мой утвердительный ответ моя мудрая тетя сказала: «Да, так бывает, когда человек много мучился». Да, много она мучилась и из-за меня — в этом моя вечная, хоть и невольная, вина и мука, и не кончится она, пока жив.

После похорон я возвратился в Москву отупевшим от горя, хотя всю меру моей потери, моей вины, я осознавал потом все острее и острее. А тогда большой поддержкой мне были внимание и сочувствие моих новых однокурсников, среди которых

у меня появились близкие люди, друзья на всю оставшуюся жизнь. Теперь многих из них уже нет в живых. Не оставляли меня своим вниманием и заботами родные, мои дорогие дяди и тети — и их я потерял... Чем дальше, тем чаще я вспоминаю их всех с любовью и благодарностью.

Я окончил институт, но мамы, которая так этого желала, так настойчиво добивалась возвращения моего в институт, уже не было со мною. Немного радости принес мне мой диплом — во времена Хрущева вся архитектура была фактически похоронена, сведена к типовому проектированию; страну заполнили унылые дома-коробки, и это продолжалось до девяностых годов XX века. С этим смириться я не мог и при первой возможности перешел на реставрацию памятников архитектуры. Здесь я нашел себя, работа доставляла удовлетворение, но радости собственного архитектурного творчества мне не дано было испытать.

Институт я окончил в сорок седьмом году и по распределению был направлен в Кишинев. А в сорок восьмом начались повторные аресты и ссылки репрессированных в тридцатые годы, под эту волну попал и я. Правда, мне еще «повезло» — меня «только» в 24 часа выслали из Кишинева, при этом отобрали постоянный паспорт, выданный в Москве, взамен выдали паспорт-бумажку сроком на три месяца, в него был вписан пункт 39 — запрещение проживать в крупных городах. С этим волчьим паспортом целых пять лет я прожил, мыкаясь с семьей по частным квартирам вплоть до смерти Сталина.

В эти годы я временами думал: слава Богу, что мама это не видит, не знаю, выдержала бы она повторение тридцатых годов. Реабилитация, разумеется, улучшила мое положение, но и после нее я продолжал оставаться человеком третьего сорта: бывший репрессированный, беспартийный, плюс к тому же пятый пункт.

Тяжело мне было без тебя, мама, больно, что не довелось тебе увидеть внучек, моих дочерей — старшая родилась через четыре года после твоей смерти. И им не довелось узнать тебя, испытать твою любовь, твою бесконечную доброту...

И твою предсмертную просьбу помогать Жене и Марусе я не смог сполна выполнить: после окончания института начались гонения, и пришлось с семьей скитаться, снимая

частные квартиры, вернее комнаты, тогда я едва сводил концы с концами. Позднее я стал помогать по мере сил, но не та это была помощь, на которую ты надеялась.

Я прожил долгую жизнь, знал многих людей, были среди них люди твердые, сильные духом, их я любил и уважал. Но оглядываясь не могу вспомнить, кто бы мог силой духа, стойкостью, силой любви стать вровень с тобою, моя дорогая, тихая, никогда не повышающая голос мать, мама моя...

Вот и закончена эта повесть – мое последнее сказание о страшном времени, в какое довелось жить, о дорогой маме моей, столько страдавшей из-за меня, о крушении всех наших надежд. Долго, очень долго не мог я решиться, писать было невыносимо тяжело, но должен был я, должен был во имя ее, мамы моей, так самоотверженно меня любившей.

Перечел написанное – наверное, не так надо было об этом писать, но иначе не смог, не сумел. Пусть уж останется как есть – посильная дань ее светлой памяти, моя боль, мое покаяние...

Нижний Новгород, 2001

Краткие сведения о некоторых лицах

Горкин Александр Федорович (1897–1988) – советский государственный деятель. С 1937 секретарь Президиума ЦИК СССР, с 1938 – Верховного Совета СССР. После смерти Сталина в 1953 снят с поста секретаря Президиума, но в 1956 вновь вернулся на свой пост. В 1957–1972 председатель Верховного суда СССР.

Лятов Вячеслав Михайлович – родился в 1902 в Туле; арестован 27 июля 1936; приговорен ОСО при НКВД СССР 26 августа 1936 по обвинению в КРТД к 5 годам лагерей, освобожден 5 декабря 1944.

Лебедев Иван Иванович – родился в 1894 в Старицком р-не Тверской обл.; арестован 12 сентября 1936; 21 января 1937 приговорен к 5 годам лагерей по обвинению в КРТД; освобожден 3 апреля 1946.

Мороз (Иосем) Яков Моисеевич (1898–1940) чекист, начальник Ухтпечлага (1931–1938), руководил практически всей промышленностью Коми; обвинен в «пособничестве врагам народа», арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1958.

Муляко Прокофий Семенович (1888–1937) – член ВКП(б) с 1918, в 1935–1937 председатель Специальной коллегии Верховного суда УССР. Арестован 8 июня 1937 по обвинению в измене Родине и терроризме, расстрелян 2 сентября 1937. Реабилитирован в 1956.

Невский Владимир Иванович (Кривобоков Феодосий Иванович) – родился в 1876 в Ростове-на-Дону; член ВКП(б); историк, директор Всесоюзной библиотеки им. Ленина (1924–1935), профессор. Арестован 19 февраля 1935; приговорен ВКВС СССР 25 мая 1937 за участие в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 26 мая 1937. Реабилитирован в 1955.

Путна Витовт Казимирович (1893–1937) – военный деятель, комкор, большевик, член РСДРП с 1917 С 1934 военный атташе в Великобритании. В 1936 отозван в СССР и арестован. На следствии к нему применялись пытки.

Признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре вместе с Тухачевским, Якиром и др. Приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован в 1957.

Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890–1937) – партийный деятель, член ЦК ВКП(б). После смерти Ленина выступил в поддержку Троцкого против Сталина, затем покаялся и стал активным сторонником линии Сталина. Во время подготовки процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими публично требовал для них смертного приговора. В 1936 арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1988 реабилитирован.

Романов Вениамин Флегонтович – родился в 1895, арестован 28 мая 1936. Приговорен: ОСО при НКВД СССР 28 мая 1936 к 5 годам лагерей по статье КРТД. Освобожден 28.05.1941.

Сапронов Тимофей Владимирович (1887–1937) – русский революционер, большевик, один из лидеровлевой оппозиции. В 1926 образовал группу, исключенную из партии в декабре 1927. В 1935 был осужден на 5 лет лишения свободы; содержался в Верхнеуральской тюрьме особого назначения. Находясь в заключении, был вновь арестован 10 августа 1937, приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1990.

Трофимук Николай Александрович (1892–1937) – начальник отдела в Институте авиационной медицины РККА им.И.П.Павлова. Арестован 5 января 1937, обвинен в участии в контрреволюционной троцкистской террористической организации; расстрелян 20 июня 1937. Реабилитирован в 1957.

Чекалин Семен Васильевич – родился в 1912 в Московской области. Арестован 10 августа 1937, приговорен по ст. 58–10 ч.1 к 5 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах. Повторно арестован в 1940, затем в 1942; 28 июля 1943 приговорен СКУД Верховного суда Коми АССР при Ухтижемлаге НКВД к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах.

Содержание

<i>Мариэтта Чудакова. Вторая Россия</i>	5
<i>Виктор Рубанович. О себе</i>	15
Два стихотворения	18
Рассказы	
Ночной староста	23
Поездка в Лефортово	38
Болотные солдаты	50
Княж-Погост	61
Неукротимый Чекалин	66
Стационар Ыджит-Кырта	77
Начальник Раммо	85
Одна ночь	99
Чудак Яша Каганцов	103
Шаевич – толкователь снов	110
Азбель	115
Аферист и прокурор	120
Связной самого Копейкина	125
Оч-чень мало	130
Мой друг Сапсай	139
Братья-иностранцы	158
Освобождение	169
Айсор Шлиман	193
Короткие истории	217
Настоящие люди	225
Адрес – лагпункт Адак	253
Краткие сведения о некоторых лицах	309

Виктор Рубанович

Адрес — лагпункт Адак

Автобиографическая проза

Редактор *Т.И. Балаховская*

Художник *Р.М. Сайфулин*

Корректор *М.М. Уразова*

Подписано в печать 25.10.2011. Формат 60х90 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура «Newton». Печ. л. 19,5

Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 2156.

Издательство «Возвращение»

Тел. (499) 196 0226

E-mail: vozvrashchenie@bk.ru

ISBN 978-5-7157-0245-6



Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО ИПК «Звезда»
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

mer